

БЕСЕДЫ В.Д.ДУВАКИНА с М.М.БАХТИНЫМ

[illegible] в сфере [illegible]

Наша, европейская, теория ли[тературы]
возникла и развивалась на очень
ном материале литературных
в эпоху стабилизации литерат[ур]
нальных литературных языков,
событиях литературы и языко[в]



чтения масс (и детей). Богатство на[ших]
странственных и временных кругоз[оров]
время очень значительны) по сущес[тву]
это положение вещей. За порогом [литера]
туры с ее жанровой системой все
это эпохи, как эллинизм, позднее ср[едневековье]
существует масса, так сказать, [жанров]
(в большинстве своем мелких, но
либо обломки, либо зачатки. Взаим[о]
своеобразны.

БЕСЕДЫ
В.Д.ДУВАКИНА
с М.М.БАХТИНЫМ

БЕСЕДЫ В.Д.ДУВАКИНА с М.М.БАХТИНЫМ

Вступительные статьи
Бочарова С.Г.
и Радзишевского В.В.

Заключительная статья
Кожинова В.В.

Тексты бесед подготовлены к печати
сотрудниками отдела фонодокументов
Научной библиотеки МГУ:
В.Б.Кузнецовой,
М.В.Радзишевской,
В.Ф.Тейдер



Москва
Издательская группа
«Прогресс»

ББК 63.3(2)
Б 53

Редактор Н.И. Колышкина

Б53 Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. Вступ. ст. С.Г. Бочарова и В.В. Радзишевского; закл. ст. В.В. Кожинова. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. — 342 с.; илл.

Беседы русского философа М.М. Бахтина (1895–1975) с известным литературоведом В.Д. Дувакиным (1909–1982) записаны на магнитофонную пленку в 1973 г.

М.М. Бахтин не писал воспоминаний, не давал подробных интервью; документов, связанных с его биографией, сохранилось немного. Уникальные записи его разговоров с В.Д. Дувакиным содержат драгоценные свидетельства нашего выдающегося современника о времени и о себе.

Б $\frac{0301030000-006}{006(01)-96}$ без объявл. ББК 63.3(2)

ISBN 5-01-004578-8

СОБЫТИЕ БЫТИЯ

«А Вы писать воспоминания не собираетесь?» — «Не собираюсь» — так отвечал Михаил Михайлович Бахтин Виктору Дмитриевичу Дувакину в последней беседе. Бахтина действительно в том числе и то отличало от многих других замечательных умов нашего русского XX столетия, что он никогда не писал воспоминаний — ни о собственной жизни, ни о близких современниках. Помню, что он сказал в ответ на просьбу, которую я передал от А.М. Кузнецова после смерти М.В. Юдиной, бывшей Михаилу Михайловичу близким другом с их совместной молодости, — написать воспоминания для памятной книги о ней. Он ответил: «Мария Вениаминовна была человеком неофициальным, и никакие официальные воспоминания о ней невозможны». Книга, которую готовил А.М. Кузнецов [1], полна живого материала и, конечно, никак не официальна. Но похоже, что Михаил Михайлович в это слово вкладывал свой особый смысл. М.В. Юдина в его глазах принадлежала к скрытому, неофициальному, потаенному пласту культуры, к какому принадлежал и он сам.

В беседах с В.Д. Дувакиным Бахтин рассказывает о Вячеславе Иванове, Мережковском и Гиппиус, Блоке, Маяковском, Пастернаке, с которыми он встречался или только их наблюдал и сохранил о них впечатления. Но с этими главными лицами эпохи его отношения не были близкими. По-иному, но также не были близкими и литературоведческие круги 20-х годов, знаменитые формалисты. Михаил Михайлович подчеркивает в беседах, что принадлежал к другому кругу и даже с ними не соприкасался. Конечно, и формалистов никак нельзя связать с представлением о чем-то официальном, однако были они весьма активны, и деятельность их была публичной и громкой.

Философская и филологическая работа Бахтина в 20-е годы была непубличной в принципе: тихая деятельность в домашних кружках, но именно она стоила ему ареста и приговора. Вот принадлежность эту к непубличному слою культуры он и называл неофициальностью. В этом смысле людьми неофициальными были все основные действующие лица его биографического повествования, составлявшие его близкий и тесный круг, — М.В. Юдина, Л.В. Пумпянский, М.И. Каган, А.А. Мейер, К.К. Вагинов. Это была подводная жизнь культурной эпохи, почти не имевшая выхода на ее бурлящую поверхность. На авансцене современности все эти люди не были, и лишь в последнее время их имена становятся в общем мнении именами высокого ранга. С самим Бахтиным это случилось несколько раньше, при жизни, но и он со своими книгами о Достоевском и Рабле всплыл в 60-е годы из полной безвестности и почти что из литературного и научного небытия.

Бахтин не писал воспоминаний — тем бóльшая благодарность В.Д. Дувакину, вытянувшему из него относительно связную нить «жизни и судьбы», с попутными портретами и отступлениями-размышлениями. Можно почувствовать по тексту записи, что это было нелегко. Ко всем попыткам взять у него «интервью», каких в последние его годы было много, тем более при участии современной техники, Михаил Михайлович относился как к насилию, которому тем не менее часто вежливо покорялся. Петербургский литературовед Б.Ф. Егоров записал колоритный рассказ о том, как при нем к Бахтину явились два журналиста из Польши, разложили магнитофонные принадлежности, «сунули Бахтину чуть ли не в рот магнитофон и завалили вопросами, на которые он медленно, устало, отрешенно и лаконично отвечал. В мире газетных корреспондентов и магнитофонного верчения Бахтин выглядел древним, старомодным, одиноким, растерянным» [2].

Отчасти таким он выглядит и в беседах с Дувакиным, но только отчасти. Виктору Дмитриевичу удалось превратить интервью в беседу и разговорить своего интересного собеседника, и он отвечает не отрешенно и лаконично, а охотно и даже красноречиво. Начало 1973 года, когда происходят их беседы, было поло-

сой не худшей в эти последние его годы, но вообще это было время душевной угнетенности, наступившей после смерти жены в декабре 1971 года и уже его не оставившей. Самый физический тип его вдруг и резко изменился: он страшно исхудал, потерял половину тела и на лице проступили страдальческие черты (их передает широко известный графический портрет работы Юрия Селиверстова). На фотографиях, сопровождающих настоящую публикацию, можно сравнить Бахтина, который здесь беседует, с тем довольно тучным человеком, каким он был еще недавно, в 1970—1971 годах [3]. В беседах с Дувакиным Бахтин может забыть фамилию Шеллинга и сокрушаться по этому поводу («ну, философ тоже великий», «да, после Гегеля», «это ведь почти мое собственное имя», «я свою собственную фамилию скоро не буду помнить»), и в этом сказывается его тогдашнее состояние. Но этот старый человек, который сейчас в состоянии физического ущерба и никак не может вспомнить фамилию Шеллинга, — ведь и сам он, «ну, мыслитель тоже великий», которого мы еще застали как нашего современника, но чья жизнь в большей части ее прошла на фоне нашей потрясающей истории в такой тени, что мы о ней не знаем многого.

С биографией Бахтина дело обстоит так же странно, как с его текстами. Несколько лет назад, на самой заре нашей нынешней гласности (в 1986 году), С.С. Аверинцев, говоря о неизданности (тогда еще) П.А. Флоренского, спросил: почему от философа XX века до нас доходят разрозненные фрагменты, как от ионийских досократиков? [4]. Но ведь от Бахтина — разрозненные фрагменты и тогда, когда он полностью издан. Оба главных больших философских труда начала 20-х годов — обширные, но фрагменты: или не кончено и брошено («Автор и герой в эстетической деятельности»), или без начала и конца, потому что не дошли, не сохранились («К философии поступка»). То же и в биографии — фрагменты, лакуны, провалы, загадки. Мало сохранившихся документов, почти нет мемуаров (почти все воспоминания о Бахтине принадлежат тем, кто узнал его уже в последнее время, в 60-е годы).

Благодаря В.Д. Дувакину мы получаем от самого Бахтина такую общую картину его пути в эпохе

(сквозь эпохи), какой не найдем в других источниках. Никому Михаил Михайлович не рассказывал так подробно о своей семье, гимназических и университетских учителях, о Петербургском университете предреволюционной поры (о нем, как, впрочем, и о Московском университете того времени, очень мало известно, и здесь рассказ Бахтина смыкается с записками О.М. Фрейденберг о чуть более поздней поре того же историко-филологического факультета, на который она пришла тогда, когда Бахтин с него уходил, с той же кафедрой философии, теми же именами А.И. Введенского, Н.О. Лосского, И.И. Лапшина [5]), о многих людях, знаменитых, но воспринимаемых рассказчиком с порядочной дистанции, и менее знаменитых, но более близких. Бахтин отказался писать «официальные» (для печати) воспоминания о Юдиной, но в этих беседах вспоминает ее живо и щедро, давая такой неофициальный ее портрет, какой войдет драгоценным материалом в еще не написанную биографию этой удивительной женщины. Это ведь эпизод из истории русской философии — то, что мы почти видим, читая запись последней беседы: на прогулке у берегов «озера нравственной реальности» под Невелем двадцатитрехлетний Бахтин излагает девятнадцатилетней Юдиной и Пумпянскому, чуть их постарше, начатки своей нравственной философии. Но, конечно, это эпизод из неофициальной истории русской философии: на протяжении долгих десятилетий философия поступка раннего Бахтина не была востребована чередой последующих поколений и дошла до нас совсем недавно, уже после смерти автора.

О немалом из того, что Бахтин рассказывал Дувакину, мы бы и не узнали: скажем, известно было лишь, что среди витебских его знакомых был и Казимир Малевич, но о степени их близости в те годы мы получаем представление только из этих рассказов (пусть Михаил Михайлович и неточно представляет себе дальнейшую жизнь художника, за пределами их общего Витебска). К некоторым эпизодам могут быть подведены параллельные места из других разговоров Михаила Михайловича, записанных его собеседниками, и в нескольких случаях это будет сделано в виде примечаний к публикуемым текстам.

Несколько раз по ходу бесед Виктор Дмитриевич вызывает Михаила Михайловича на чтение стихов. Об этом стоит сказать особо: я тоже помню его читающим стихи на память подолгу и увлеченно и могу сказать, что это было одно из любимых его состояний. Трех поэтов он читал больше всего — Иннокентия Анненского, Вячеслава Иванова и Блока, но и Пушкина, и Жуковского. Как-то вдруг в связи с одним разговором прочитал целиком «Неожиданное свидание», из Гебеля, — малоизвестную стихотворную повесть: «Вот в Португалии весь Лиссабон уничтожен был страшным // Землетрясеньем; война семилетняя кончилась; умер // Франц император; был иезуитский орден разрушен; // Польша исчезла...», а также по-немецки и по-французски — «Sagt es niemand» и длинный отрывок из «Германа и Доротеи» Гёте, «L'art poétique» Верлена, «Correspondances» и «La vie antérieure» Бодлера.

В философской терминологии Бахтина есть такое понятие — «событие бытия». Бытие — не отвлеченная категория, но живое событие взаимодействия моей единственной, изнутри переживаемой жизни с подобными же экзистенциальными мирами других людей, событие, в котором осуществляются не только наши индивидуальные существования, но и «правда нашего взаимоотношения». «Я нахожусь в бытии, как в событии», — говорил Бахтин [6]. В этих беседах Бахтин разговаривает отнюдь не на несколько эзотерическом языке своей философии, но на простом человеческом, почти бытовом языке. Но в простом повествовании под «магнитофонное верчение» проступает событие бытия большого мыслителя, который «между нами жил», и правда его взаимоотношения с его историческими спутниками и с временами, через которые прошел его путь.

С.Г. Бочаров

БЕСКОНЕЧНЫЙ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ...

Полжизни Виктор Дмитриевич Дувакин проработал на филологическом факультете Московского университета. Когда был затеян суд над Синявским и Даниэлем, до пенсии ему оставалось три года. Нам, его последним дипломникам, он казался тогда старым-престарым. Еще бы: он был на похоронах Есенина, дважды видел Маяковского...

Массивный, медлительный, по-профессорски рассеянный, Виктор Дмитриевич никак не мог избежать внимания записных остроумцев. Их удачи он принимал без видимого огорчения — снисходительно и добродушно, а то и с откровенным удовольствием. «Уж полночь близится — Дувакина все нет!..» — пели, изображая отчаяние, заждавшиеся студенты в университетском капустнике.

Виктор Ду-, Виктор Ду-
вакин, где я вас найду? —

импровизировали в самодеятельной бригаде, объединившей энтузиастов поэзии Маяковского.

Но из обширного фольклора о себе Виктор Дмитриевич больше всего любил присловье, сочиненное еще в недрах предвоенного Литмузея: «Дувакин вспомнил то, что он забыл, и тут же забыл то, что вспомнил».

Первое время его собеседования со мной начинались одним и тем же загадочным вопросом:

— Вы, кажется, родом из Козлова?

— Нет, — отвечаю для краткости, — я из-под Винницы.

Каждый раз это было ему как подарок. Его лицо тотчас озарялось счастливой улыбкой, и он с видом заговорщика смаковал пикантную фразу из арсенала Маяковского: «Как плюются в Виннице». Память —

это страсть, и Дувакин мог забыть что угодно, только не строку своего поэта.

При случае Виктор Дмитриевич готов был прорычать что-нибудь из Державина, выхватить клок у Алексея Константиновича Толстого, спародировать Игоря Северянина, погудеть Пастернаком... Но Маяковского читал постоянно: в свое удовольствие и с аппетитом — как в яблоко вгрызался. Его Дувакин любил безоговорочно и потому помнил вдоль и поперек. И только потому, что любил и помнил, им занимался — разбирал строчку за строчкой, отыскивал источники и реалии, толковал, комментировал...

На пятом курсе я принес Виктору Дмитриевичу полтора десятка неизвестных статей Маяковского, подписанных разными псевдонимами. На полках уже стояли три полных собрания сочинений поэта, и поздняя студенческая находка выглядела слишком неправдоподобно. Виктор Дмитриевич вызвал Варвару Аветовну Арутчеву, долгие годы работавшую с рукописями Маяковского, и они вдвоем, проверяя на прочность, стали терзать меня так, как потом уже не терзал никто. Когда я позже рассказывал об этом Рудольфу Дуганову, он хмыкнул: «Ну как же! Дувакин знает всего Маяковского наизусть. И если соглашается на новые тексты, то для порядка должен будет их выучить». А тут не стихи, а проза, и не строчками, а погонными метрами. Через два года нашу общую публикацию Рудик надписал: «Бесконечному Виктору Дмитриевичу...»

«Бесконечность» Виктора Дмитриевича стала очевидной для многих в феврале 1966 года, когда судили Андрея Синявского, его бывшего студента из семинара по Маяковскому. Дувакина вызвали в суд свидетелем. И он сказал там то, что сказал бы у себя дома, на кафедре или в студенческой аудитории. Он помнил Андрюшу с первых занятий, когда тот выглядел еще классическим гадким утенком. Но время шло, и гадкий утенок на глазах превратился в прекрасного белого лебедя... Судья вынужден был остановить свидетеля. Для этого мрачного места больше подходили другие слова, которыми, кстати, вовсю осыпали Синявского и Даниэля в газетах: подонки, оборотни, пасквилянты, нравственные уроды, наследники Смердякова... Если бы Дувакин ими воспользовался, если бы

подтолкнул своего воспитанника за решетку, он выполнил бы долг советского преподавателя и коллеги по филфаку гордились бы им. А так на ученом совете они скопом осудили его и потребовали уволить за несоответствие занимаемой должности. Все это заседание мы протомились за дверью. Когда вышел Виктор Дмитриевич, Зина Новлянская упрямо замотала головой: «Для нас вы соответствуете».

Месяца через два была защита, и нас разослали кого куда. Меня, например, определили учительствовать на Урал, в поселок, возникший вокруг детской колонии. Потом Леонид Габышев изобразил ее в повести «Одлян, или Воздух свободы». Туда Виктор Дмитриевич прислал мне свою фотографию со строчками из Маяковского: «Мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится?»

Однажды на дне рождения у Дувакина покойный Юрий Айхенвальд саркастически отозвался о каком-то оскандалившемся диссиденте: у него обычной совести нет, а он щеголяет гражданской. Для Виктора Дмитриевича, я думаю, тоже никакой особой гражданской совести не существовало. Он не искал приключений, просто хотел жить в согласии с самим собой.

Выгнанный с филологического факультета после двадцати семи лет безупречной работы, Дувакин неожиданно был поддержан ректором МГУ Иваном Георгиевичем Петровским. Вместе они придумали для опального филолога непритязательное занятие: записывать на магнитофоне воспоминания стариков о культурной жизни первых десятилетий века.

Оказалось, что Дувакин ничуть не забыл, чем занимался в Литературном музее еще в 30-е годы. Тогда он под стенограмму разговаривал о Маяковском с его друзьями, знакомыми, единомышленниками, сотрудниками, почитателями...

Конечно, и теперь Виктор Дмитриевич начал с окружения Маяковского; не выпуская его из виду, расспрашивал о Блоке, Есенине, Горьком, Мейерхольде, Бабеле, Пастернаке, Цветаевой... Записывал рассказы о литературных кружках, художественных кафе, выставках, съездах... По просьбе Ивана Георгиевича стал обращаться к ученым-естественникам...

«Собирайте историю», — призывал Маяковский. Даже отходя от него, Дувакин оставался с ним заодно. Кстати, недавно на торжествах, связанных со столетием Маяковского, как только зашла речь о последователях поэта, импульсивный Станислав Лесневский выкрикнул, что настоящим последователем Маяковского был Дувакин.

В Обнинске Виктор Дмитриевич записывал Тимофеева-Ресовского [9], во Владимире — Шульгина, на Красноармейской улице в Москве — Михаила Михайловича Бахтина...

Невероятно, но полтора десятилетия Дувакин спокойно документировал то, что выглядело в ту пору весьма сомнительным. Пастернак допускал, что его самого не тронули, потому что в известной канцелярии плохо было с порядком. Вероятно, по той же причине уцелел и Дувакин со своим фондом звукодокументов.

Само собой, случались в работе Виктора Дмитриевича и курьезы. Например, один престарелый мемуарист так и не смог вспомнить ни года, ни места своего рождения. И я как-то не удержался от злой шутки: мол, когда понадобится фельетон о вашей конторе, уж я порезвился бы...

Следом за Дувакиным, весной 1974 года, я пришел на Красноармейскую улицу к М.М. Бахтину, чтобы договориться о его диалоге для «Литгазеты» с Ю.М. Лотманом. Михаил Михайлович сидел в кресле за столом с книгами, сбоку были пристроены костыли. Кошка, спрыгнув с подоконника, прошлась по комнате и устроилась рядом с хозяином. Сергей Аверинцев, вспоминая Бахтина, заметил, что он предпочитал кошек собакам, говорил: собака — поверхность, кошка — глубина. Но и кошки для него были разными. О своей любимице он сказал: «Это — хра-амовая кошка».

В газете не признавали бесед, участники которых дудели в одну дуду. В обиходе была дразнилка: «Я с вами совершенно согласен!» — «Нет, что вы, это я с вами согласен!» И я не без опаски спросил у Михаила Михайловича, получится ли у них с Юрием Михайловичем спор. Он ответил: «Конечно. Я же не структуралист».

К сожалению, чувствовал он себя неважно. Погода стояла сырая, и он жаловался на легкие. Но впереди

было лето, и казалось, он еще поправится. Как назло, все лето лили дожди. Диалог не состоялся, хотя опоздал я лишь самую малость.

Бывало, опаздывал и Дувакин. И неудивительно: он вообще работал наперегонки со смертью. И если от смерти, разумеется, никого спасти не мог, то от забвения спас многое.

...На окончание университета Виктор Дмитриевич всем нам подарил по книге Маяковского со своими комментариями, а на титуле каждому указал его страницу и строчки. Вале Мартыновой досталось: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» Марине: «Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». А мне: «Ищите свой корень и свой глагол, во тьму филологии влазьте. Смотрите на жизнь без очков и шор».

И я стараюсь. Правда, когда снимаю очки, почти ничего не вижу.

В. Радзишевский

ОТ ПУБЛИКАТОРОВ

Встречи с М.М. Бахтиным проходили в феврале — марте 1973 г. на его московской квартире в присутствии ученицы В.Д. Дувакина — М.В. Радзишевской, которая сделала первоначальную расшифровку записи. Всего состоялось 6 бесед (по времени — около 18 часов звучания).

Это были не первые записи В.Д. Дувакина. Уже более пяти лет он с энтузиазмом первопроходца осуществлял свою удивительную для того времени идею создания устной истории русской культуры первой трети XX века. За пятнадцать лет самоотверженной работы он записал воспоминания более 300 человек, провел свыше 600 бесед, создав редкостную коллекцию, которая ждет своих исследователей [7].

Готовясь к многочасовым беседам, В.Д. Дувакин, как правило, ориентировался на биографию мемуариста, неоднократно подчеркивая в разговоре, что он не журналист, у него другая задача: «спасти то, что еще возможно спасти», «сохранить для будущего живую атмосферу эпохи» [8]. Его беседы отличались от традиционных документов устной истории импровизационным характером. Они развивались свободно, естественно, часто, как это бывает в жизни, с непредсказуемыми отступлениями.

Готовя материал к публикации, мы старались сохранить речевую индивидуальность собеседников, и все-таки исследователям биографии и творчества М.М. Бахтина, наверное, стоит этот диалог послушать. У разговорной речи свои законы, своя логика, и передать это своеобразие не всегда удается. В напечатанном виде неизбежно исчезает неуловимая атмосфера, возникающая в момент разговора, утрачивается непосредственная живость мысли, ее тонкие нюансы, пропадает часть информации, зафиксированная интонацией, ослабевает ощущение подтекста, свойст-

венного этому диалогу. Даже небольшая редакционная правка выравнивает текст, придает речи М.М. Бахтина оттенок категоричности, в то время как живая, звучащая в диалоге, — она сложнее, а сам диалог — многослойнее. Поэтому мы предпочли, по мере возможности, сохранить своеобразие этого документа и печатать текст с минимальными сокращениями, обозначенными <...>.

Места, вызывающие сомнения, отмечены ремарками: [неразборч.] или знаком /?/. Сделаны попытки передать яркие интонационные моменты разговора репликами типа: (*усмехаясь*).

В том, что живое слово М.М. Бахтина обрело новую жизнь, — заслуга многих людей, и прежде всего, конечно, С.Г. Бочарова, без поддержки и помощи которого публикация бесед, возможно, не состоялась бы так скоро. Книге предшествовало появление в журнале «Человек» (1993 — 1995) «Разговоров с Бахтиным». Этому читатели во многом обязаны редактору журнала Н.И. Дубровиной. Искренняя благодарность всем, кто участием и советами помогал в создании этой книги: М.Л. Гаспарову, Г.Д. Гачеву, О.Я. Гелиху, Л.В. Дерюгиной, О.Д. Катагощину, Ю.М. Каган, Б.С. Кагановичу, Н.Н. Кан, М.С. Касьян, С.С. Конкину, П.В. Кузнецову, В.И. Лаптуну, С.С. Лесневскому, Л.М. Максимовской, В.Л. Махлину, А.В. Михайлову, О.Е. Осовскому, Н.С. Павловой, Н.А. Панькову, Н.П. Перфильеву, Б. Пулу, Г.И. Ратгаузу, В.Ю. Селю, А.И. Сизову, И.З. Сурат, В.Н. Топорову, В.Н. Чувакову, В.И. Эрлю.

Основная часть текста сопровождена комментариями С.Г. Бочарова и Л.С. Мелиховой. Комментарий, относящийся к рассказу о Е.Д. Поливанове, принадлежит Ф.Д. Ашнину; о С.А. Есенине — В.В. Кожинову; о М.В. Юдиной — А.М. Кузнецову; о культурной жизни Витебска — А.С. Шатских; о Л.В. Пумпянском — Н.И. Николаеву.

Прослушать беседы с М.М.Бахтиным можно в отделе фонодокументов Научной библиотеки Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

БЕСЕДЫ С МИХАИЛОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ БАХТИНЫМ

ПЕРВАЯ БЕСЕДА — 22 ФЕВРАЛЯ 1973 ГОДА

В. Дувакин: Михаил Михайлович, значит, Вы говорите, у Вас мемуарная книжка выходит?

М. Бахтин: Книжка, посвященная мне, в связи с юбилеем вот семидесятипятилетним [1].

Д: А, ну это немножко другое дело... Значит, точная Ваша дата рождения?..

Б: Точная... 1895 год... по старому стилю 4 ноября, 17-го по новому стилю.

Д: И Вы откуда родом?

Б: Из Орла.

Д: И что за семья? Из какой семьи Вы вышли?

Б: Из семьи дворянской и очень древней [2]. У нас, так сказать, по документам с XIV века... Но дело-то в том, что семья наша тогда уже была захудалой. Потеряла уже почти все.

Д: «И захирел наш род суровый...», да?

Б: Ага. (*Смеется.*) Дело в том, что мой прапрадед... был бригадир екатерининских времен... То есть бригадир — он генерал бригадный... который три тысячи душ своих пожертвовал специально на создание одного из первых в России кадетских корпусов. Этот корпус существовал до революции.

Д: И носил его имя? Нет?

Б: Носил его имя. Значит, вот... имени Бахтина Орловский кадетский корпус [3]. Одно время он назывался «военная гимназия», тоже имени Бахтина.

Вот он пожертвовал три тысячи душ — это, собственно, ну, счет, что ли, был. Это не то что души были. Эти души были, очевидно, проданы, заложены и так далее, ну, как всегда. Это счет такой на души был.

Д: Ну да, я понимаю. То есть это была все-таки большая сумма.

Б: Да, большая, огромная сумма. Он положил, так сказать, начало нашего разорения, что ли, разорения

рода. Он был очень богат, у него было очень много имений.

Д: Это прадед?

Б: Это прапрадед. Да. А мой дед довершил разорение. Но у деда было несколько имений: два уезда Орловской губернии почти полностью еще ему принадлежали — это так называемый Севский уезд и Трубчевский уезд.

Д: Севск у меня вызвал специальный интерес, потому что в Севске родился Иван Георгиевич Петровский [4]. Вы не знали эту семью? Нет?

Б: Нет, не знал.

Д: И кажется, его отец тоже был дворянин и основал в Севске гимназию... незадолго до революции.

Б: А, нет, но это уже после того, как мы имение продали.

Д: А Севск — это Орловской губернии?

Б: Орловской губернии. Да, Севск... Трубчевск... В Дмитровском районе тоже Орловской губернии... как раз в тех местах, где находилось имение этого... Димитрия Кантемира, отца Антиоха. И в этом имении, по-моему, жил и сам Антиох Кантемир. И у нас даже было какое-то родство или свойство: одним словом, один из моих...

Д: Троюродных дядей.

Б: Троюродный дядя, да. Он по матери был связан с Кантемирами. А как точно — не знаю. Меня, правда сказать, это мало интересовало... Вот брат мой, он изучал свою родословную, все это знал, а я плохо знаю... Там же был по соседству с нами и тоже в каком-то отношении родства или свойства находился... к этим... Святополкам-Мирским.

Д: А! Ну, это огромный был род.

Б: Огромный был род, да... И тоже я не разбираюсь совершенно в этой родословной. В раннем детстве я бывал в этих имениях... Святополков-Мирских, какого-то, я не знаю какого...

Д: Один из последних...

Б: Один из последних, который был в Англии, а потом вот попал к нам и кончил здесь весьма печально.

Д: Да. Но одно время был, значит, критиком номер один. Горький его пригрел.

Б: Да-да, было такое.

Д: Я его встречал.

Б: Вы встречали его? Нет, я его не встречал.

Д: Я здесь его встречал. Был такой типичный интеллигент.

Б: Да, я это знаю, типичный интеллигент, наивный. Наивный, так сказать, совершенно.

Д: Очень славный...

Б: Вы понимаете, вообще, ведь вот... Я так представляю себе: вероятно, английские коммунисты из лордов... Ведь английская коммунистическая партия, она своеобразна: рабочих там почти нет, а лорды и интеллигенция, только. Одним словом, экзотика быть непохожим на других и прочее и прочее. И вот на таких вот коммунистов из лордов похож был этот Святополк-Мирский. Тоже был лорд [5].

Д: Но уж... отец Ваш имел уже профессию?

Б: Отец имел уже профессию. Он был финансист и работал по банкам. Но имения уже не имел. Бабушка имела и дедушка. И в общем, так... довольно порядочно, вероятно. Ну, прежде всего остался очень большой дом в Орле, в котором я родился. Дом вроде усадьбы, там все было, как в усадьбе.

Д: Ой, как это интересно!

Б: Я не знаю, цел ли он. Он был дом деревянный, знаете, как это, с антресолями. Дом большой, там было примерно около тридцати комнат, ну, кажется, с флигелями и с прочим... Этот дом находился в таком одном из самых дорогих, что ли, районов, угол Садовой и Георгиевской, а в следующем квартале, на углу Тургеневской улицы и Георгиевской улицы, находилось место, где родился Тургенев, ну, примерно в двух шагах от нас. Тут родился он, но дома-то этого уже не было... Когда я родился, его уже не было, только место осталось. А там стоял какой-то каменный такой небольшой домик. Но место это точно известно... что именно на нем стоял дом, где родился Тургенев. Имение — одно из имений моего дяди, оно находилось по соседству со Спасским-Лутовиновым, в Мценском уезде, примерно так километров десять от Мценска. Я в этих местах бывал тоже. Когда я родился, имение еще принадлежало дяде. Тихон Афанасьевич Бахтин — был такой.

Д: А отец, значит, был крупный служащий из дворян.

Б: Да, да, был довольно крупным служащим. Видите ли, дед мой организовал банк. Это Орловский коммерческий банк, который тоже существовал до революции, имел уже отделение большое... в Петрограде, в Петербурге. Ну, этим банкам не повезло. Дед мой был, так сказать, человек очень добрый и доверчивый необычайно... Он был председателем правления, в этом банке его капитал был в основном... Но его коллеги, другие члены правления, были жуликоватые люди, или просто жуликоватые, или уж очень недалекие, — и в результате банк лопнул. Возникло огромное дело, процесс, который в то время приобрел известность, так как очень многие попали на скамью подсудимых, в том числе и мой дед. Правда, мой дед не арестовывался, конечно... потому что уголовного у деда не было ничего, но, однако, процесс был. На процесс защищать моего деда приехал Плевако знаменитый. Он выступал по этому делу. Ну, кончилось, в общем, так, что деда моего совершенно освободили от всякой уголовной ответственности, потому что ясно было с самого начала, кто здесь, так сказать, был мошенником, а кто был просто излишне доверчивым человеком, который давал свою подпись, не разбираясь, в общем, в сущности операции, которая ему предлагалась. Ну и вот, процесс кончился так: кого-то посадили там. А вот гражданская ответственность была такая, что вот эти имения все... огромные пришлось отдать. Притом да как еще! Собственно говоря, он не обязан был, дед мой, отдавать, конечно, в полной мере. Знаете, как в таких случаях — комиссии какой-то... и там сколько-нибудь, скажем двадцать копеек с рубля, давали — вот так. Дед совершенно это отверг, давал полным рублем, и поэтому огромную сумму пришлось ему отдать.

Но тем не менее после этого оставался и дом, и даже маленькое имение еще, ну и примерно еще тысяч сто денег оставалось. Вот. А потом это уже постепенно мельчало и мельчало. Но! Бабушка... Дед умер раньше, а бабушка жила до Октябрьской революции, более того, умерла уже — по-моему, это было в конце 17-го или в начале 18-го года — в глубокой старости после сыпного тифа.

Д: В своем доме?

Б: В своем доме.

Д: Ее не выгнали и дом не сгорел?

Б: Нет-нет, дом не сгорел, ее не выгнали, только ее потеснили. Она, кажется, жила... я уже не знаю... Мать моя была там... вот в это время, когда она болела тифом и умирала, а я там уже не был. У нее еще... капитал был, оставался...

Дед мой, несмотря на то что он задумал заниматься финансовой и коммерческой деятельностью, был слишком доверчивый человек, добрый. И вот я только помню, что в кладовой у бабушки хранился огромный ящик, полный векселями, — векселями, которые, так сказать, не оплачены были теми, кто брал деньги. Давали направо и налево. Направо и налево дед давал. И вот до конца, до революции, у нас был постоянный присяжный поверенный, который должен был взыскивать эти долги. Ну, он взыскивал какие-то гроши. В общем, никакого значения это почти что не имело. Но до самого последнего дня, следовательно, производились взыскания.

Ни родители, ни мы, дети, уже не жили в Орле, уже не жили давно, но почти каждое лето мы приезжали сюда — дети приезжали: я, и мой брат, и моя сестра.

Д: У Вас еще сестра была?

Б: Ну, у меня было три сестры, даже, строго говоря, четыре, потому что четвертая была приемная дочь [6].

Д: Значит, шесть человек. Большая семья.

Б: Да, семья была большая. Кроме того, в этом доме жило очень много родственников, в частности рано умерший брат моего деда. Он рано умер, оставил наследство довольно большое, тоже какие-то имения, как раз в Дмитровском уезде. И его дети: три дочери и сын, тоже жили в нашем доме, потому что опекуном был назначен дед мой, а потом бабушка.

Д: Весело...

Б: Ну, конечно, на свои средства жили, потому что... дед довольно большое имение оставил после себя. Кроме того, у нас родственники были... мы-то разорились, но родственники у нас были очень богатые, миллионеры. Вот. Главным образом они были так по побочной такой линии, но довольно близкие, по бабушке родственники. Это были очень богатые люди. Нужно сказать, что, конечно, никого не осталось,

только одна моя двоюродная сестра, дочь одного из тоже очень богатых людей, который был городским головой...

Д: В Орле?

Б: В Орле, да. Городским головой. Это его, в сущности, и погубило.

Д: Ну конечно.

Б: Да. Ну, а когда, значит, произошла революция, то так как он был человек добрый... то его, правда, посадили, но ничего такого плохого с ним не сделали. Более того, там были предприятия, которыми только он мог управлять... и его, так сказать, выпускали, и он делал там все, что нужно, да. Все было бы ничего, но пришли белые в Орел. И тогда был такой лозунг: «Все, как было до революции». Все! И дядя мой тоже должен был стать снова городским головой. Он и стал.

Д: Да... Это его и погубило.

Б: Ну, как Вы знаете, белые там были очень недолго. Вернулись красные. Дяде пришлось бежать. Он бежал со всею своею семьею, довольно удачно, уехал на Кавказ и жил там под чужим именем в Армавире. И жил довольно долго. Все было хорошо. Да. А потом...

Д: Эмигрировал потом? Нет?

Б: Нет, эмигрировать он не успел. Не успел он эмигрировать.

Д: Значит, его ликвидировали?

Б: Нет, не успели ликвидировать. Дело было так. Там вспыхнула холера, в Армавире, и он заболел холерой, положили его в барак холерный, и в это время как раз дознались, кто он. Да, кстати, он был заочно приговорен к смертной казни, еще там, в Орле. И вот тут обнаружили, кто он, и, значит, пришли за ним. Оказалось, что он лежит в бараке. Пошли туда, в барак холерный, чтобы либо перевезти его в тюремную больницу, либо поставить туда человека из МГБ... не МГБ тогда было...

Д: Тогда была ЧК.

Б: Да, ЧК была. Вот. Но врачи сказали, что «будьте спокойны, дело идет даже не о днях, а о часах: он умирает». Он был стар, перенести холеру, конечно, было трудно. Ну, и действительно он и умер. И не узнал, конечно, о том, что дознались и так далее. Вот.

О том, что он приговорен к смертной казни, — это он знал, конечно. Ну вот, он умер, а семья осталась.

Д: А семью не тронули?

Б: Семью? Нет, не тронули. В общем, остались кто? Осталась жена и дочь, единственная дочь, Лиза. Она сейчас здесь живет, в Москве, единственная моя близкая, совсем близкая родственница по дяде... [7]

Д: Ее отец, значит, Ваш дядя по матери?

Б: Дядя, да. Более того: ее мать тоже сестра моей матери, так что она вдвойне, так сказать, родная.

Д: Ага, понятно, перекрестный брак такой.

Б: Да. Но, к сожалению, она больна. Она моложе меня, значительно даже, но она все-таки уже немолодая, у нее тяжелое заболевание: сосудистое, сейчас очень распространенное. Ну вот, и поэтому она даже не может выезжать, ходить и так далее, только с чужою помощью. Вообще ей очень трудно. Так что она у меня здесь не была. В последний раз я ее видел, она в больницу кремлевскую приезжала, когда мы там лежали. А теперь только по телефону сносимся с нею.

Д: Так, ну, о семье Вы рассказали широко и интересно. Вы успели до революции кончить гимназию...

Б: Да, это я все успел.

Д: ...и университет? Или нет?

Б: И университет, да-да, и университет. Правда, не совсем уже: после революции я уже сдал государственные экзамены.

Д: Гимназию Вы кончали в Орле?

Б: Нет. Дело-то в том, что (отец. — *Ред.*) работал, был финансистом, но... все время переезжал. То есть как все время, ну, несколько раз переезжал, потому что его перевели в качестве директора отделения Орловского коммерческого банка в Вильно. И вот он в течение пяти лет там был, и я там был.

Д: И учились в Вильнюсской гимназии?

Б: В Виленской гимназии учился, да. Хотя поступал еще в Орловскую гимназию... Ну, а потом... семья переехала в Одессу. И в университет я поступил уже в Одессе. Но там был недолго, и мы перевелись с братом в Петербургский университет. И там я уже кончал.

Д: Значит, Вы учились на историко-филологическом?

Б: На историко-филологическом факультете, да. На классическом отделении.

Д: А отец Ваш имел университетское образование?

Б: Отец? Нет. Он имел специальное... нет, он не имел, в то время тоже как-то этому не придавалось большого значения, так как было все-таки имущество, и потом был банк свой, так сказать. Вот. И он в своем банке начал работать. Работал он сначала очень недолго. Его перевели сразу уже директором банка в Вильно тогда.

Д: Значит, у Вас есть полное представление о том, что представляла собой российская провинциальная гимназия: Орел, Вильно, Одесса — Центральный, Западный край и Юг. Вот расскажите немножко о гимназиях, так сказать, охарактеризуйте...

Б: Видите... трудно, конечно, так все вспомнить в связной форме. Я скажу одно — что гимназии, все три, были хорошие. Особенно хороша была Одесская гимназия. Прекрасная была гимназия. И Виленская гимназия тоже была очень хорошая.

Д: А Орловская похуже?

Б: Орловская была несколько похуже, похуже была. А вот Виленская гимназия... Там было всего две гимназии только на весь... город и, в сущности, на почти всю губернию. Там очень много было из разных вот этих городков... Лида — городок был такой, еще как-то... вот, все были там...

Д: Платили за учение?

Б: Платили, да. Но нужно сказать, что очень много было стипендий. В сущности, хорошо учившийся — и действительно нуждающийся — почти всегда мог рассчитывать на стипендию. Вот. Это нужно прямо сказать. Чтоб выгоняли из гимназии за невзнос платы — я не слышал о таком случае, не слышал. Потому что всегда родительский комитет выносил соответствующее решение, и его освобождали от платы за обучение.

Д: И стипендии эти были за счет частных пожертвований?

Б: За счет частных пожертвований, да, да, за счет частных пожертвований. Вот. Теперь... Первая Виленская гимназия, где я учился, находилась в здании университета, древнего Виленского университета... построенного в XVI веке.

Д: Я знаю это здание. Я в нем прочел несколько лекций. (*Смеется.*)

Б: А-а-а! У меня вообще самые лучшие воспоминания связаны... Ну, самые лучшие воспоминания связаны, конечно, с детством, но и с Вильнюсом, и с этой гимназией, и с этим домом прекрасным. Дом этот — целый остров...

Д: Замок целый!

Б: Целый квартал он занимал, и все там было интересно, и атмосфера там была какая-то особая. Несколько дворов было. Каждый двор имел название. Вот, например, тот двор главный, с которого все входили, — это так называемый двор Лелевеля.

Д: Лелевеля?

Б: Да-да. Это... Один из деятелей старой Польши [8]. В честь его назвали так этот двор. Все дворы имели какие-то названия. Вот. В этой Виленской гимназии (ну, конечно, до меня все это) учился Пилсудский. И вообще, многие, ставшие потом видными деятелями, учились в этой Виленской Первой гимназии. Нужно сказать, преподаватели там были очень хорошие. Очень хорошие...

Д: Это была русская гимназия?

Б: Это была русская, чисто русская. Ну, там поляков было много. Поляков было много.

Д: Но преподавание велось по-русски?

Б: Только по-русски. А... для поляков был устроен польский язык, который посещали только поляки, по желанию.

Д: Даже преподавался?

Б: Преподавался польский язык.

Д: Польский язык? А не преследовался?

Б: Не-е-ет. Ну, это все же страшные преувеличения. Преследовался... Он не был обязательным. Не был обязательным. Кто хотел — тот учился. Вот. Конечно, был польский язык, что Вы! Я помню преподавателя... я-то его, конечно, не слушал, не бывал, но я помню преподавателя — это был удивительный человек такой. Во-первых, он был очень красив, такой типичный поляк, с бородой, очень красивый человек и очень духовный человек. Вот у него учились все поляки, кто хотел.

Д: А литовского языка не было?

Б: Литовского языка — нет, не было. Были литовцы, но в гимназиях не было. Может, в каких-нибудь были. Там ведь были еще частные гимназии... Преподаватели были хорошие, очень. Я, во всяком случае... ну, не помню ни одного, который бы вызывал антипатию и у меня, и у других учеников. Нет. Это всё были честные люди, знающие люди, иногда очень знающие люди, благожелательные, так что я жаловаться не могу, нет-нет, никак не могу жаловаться. Я помню... мы любили, и я, в частности, очень любил, Адриана Васильевича Круковского. До сих пор его помню. Вот. Называли его у нас — конечно, как и всех, как и всегда, прозвища были у преподавателей, — «артист прогоревшего театра» его называли. Потому что он весь был... седые кудри у него были и что-то в нем было действительно от артиста старого, но прогоревшего театра. Но это был человек очень знающий.

Д: Что же он преподавал?

Б: Он преподавал русский язык и русскую литературу. Преподавал замечательно, с увлечением, я бы сказал, со страстью, со страстью, которая заражала всех. Он и писал. Взгляды у него были отнюдь не... не революционные. Нет. Его работа такая была опубликована: «Религиозные веяния в русской поэзии». Ну, потом он писал о Тургеневе. Даже еще в 16-м году последняя его статья была опубликована... в «Журнале Министерства народного просвещения» [9].

Преподаватель математики, Янкович, мне тоже очень нравился, и всем очень нравился. Он был сухой, несколько сухой, но чрезвычайно такой... ну...

Д: Точный.

Б: Логичный, точный. Главное — логичный. Он никогда ничего не давал так, что вот — «запомните, и все». Нет, он все умел как-то доказать и довести до сознания. Потом уже, когда я давно... из Виленской гимназии ушел, его назначили директором Новосвенцянской гимназии.

Эта Новосвенцянская гимназия (когда война началась, этот Новосвенцянск был очень скоро занят немцами) была переведена в город Невель.

Д: В Невель?

Б: Да. В Невель приехал и я. Почему? Потому что там жил мой друг, друг, который вообще в моей жиз-

ни сыграл большую очень роль. Это Лев Васильевич Пумпянский [10].

Д: Слышал.

Б: Он есть в энциклопедии... литературной.

Д: Это литератор известный.

Б: Литератор известный, да. Человек исключительно талантливый и с грандиознейшей эрудицией.

Д: Он Вашего поколения?

Б: Моего поколения. Он на один год моложе меня.

Д: Он жив?

Б: К сожалению, давно умер, молодым. Ему было... около сорока девяти лет, когда он умер.

Д: Я читал за его подписью...

Б: Вы, вероятно, читали статьи о Тургеневе...

Д: Да, наверное...

Б: Да. Потом он XVIII веком много занимался, Тредиаковским занимался очень много, в частности исследованием по вопросу о синтаксисе и о стихосложении Тредиаковского. Ну вот. Он отбывал военную службу, то есть был на войне, и потом его полк стоял в Невеле. Там же произошла демобилизация. И он в Невеле оставался, потому что в Ленинграде в то время жить было очень сложно (тогда это был Петроград) — жить было очень трудно. Ну, просто был голод. Он не возвращался. А в Невеле как-то он ужился очень хорошо, вот. Ну, верхушка Невеля была очень тесно связана с ним. Он там много читал лекций. Ну и вот... Он приезжал в Ленинград — в Петроград, — останавливался обычно у нас, в квартире отца, матери, моего брата [11], с которым он был тоже очень близко дружен по гимназии еще... Брат уехал на юг. Там вступил в добровольческую армию, и вместе с этой армией потом он очутился за границей, в Константинополе... вместе уже с бежавшей армией из Крыма. А потом он очутился в рядах иностранного легиона.

Д: В Испании?

Б: Нет-нет-нет. Это иностранный легион еще был... до Испании все это было, конечно.

Д: С кем? Где?

Б: Иностранный легион французский, старый иностранный легион. В Алжире.

Д: Ах в Алжире...

Б: Это очень интересное, так сказать, явление, очень своеобразное явление. Вот он как раз и описывает... в воспоминаниях эту свою жизнь в иностранном легионе. А потом он был тяжело ранен. Они с берберами воевали, главным образом. Берберы, которые были не усмирены. Он был несколько раз ранен, и особенно тяжело он был ранен в грудь, почти у самого сердца. Его демобилизовали оттуда, и он приехал в Париж. Сначала находился все на военной службе, в каком-то бюро работал. Он писал, что, собственно, там, в этом бюро, ровно ничего они не делали, демобилизованные, ровно ничего: писали письма и так, болтали... Служба была очень легкая. Ну, а потом он... да, поступил в университет... Он почти кончил университет в России, но там, так сказать... надо было оформиться. Он там оформился...

Д: В Сорбонне?

Б: Да, в Сорбонне. В Сорбонне. Кончил... Очень много выступал с научными докладами и с небольшими статьями.

Д: А его специальностью была...?

Б: Классическая тоже.

Д: Тоже?

Б: Классик, да. Но я-то потом от классицизма отошел совершенно, а он оставался ему верен до конца. И вот свою докторскую диссертацию там, в Кембридже, защищал...

Д: Так он что же, так там и остался или он вернулся?

Б: Нет, он во Франции не остался. А... такой очень известный сейчас ученый... Коновалов, это сын Коновалова... [12]

Д: Министра Коновалова.

Б: Да, министра Коновалова. Вот.

Д: Знаю, Гудзий с ним был знаком.

Б: Вот, Гудзий был с ним знаком. Он приезжал сюда ведь на съезды славянские. Кажется, на Пятый съезд он приезжал.

Д: Или Четвертый, Четвертый...

Б: Его представляли «сэр Коновалов». Ну вот. Он был тоже другом моего брата, там уже, за границей. В России он его не знал: И этот Коновалов уговорил его переехать в Англию. Он уже был в то время, с самого начала, в эмиграции, в Англии.

Он переехал туда. Сначала был в Кембридже. Я недавно получил в подарок... фотокопию его последнего доклада в Кембридже... о Пушкине. Ну вот. Проблема такая была: почему Пушкина, такого ясного и простого как будто бы, классического писателя, так мало и так плохо переводят, мало и так плохо знают за границей. Вот это был последний его доклад. Он не был опубликован при жизни. А после смерти, совсем недавно, в его бумагах нашли набросок этого доклада.

Д: А когда он скончался?

Б: Скончался в мае 50-го года.

Д: А что Вы говорили, по-моему, мне в прошлый раз, что какая-то его работа здесь выходит? Нет?

Б: Здесь? Нет. Не выходит никакой его работы...

Д: Значит, он умер эмигрантом?

Б: А здесь находится в Ленинской библиотеке его работа о современном греческом языке. Но он подходит к современному греческому языку сквозь призму древнегреческого языка. Его основная идея та, что, в сущности говоря, гораздо больше, чем в археологии, чем в известных нам произведениях древнегреческой литературы, классических, гораздо больше настоящей древности, не, так сказать... неприкрашенной, не подчиненной каким-либо концепциям, содержится в новогреческом языке. Новогреческий язык с точки зрения как бы археологии не изучали. Вот примерно, как Вы знаете, ну, одна из идей покойного академика Марра. Он... в палеонтологии...

Д: Знаю.

Б: Но у него это сложилось независимо от Марра и несколько иначе совершенно. Он не искал каких-то прасимволов, никаких, так сказать, первоэлементов он не искал, а он искал именно вот того, что...

Д: Значит, он оставался, в общем, в классических рамках именно европейской концепции?

Б: Европейской концепции, да-да. Он ездил уже там, из Англии, несколько раз в Грецию, принимал даже участие в раскопках, в частности на Марафонском поле. У матери была даже карточка. Он в переписке со мною не находился по соображениям осторожности, в те годы нельзя было переписываться с заграницей. Это могло быть очень рискованно, и поэтому он писал матери, зная, что мать мне передаст...

Д: А мать жила где?

Б: А мать жила в Ленинграде тогда уже. И сестры жили там. И вот у нее была карточка, где он снят со своею женою (жена у него была англичанка) на Марафонском поле во время, так сказать, раскопок. Он в одних трусиках. На Марафонском поле в Греции. Да, потом тоже еще карточка была его на фоне древнего здания Кембриджского университета. Он стоит в мантии доктора, в руках у него фолиант такой типичный, а несколько в сторонке стоят преподаватели и студенты. А он на первом плане.

Д: А брат вместе с Вами в этой Виленской гимназии был, да?

Б: Был в Виленской гимназии, конечно, да.

Д: Он старше немножко?

Б: Он немножко старше был меня, да. Немного старше.

Д: Ну, Вы ведь... — вернемся к гимназии — Виленскую гимназию Вы не кончили?

Б: Нет, я не кончил, а перевелся в Одесскую гимназию... где и кончил, да.

Д: Ну, а Одесса?

Б: А Одесса... Одесская гимназия тоже была хороша. Хороша была Одесская гимназия. Я не могу жаловаться, никак не могу. Все преподаватели были хорошие. Может быть, не было таких... ну, выдающихся преподавателей, как в Вильнюсе, может быть, общий уровень, так сказать, был несколько ниже...

Д: Учащихся?

Б: И преподавателей, преподавательского персонала. И учащихся... таких, по-моему, выдающихся, не было. Но вообще было прекрасно. Все были отличнейшие юноши, прекрасные, благородные. Никак жаловаться ни на что не могу. И преподаватели были все хороши. Никаких преследований, никаких гонений никогда... Все, что так размазывают наши эти самые прогрессивные писатели, журналисты и деятели, — ничего этого не было. Это было кое-где, может быть, но я этого не наблюдал. И вообще, это было исключение. А в общем, наша гимназия была на высоте, надо прямо сказать. На высоте.

Д: Как она называлась?

Б: Просто гимназия.

Д: Одесская гимназия? Только одна была?

Б: Нет, там было несколько. Это Четвертая была гимназия.

Д: Значит, Четвертая Одесская гимназия. Никто из будущих знаменитых одесситов-писателей с Вами не учился?

Б: Нет, не учился.

Д: Багрицкий?..

Б: Нет-нет-нет, они все учились в других гимназиях. Я их не знал. Я их узнал...

Д: Никого? Ни Ильфа и Петрова, ни...?

Б: Никого, никого. Нет. Я в Одессе был недолго. Там же я поступил в университет, потом очень скоро перевелся.

Д: Так Вы что ж, только старший класс, седьмой, там кончали? Седьмой и восьмой?

Б: Да, седьмой и восьмой класс.

Д: Восьмой — это теперешняя десятилетка?

Б: Теперешняя десятилетка, да. Был еще так называемый приготовительный класс. Я в нем не учился, и многие не учились. Обычно подготовлялись дома и сдавали экзамены в первый класс гимназии.

Д: И там и начали университет?

Б: Университет начал, да.

Д: И там был историко-филологический факультет?

Б: Конечно. Университет назывался Новороссийский. Не Одесский, а Новороссийский университет, потому что весь край Новороссийский был. Нужно сказать, там были хорошие, выдающиеся преподаватели, у которых я учился. Например, я помню, замечательный был лингвист Томсон... [13] Он был прекрасный лингвист, прекрасный лингвист. Мы учились и сдавали по его великолепному учебнику, который как-то я хотел достать, но оказалось невозможным его найти сейчас. Университетский учебник — «Введение в языкознание», очень хороший. Потом там был... тоже преподавателем, очень, во всяком случае, интересный, хотя и малоприятный по своему характеру... Ланге.

Ну, Ланге есть знаменитый немецкий профессор, автор «Истории материализма» и так далее. Кажется... как же его звали, этого Ланге?.. А этого — Николай Николаевич Ланге, профессора-то моего, Николай Николаевич Ланге [14]. Он был учеником Вундта. Начинал свою работу в его лаборатории психологиче-

ской. Ну вот. У него был труд, собственно, как это у него?.. «Вопросы психологии» называлось... или «Очерки по психологии», вот это я точно не помню. Там были интересные работы его, только по психологии. В частности, он даже занимался... таким научным изучением наркозов, принимал для этого специально — это тоже было еще в Германии, когда он у Вундта учился, — принимал опий или гашиш, вот я уж не помню сейчас. И как психолог, как ученый, следил за своим состоянием: как начиналось, как нарастало, как развивалось действие наркоза и так далее. Там вообще интересные, помню, работы, тем более что таких работ мало было у нас, совсем даже не было, никто не изучал. У нас знали... вот эту сторону вопроса скорее литературоведы, просто потому, что Бодлер написал известный труд, книгу под названием «Les Paradis artificiels», то есть... «Искусственный рай» [15]. Под искусственным раем он понимал...

Д: Опьянение.

Б: Состояние наркоза, да. Главным образом он имел в виду гашиш. Ну, эта книга вообще очень интересна, как все у Бодлера. И нужно сказать, там он дает очень подробный анализ книги, которую у нас не знали, и у нас она в России так и не была никогда опубликована — это книга Де Квинси [16].

Д: Де Квинси?

Б: Да, Де Квинси. Де Квинси — это классик известный, очень крупный научный деятель в области классицизма, англичанин. Он был опиофагом, с ранней юности и до своей смерти. А умер он в глубокой старости, несмотря на это. И притом принимал в конце жизни такие порции, что никто не верил из ученых, из медиков — никто не верил, что это возможно. Но это было возможно. Он постепенно доходил до таких чудовищных доз, и тем не менее ничего с ним не случалось.

Д: И испытывал наслаждение?

Б: Испытывал наслаждение. Вот. Описывал свои грезы, свои видения. А так как он был классиком замечательным и обладал еще поэтическим дарованием, то все эти видения его, они в высшей степени поэтические, почему они и привлекли внимание Шарля Бодлера. И вот он излагает там биографию Де Квинси. Этот труд Де Квинси был в Европе известен. В час-

тности, он был переведен на английский, на... французский язык и в «Revue des deux mondes» был полностью опубликован в нескольких...

Д: «Revue des deux mondes»?

Б: Это знаменитый французский журнал XIX века.

Д: Он, по-моему, выходил и в XX.

Б: Да, он выходил и в XX. Но опубликовано это было, конечно, еще в XIX веке — эти воспоминания английского опиофага. Я читал как раз это в «Revue des deux mondes», целиком. Но у нас как-то этим вопросом не занимались, мало интересовались. А вот как раз Николай Николаевич Ланге — он подверг, так сказать, это научно-психологическому анализу — состояние человека, принявшего опий или гашиш — вот тут я не помню.

Д: Так, ну это, так сказать, некоторый зигзаг в сторону. Значит, классическое отделение историко-филологического факультета Новороссийского университета в Одессе в целом по своему научному уровню было вполне достойным, да?

Б: Вполне было достойным, вполне, да. Ну вот — Мочульский, он был бледный преподаватель, бледный, не оставил большого впечатления [17]. Он был очень солидный человек...

Д: А русскую литературу, значит, там не изучали? Или изучали?

Б: Нет, а как же!

Д: На классическом отделении?

Б: Все равно. Да. Все равно.

Д: И всю западноевропейскую? Были общие курсы?

Б: Да-да, ну конечно же. Это были общие предметы. Специализация начиналась значительно позже там. В общем, я там был со всеми вместе, независимо от отделения...

Д: Пять курсов было?

Б: Четыре курса было, четыре.

Д: Скажите, а знание древних языков?..

Б: Уже было.

Д: Уже было с гимназии?

Б: С гимназии. Латинский был обязательный. И латинский, нужно сказать, проходили прекрасно. Прекрасно проходили. А древнегреческий факультативно,

так сказать, по желанию. Я проходил... древнегреческий.

Д: Значит, Вы, уже поступая на первый курс университета, знали латынь, древнегреческий, ну, конечно, французский...

Б: Ну, французский, конечно. Французский знал с детства. И с детства знал немецкий. Более того, так как мой брат немножко старше, то взяли нам гувернантку, немку. Для меня это было рано еще: по-русски как следует не научился говорить... ну, и поэтому моим первым языком почти что был немецкий. Почти что. Я тогда и думал по-немецки и говорил по-немецки в течение...

Д: А французский потом?

Б: Французский несколько позже, да.

Д: Английского не было?

Б: Английского не было.

Д: Он вообще тогда...

Б: Вообще английского, да, не было, и даже факультативно нельзя было изучать. В университете-то можно было. В университете можно было любой язык изучать. Всегда находились преподаватели. Брат мой, например, начал изучать (но потом бросил) факультативно датский язык. Была такая фрекен Лассен в Петроградском университете, которая преподавала факультативно.

Д: Значит, в Одесском университете Вы учились в какие годы? Уже в войну?

Б: Нет, до войны. А уже во время войны я был в Ленинграде.

Д: В Петербурге.

Б: Да.

Д: Подождите, что-то много лет получается. Вы поступили в Одесский...

Б: С годами тут у меня, может, память изменяет, я путаю...

Д: Война началась в июле 14-го года. Если Вы проучились хотя бы только 13/14-й учебный год, довоенный, в Одессе, первый, то если Вы даже сразу на второй перешли, но, по-видимому, по содержанию Вашего разговора...

Б: На второй, на второй курс.

Д: Значит, Вы только один год...

Б: Только один год.

Д: ...были в Одессе. Вот Ланге и все это — Вы были первокурсником?

Б: Да. Я там кончал гимназию, а потом... значит, в университете был только один год.

Д: Так, значит, 14/15-й, 15/16-й и 16/17-й — это второй, третий и четвертый курс Петербургского университета?

Б: Да. Петербургского университета.

Д (*как бы сам себе, приглушенно*): Или уже Петроградского тогда.

Б: Да. Вот даты я так точно не помню. Тут воспоминания брата есть, вот... в этом... английской-то... мемориальной книге. Ну, там есть кое-какие подробности детства.

Д: Ну, есть так есть. Нам интересно то, чего нет.

Б: Воспоминания о нашей гувернантке, немке, которую я, например, любил страшно... Я называл ее только «Liebchen» и очень любил сидеть у нее на уроках. Ну вот. Она была очень хорошая.

Д: Значит, у Вас действительно было очень полноценное и воспитание и образование.

Б: Полноценное, да. Но нужно сказать так: все-таки, несмотря на то что я не могу жаловаться ни на гимназию, ни на университет, основное все-таки я приобрел путем самостоятельных занятий. Это все и всегда. Потому что не могут, по самой сути дела, не могут вот такие учебные заведения, официальные, давать такое образование, которое могло бы удовлетворить человека. Когда человек им ограничивался, то он, в сущности, превращался... в чиновника от науки. Ну вот. Он знал только вот то, что было, — предшествующую стадию науки, но современные стадии, творческие... Он должен был приобщиться ей, приобщиться ей путем самостоятельного чтения новейшей литературы, новейших книг. Вот, например, скажем, Ланге, я вам говорил, — Николай Николаевич. Он был прекрасный профессор, прекрасный профессор, но вот, например, когда, помню, я спросил его — я очень рано начал читать философские книги в подлиннике, на немецком языке, — спросил его относительно Германа Когена — это глава Марбургской школы...

Д: Вот где Пастернак?

Б: Пастернак, да-да. Вот. Его первый такой труд, и очень важный, — это «Kants Theorie der Erfahrung»,

то есть «Кантовская теория опыта» [18]. Я его спросил, солидная ли это книга. Он мне ответил: «Кажется, довольно солидная», то есть он не читал. И более того, мне показалось, что и имя Германа Когена ему также известно только понаслышке.

Д: И мне оно тоже известно только понаслышке, в связи с Пастернаком.

Б: Вот-вот-вот. И у Белого есть:

Философ марбургский Коген,
Творец сухих методологий... [19]

Ну, это, конечно, абсолютно неправильная характеристика — «творец сухих методологий». Это был замечательный философ, который на меня оказал огромное влияние, огромное влияние, огромное. Ну, потом мы с Вами будем говорить, дойдем до этого.

Д: Да. Вообще очень интересна история формирования... первой ступени формирования ученого. Теперь мы, так сказать, переходим к следующему уже... О ком Вы хотели рассказать?..

Б: Можно сказать, я рано очень начал заниматься самостоятельным мышлением и самостоятельным чтением серьезных философских книг. И первоначально я именно философией больше всего увлекался. Литературой. Достоевского я знал уже с одиннадцати-двенадцати лет. И несколько позже, с двенадцати-тринадцати лет, я уже начал читать серьезные классические книги. В частности, Канта я очень рано знал, его «Критику чистого разума» очень рано начал читать. Притом, нужно сказать, понимал, понимал.

Д: И читали по-немецки?

Б: По-немецки, по-немецки читал. По-русски я даже и не открывал. По-русски я только читал «Пролегомены». «Пролегомены» переведены Владимиром Соловьевым. Вот это я читал. «Пролегомены» — это хорошая книга, интересная, но ведь это, в сущности, «Критика чистого разума», только в сокращенном издании. Других философов читал немецких. Очень рано... раньше кого бы то ни было в России, я познакомился с Сереном Киркегором [20].

Д: Простите, я даже не понимаю, о ком речь. Серен...?

Б: Киркегор.

Д: Кир-ке-гор? Это что же, немец?

Б: Пишут у нас неправильно: Киркегард. А надо — Киркегор. Киркегор.

Д: Датчанин?

Б: Да, это был датчанин, это был великий датчанин.

Д: Тоже философ?

Б: Он был философ и богослов. Вот. Философ. Он был ученик Гегеля, учился у самого Гегеля... у... Шеллинга. Но потом он боролся с Гегелем, с гегельянством. Это был основоположник, ранний, который тогда, при жизни, был совершенно не замечен, — экзистенциализма.

Д: Простите, но какие же это годы? Он был... он современник...?

Б: Он современник Достоевского, как раз год в год они родились, но умер он раньше несколько, раньше несколько, чуть-чуть [21]. Достоевский о нем понятия не имел, конечно, но близость его к Достоевскому изумительная, проблематика — почти та же, глубина — почти та же. И вообще, его сейчас считают одним из величайших мыслителей нового времени — Серен Киркегор. А при жизни его ни во что не ставили.

Д: У нас его не переводили?

Б: Он был большой ученый... Переводили. Очень мало, и не лучшее, не лучшее. Знаете, я познакомился тогда, в Одессе, еще с одним очень культурным швейцарцем — Ганс Линбах. Но он так, следа не оставил. Это был страстный поклонник Киркегора, когда его еще никто не знал.

Д: Это что же, с живым человеком познакомились?

Б: Живой человек, познакомился с ним.

Д: Этот швейцарец — вот кто Вам и дал эти книги, да?

Б: Да-да. И он открыл для меня Киркегора. И даже подарил первую книгу Киркегора, с его надписью: «Серен Киркегор». Ну вот. Ну, потом, запасшись полным собранием сочинений... я датского языка не знал, но по-немецки он уже был переведен весь, и, кажется, в «Pieter Verlag», сейчас уже не помню, в очень хорошем немецком издательстве, было издано десять томов его собрания сочинений, Киркегора [22]. Ну, теперь-то Киркегор стал одним из... так сказать, властителем дум современности...

Д: На Западе?

Б: ...его изучают... На Западе, да. Да и у нас о нем уже вышло две книги. Одна из них — очень хорошая книга этой... Память у меня сейчас стала никуда не годной, особенно на более, так сказать, близкие... Более старые вещи я еще как-то помню... Да... Она философ... довольно молода. Живет у нас. Я ее лично не знаю. Ну вот... Да, очень известная, печатается в «Вопросах литературы», в «Вопросах философии». И все ее статьи — они в высшей степени объективны, она ничего не приукрашивает и не хает. У нас раньше Киркегора упоминали непременно с эпитетом «мракобес» или что-то в этом роде. Он был очень религиозный человек, собственно, даже наполовину философ, наполовину богослов. Поэтому у нас его обычно упоминали с эпитетом «мракобес Киркегор», или «Киркегард», как у нас его писали. Ну вот. А она дала оценку совершенно объективную, с пониманием значительности... [23]

А другая книга, она у меня есть, она принадлежит, по-моему, Лурье. Да. Вот видите, какая память стала! Ну невозможно!

Д: У Вас великолепная память!

Б: «Великолепная!» Ну что Вы! У меня была, была в юности, у меня была феноменальная память. Я мог с одного чтения запомнить не только стихотворный текст, но и прозаический. Теперь, конечно, никуда не годится моя память, ни-ку-да...

Д: Да... Стихи я тоже запоминал.

Б: Исполнить то вот, что я знал наизусть (я знал очень много наизусть, очень много), я уже не могу. Я и прозу знал наизусть. Например, очень многие такие... ну, отрывки, что ли, не целые произведения, из Ницше я знал наизусть. В подлиннике, конечно, на немецком языке. Я тоже прошел через страстное увлечение Ницше.

Д: Ну, это уже позже, да?

Б: Это позже было, да. Но почти, почти тогда же. Нет, с Ницше даже я познакомился несколько раньше, чем с Киркегором.

Д: 95-й... Значит, в 1915 году Вам было двадцать лет. Вы еще учились в Одесском университете, но были уже широко образованным и философски, и...

Б: Да, конечно. Философские познания я приобрел тогда. Там профессором был Казанский. Я его слушал.

Д: Какой-то Казанский потом в ОПОЯЗе был.

Б: А-а-а! Ну конечно. Это его сын был, сын того, у кого я учился. Вообще в Ленинграде были сыновья одесских профессоров, только Ланге не было. Ну, Ланге, вообще сыновья у него были как-то мало удачные, по-моему, — лоботрясы, что называется. А сын Казанского, он учился...

Д: Даже в этом номере ЛЕФа, где язык Ленина. Казанский.

Б: Да. Там есть Казанский, Борис Казанский. Он сын профессора Казанского [24]. Профессор Казанский — это был очень почтенный человек. Он перевел всего Аристотеля с древнегреческого языка.

Д: Прямо на русский?

Б: Да. Ну, это, конечно, огромный труд. Перевести Аристотеля очень трудно. Кажется, труднее, чем поэта Платона. Этот терминологизм Аристотеля все это затрудняет. Но он перевел очень хорошо. Но как творческий философ... собственно, он не был творческим философом, поэтому его лекции по введению в философию, первый, так сказать, философский курс, который читался в университете, — «Введение в философию», — был очень слабый курс.

Д: А как Вы относитесь... уж я задним числом прорецензирую... к курсу «Введение в философию» Кюльпé?

Б: Кю́льпе. Кю́льпе [25]. Он немец был.

Д: Ах немец, а я думал, француз.

Б: Кюльпе? Нет, средне, это — средне.

Д: Ну вот я по нему учился.

Б: А-а-а! Ну да! Ну, видите ли, Кюльпе — это, конечно, не крупная фигура.

Д: А «История античной философии» Сергея Трубецкого [26]?

Б: Ну, это, так сказать, интереснее, но тоже, все-таки это, конечно, не классические труды. Я бы сказал так (все-таки мое пристрастие к Марбургской школе): «Философская пропедевтика» — так называется книжка Наторпа... Наторп — это был один из учеников Германа Когена, он тоже принадлежал к Марбургской школе. Один из самых, так сказать, последовательных и чистых марбуржцев — это был вот

Наторп, Пауль Наторп. И он написал «Философскую пропедевтику», которая, кстати сказать, была переведена на русский язык [27].

Д: Михаил Михайлович, значит, расцвет Марбургской школы — это конец 90-х — 900-е годы?

Б: Да-да. Первые труды вышли еще в 80-х годах. Германа Когена. А потом уже... это его система философии в трех томах, называлась так: «Logik der reinen Erkenntnis», то есть «Логика чистого познания», потом дальше: «Logik des reinen Willens», то есть... «Логика чистой воли». Это этика. И наконец, третье: «Logik des reinen Gefühls», то есть «Логика чистого чувства»; это... его эстетика... так называлась [28]. Ну, как Вы знаете, это кантовская традиция. Только там «Критика чистого разума», здесь «Критика чистого познания», а потом, скажем... его этика называется... «Критика»... простите, у Канта — «Критика практического разума», а его эстетика называется «Критика способности суждения». Это три кита кантовской системы философии. И вот, так сказать, параллельно следуя ему, свою систему философии Герман Коген считал как бы дальнейшим шагом от Канта на строгих основах кантианства. Он, собственно, от сущности учения Канта не отступал, но развивал его дальше.

Д: Теперь, Михаил Михайлович, Вы упомянули вначале в связи с Одессой как раз о каком-то вот первом лингвистическом или литературном объединении... я сказал «ОПОЯЗ», Вы говорите: «Нет, "Ом..."», как это?

Б: Нет. «Omphalos».

Д: Это Одесса?

Б: Нет. Нет-нет. Это уже было в Ленинграде.

Д: В Петербурге.

Б: В Петербурге.

Д: Ага, ну хорошо, тогда я Вас не тороплю. Я думал, Вы просто об этом забыли.

Б: А потом оно получило известность, и даже издательство было, в Одессе, которое давным-давно всеми забыто, которое так и называлось — «Omphalos».

Д: «Omphalos»?

Б: «Omphalos». Это греческое слово, значит «пуп», «пупок». «Пуп». «Omphalos». Ну, об этом я могу вспомнить, а вспомню — расскажу.

Д: Ну, это когда подойдем. Я думал, что это в Одессе и что Вы забыли.

Б: Нет-нет, нет-нет, в Одессе этого не было. Это произошло, когда я еще был в Одессе... Даже не помню точно... в 12 — 13-м году началось это вот... кружок был создан, вроде кружка. Это был ряд молодых людей, в большинстве случаев только что кончивших, или кончающих, или учащихся на старших курсах университета. Вот.

Д: Но это уже Петербургский университет?

Б: Это уже Петербург. В «Omphalos»... членства никакого не было. Был кружок так, свободных друзей. И вот в числе этих «омфалитиков» были два брата Радловых: Сергей Радлов и Николай Радлов [29]. И принимали довольно живое участие.

Д: Да, ну, это уже Петербург, это особ статья. Ну, а что тут еще об Одессе? Надо сказать, что Вы очень интересно действительно дали, но вокруг. Ну, возьмите теперь то же самое, но немножко пошире. Вы очень хорошо дали собственный научный рост и вот эту философскую... Но в целом-то ведь эта атмосфера интереса, скажем, к Марбургской школе, вообще к философии, она не была широкой?

Б: Не была широкой, нет. Она, собственно... никогда не была широкой. Это был довольно узкий круг.

Д: Кто же с Вами вместе был рядом?

Б: Рядом со мною был человек, с которым я познакомился уже значительно позже и который стал одним из моих самых близких друзей. Он сам учился непосредственно в Германии, у Германа Когена. Он уже давно в могиле, а вот дочь его у меня бывает.

Д: А кто это?

Б: Это Матвей Исаевич Каган [30].

Д: Так Вы в Одессе с ним не были знакомы?

Б: Нет, нет. Я с ним познакомился уже очень поздно.

Д: А я спрашиваю, кто рядом с Вами был в Одессе... кто интересовался тем же?

Б: Нет-нет, только мой брат, который тоже был тогда в университете, начинал университетское образование в Одессе.

Д: А Вы еще не стали классиком даже?..

Б: Я был уже... Я был философом. Видите, я бы так сказал...

Д: Вы были больше философ, чем филолог?

Б: Философ, чем филолог. Философ. И таким и остался по сегодняшний день. Я философ. Я мыслитель. Ну вот, скажем, в Петрограде, в Петербурге, в Петрограде, философского отделения не было. Там исходили из таких соображений: что, дескать, что такое философия? Ни то ни се. Надо быть специалистом. Поэтому философское отделение было, но не как самостоятельное. Хочешь кончать по философскому — пожалуйста, но обязательно должен кончить еще какое-нибудь отделение: или отделение русистики, или западногерманское отделение...

Д: И это в пределах историко-филологического?

Б: В пределах историко-филологического... или классическое отделение. Вот я, скажем, по классическому решил... Два отделения надо было кончить, потому что философское одно не давало...

Д: Не давало профессии.

Б: ...не давало профессии.

Д: Вообще-то это правильно.

Б: Я считаю, что правильно. Ведь кто такой, в конце концов, философ? Философ... Вообще часто, так сказать, их делят на гуманитаристов и на философов-естественников, потому что одни специализируются по наукам естественным: по физике, по математике — и плюс философия; другие — по гуманитарным наукам. В частности, к Марбургской школе принадлежал... этот... Кассирер, Эрнст Кассирер. Это имя Вы, вероятно, слышали?

Д: Нет, не знаю.

Б: Эрнст Кассирер был замечательный тоже философ Марбургской школы. Ну, вот его труд до сих пор высоко ценится, и у нас высоко ценится и читается, это «Die Philosophie der symbolischen Formen» — «Философия символической формы», три тома. Первый том — «Язык», второй том — «Миф» и третий том — «Познание»... Это Кассирер.

Д: Ну, а литературные Ваши интересы, вот, значит, в одесский период? Они ограничивались классикой или у Вас...?

Б: Нет, не только. Они не ограничивались классикой. Было страстное увлечение современной поэзией: символистами, декадентами так называемыми, и русскими, и французскими, и немецкими. Вот. У одного

из моих друзей, который как раз в Одессе жил, даже, собственно, не друзей... он был моим каким-то там троюродным, двоюродным братом... он тоже был в Одесском университете, учился вместе со мной, у него была великолепная (библиотека. — *Ред.*), полная... почти всего, что выходило... поэзии французской. Вот. И я пользовался его библиотекой, так что очень хорошо знал французских символистов, декадентов... начиная с Бодлера...

Д: С Бодлера, которого у нас перевели в 11-м году только.

Б: Нет, переводить стали раньше. Можно сказать, Валерий Брюсов, он в этом отношении молодец. Он очень рано давал...

Д: Он в сборниках «Символисты» давал уже переводы.

Б: Да. И одновременно был сборник «Проклятые поэты» — «Poètes maudits».

Д: «Poètes maudits». Это уже Якубович [31], по-моему.

Б: Нет, это был Брюсов первый. Якубович, он этими поэтами не интересовался.

Д: Но он его издал...

Б: Да. Это название было ходячим — «Poètes maudits».

Д: Да, это я знаю. Кого же Вы любили?

Б: Из поэтов?

Д: Да.

Б: Современных?

Д: Да.

Б: Из старых... Ну, я, конечно, очень любил Пушкина, тут уж ничего не скажешь. Потом, я очень любил Тютчева, очень любил Баратынского, очень любил Фета. Остальных меньше. Лермонтова меньше я тоже любил. А из французских поэтов особое пристрастие у меня было к первому, так сказать, основоположнику символизма и декаданса — к Шарлю Бодлеру. Его я знал, действительно, вдоль и поперек. И наизусть знал очень много его, по-французски, в подлиннике, конечно. Шарль Бодлер... Потом я очень высоко ценил Жозе Эредиа...

Д: Эредиа — это я слышал, да.

Б: Да. Эредиа. Хотя у него был, собственно, один небольшой томик под названием «Trophées». И несмотря на это, он был избран...

Д: «Trophées»?

Б: «Trophées», да, то есть «Трофеи». Это греческое слово. По-французски тоже «Trophées». И вот Жозе Эредиа, несмотря на то что он выпустил всего один маленький этот сборник, но это было настолько...

Д: Так уже Элюар выступил, по-моему, в то время, нет?

Б: Нет, Элюар несколько позже. Элюар... Потом Элюар, вообще, собственно, поэтом... с моей точки зрения, был и остался второстепенным. Он, собственно... его прославила тогда эта... его принадлежность к сюрреализму и прочее. А когда он отошел от сюрреализма, то оказалось, что он, в сущности, пустышка. Пустышка. Он даже занимался тем, что, скажем, стихи любовные, неплохие сравнительно, искренние, стихи, к женщине обращенные, к своей возлюбленной, он потом переделывал в революционные. И вместо «возлюбленная» — «революция» у него была. Вот. Это он признавался в своей любви и верности революции. Ну, это уже, конечно, убожество.

Д: Это убожество.

Б: Нет-нет, он остался... стал пустышкой.

Д: А из русских символистов?

Б: Из русских символистов?

Д: Кто Вас привлекал?

Б: Ну, тут у меня был поэт любимый такой, пожалуй, и остался моим самым любимым поэтом — это Вячеслав Иванов. Вячеслав Иванов. Кроме того, очень я любил и Анненского, Иннокентия Федоровича Анненского. Анненский, как Вы, вероятно, знаете, был не только поэтом замечательным...

Д: Он тоже был классик, он перевел Еврипида...

Б: Да, Еврипида перевел.

Д: ...за что на него набросился Зелинский...

Б: Да-да...

Д: Эф-Эф.

Б: Да. Но Зелинский же, он и Еврипида редактировал [32]. Последний том Еврипида вышел под редакцией Зелинского. В значительной степени...

Д: Это у меня есть, это я знаю.

Б: Зелинский — это был тоже мой учитель, пожалуй, наиболее любимый.

Д: Вы у него учились? Непосредственно?

Б: У него непосредственно учился.

Д: А Михаила Михайловича Покровского [33], классика, Вы не знали?

Б: Знал.

Д: Вот у него я учился.

Б: Я у него не учился, потому что он был в Москве. Вот эти вот классики: Покровский, потом Соболевский, недавно умерший, чуть ли не девяносто пять лет ему было, вот [34]... Радциг [35].

Д: Ну, Радциг недавно умер. Но ведь Радциг — это скучный человек.

Б: Скучный человек, да-да-да.

Д: Это гимназист такой.

Б: Пошляк. Он ведь... Как он излагал античную литературу?! Ну просто такая была пошлость, сентиментальный пересказ, скажем, «Илиады» просто. Ну так, как это мог бы сделать сентиментальный гимназист четвертого класса.

Д: Он до последнего времени преподавал в университете, ему уж за восемьдесят было...

Б: Я знаю, да-да...

Д: Он ходил на лекции. Вообще, был очень трогателен в своей, так сказать, приверженности университетскому преподаванию. Но студенты... на первом курсе заслушивались, а потом уже...

Б: А потом понимали, что это не наука, а...

Д: Что это просто были сказки...

Б: ...сказки, да. Как сказки он пересказывал, как плохие сказки.

Д: Да. А потом... я не классик отнюдь, но меня, даже меня, страшно покоробило, когда он мне о переводах классиков (я не знаю, может, он и прав)... как-то это было... во время войны, в условиях какой-то очереди, в ожидании какой-то картошки, что-то в таком роде... И вот, значит, он приводил свои переводы — на мой слух (я не знаю, как классически), на мой слух, очень плохие русские стихи — и противопоставлял: «А вот как безобразно перевел Брюсов». И особенно он ругал Вересаева.

Б: Ну, относительно Вересаева он был прав в значительной степени, да.

Д: И Брюсова, и Вересаева...

Б: Относительно Брюсова он был не вполне прав, не вполне.

Д: Что это все искажение, мол. Но то, что он пересказывал, — это был, в сущности, подстрочник. Он не даровитый был человек.

Б: Он был пошляк, пошляк не в таком смысле, не в бытовом, конечно (так он был очень порядочный человек, кажется, в быту, в жизни и так далее), но пошляк в понимании античности, в понимании вот этих переводов поэзии.

Д: А Михаила Михайловича Покровского я знал, у него учился, но я настолько был не подготовлен к этому... Я даже написал у него работу о роли хора в драме Еврипида (не Эсхила, а Еврипида), как постепенно там роль хора снижается и размывается. Ну, он мне поставил зачет, но я сам чувствовал, что это не мое дело. Я был у него на дому несколько раз. Вы представляете себе, что такое было положение профессора-античника в 1927 году среди пролетарского студенчества!

Б: Ну да-да-да...

Д: Я пошел, собственно, так, из духа противоречия, потому что никто к нему не шел. Нас было всего, кажется, трое или четверо. Точно так же, как я ходил, отчасти по этой же причине, на лекции, как потом понял, великолепные, глубокие, Михаила Александровича Петровского [36].

Б: Петровский — это ученый.

Д: Это ученый, который погиб. Вот сейчас Федор Александрович еще жив, его брат, античник [37].

Б: Ну да, вот вышел сборник очень хороший в его честь. Прекрасный сборник, там много интересного. Потом вот кто, но Вы-то у него не учились, — Лосев.

Д: Нет, это я уже не учился.

Б: Его тоже можно было бы записать, хорошо было бы записать. Это очень серьезный классик.

Д: Он жив?

Б: Он жив, да. Он слеп совершенно. Слеп. Но, несмотря на это, продолжает работать.

Д: Михаил Михайлович, я стараюсь Вас поменьше перебивать, но мои вопросы, которые я Вам сейчас походя задаю, они имеют тоже определенную... (*Смеется.*)

Б: ...направленность...

Д: ...определенную направленность. Вы великолепно дали вот ту микросреду, в которой Вы были, но вместе с тем ведь Вы жили и в макросреде. Вот... сама Одесса... Так же как Вы и о Вильнюсе рассказали... Сама Одесса... Почему Вы... Были ли Вы в армии? Нет?

Б: В армии я не был.

Д: Почему?

Б: Потому что у меня была в детстве болезнь (в детстве я заболел), болезнь, которая, в сущности, до сих пор как-то меня не оставила. Это так называемый остеомиелит.

Д: О, я знаю. Это из-за него Вы лишились ноги?

Б: Из-за него в конце концов. В детстве нет, конечно. В детстве были операции и так далее...

Д: Это болезнь кости.

Б: Да. Это болезнь костного мозга. Не самой кости, а костного мозга внутри кости. Это воспаление костного мозга. Значит, тут так, такие средства лечения (и до сих пор они остались): надо делать операцию, долбить кость и выпускать оттуда гной.

Д: Но это не туберкулез?

Б: Это нет, это не туберкулез. Это не туберкулез. Туберкулез, по-моему, хуже. А это острое заболевание. Острое, но такое, которое имеет обыкновение рецидивировать. Вот я заболел ею еще... мне было, кажется, девять-десять лет. Была очень тяжелая операция: мне продолбили ногу, насквозь бедро, и голень продолбили. Ну вот. Долго я тогда болел, но, правда, ходить я стал довольно скоро.

Д: И Вы еще ходили потом?

Б: Потом? Конечно!

Д: А Вам ампутировали уже много позже?

Б: Нет, ампутировали меня уже много лет спустя, ампутировали меня сравнительно недавно.

Д: Ну как?.. Я Вас видел на одной ноге перед самой войной уже.

Б: Перед самой войной, да. А меня ампутировали за два года до войны [38]. Только. Только.

Д: В связи с этим?

Б: В связи с этим. У меня было еще несколько рецидивов в течение всего этого периода, очень длин-

ного. А несколько рецидивов — и, следовательно, несколько операций.

Д: А вторая нога не затронута?

Б: Вторая нога — нет, не перешел туда остеомиелит совершенно.

Д: И она у Вас сгибается?

Б: Она сгибается, но я ею очень плохо владею, потому что, так как я ходил очень долго на одной ноге, на костылях, великолепно ходил, на костылях я ходил не хуже, чем на двух ногах: я мог и бегать, и прыгать, и влезать, и слезать — все, что угодно, — но, так как была перегрузка на одну ногу, на эту, то эта нога-то, здоровая, она... одно время совсем перестала мне служить: там амортизировались и стерлись хрящи в тазобедренном суставе. Хрящи, как известно, не восстанавливаются.

Д: Стерлись?

Б: Да. Стерлись полностью.

Д: Так что сейчас Вы ходите очень трудно.

Б: От времени, так сказать, они амортизировались.

Д: Ну, так. Значит, в то время, в Одессе, Вы были еще на двух ногах и подвижны?

Б: Совершенно подвижен был.

Д: Я очень, очень глубоко удовлетворен тем, как Вы воссоздали процесс формирования ученого, но еще... Ведь Вы, кроме всего прочего, значит, были жителем Одессы. В Одессе был театр, в Одессе была литература, в Одессе были одесситы.

Б: *Смеется.*

Д: Понимаете? Вот... расскажите об этой Одессе предвоенной и начала войны.

Б: Да, предвоенной, предреволюционной Одессе, да. Ну, вообще Одесса — город прекрасный. Прекрасный. Очень солнечный, очень веселый. Пожалуй, это был один из самых веселых городов в нашем Союзе, в нашей России. Очень веселый был город. Там смеху и так далее... веселья всегда было очень много. Всегда меня поражала Москва, а особенно, конечно, Петербург. Хмурый город по сравнению с Одессой, хотя я Петербург очень любил, и больше, конечно, чем Одессу. Вот. Это был солнечный, веселый город. Одесситы были люди очень живые, но одна черта их была неприятной — одесситы были очень... пошловатые.

Д: Пошловатые?

Б: Пошловатые. «Одесса-мама», как они называли... «Одесса-мама»... Много там пошлятины, в этой «Одессе-маме». Ну вот. И какой-то налет все-таки этой одесской пошловатости, по-моему, есть во всех писателях-одесситах. Я их тогда не знал, они были моего возраста, может, немножко старше или немножко моложе...

Д: Большинство моложе.

Б: Да...

ВТОРАЯ БЕСЕДА — 1 МАРТА 1973 ГОДА

Д: Ну, Михаил Михайлович, мы закончили в прошлый четверг разговором об Одессе. Оборвался он. Вы говорили о пошлости одесситов. Ну, может, Вы закончите об Одессе? Не одни же они пошляки? Все-таки там есть и хорошие люди.

Б: Нет. Конечно, есть и хорошие люди.

Д (*смеется*): Есть одесский театр...

Б: А по-моему, мы говорили в прошлый раз об этом. Прекрасный Одесский театр. Потом ведь в Одессе всегда были гастролеры, и из центра, наши, и из стран Европы. Всегда. В этом отношении одесситы были знакомы с западноевропейским искусством ничуть не хуже и даже больше, лучше, чем... северяне.

Д: Петербуржцы, москвичи. А Вы не слышали каких-нибудь больших артистов проезжих в Одессе?

Б: Да нет, слышал, слышал, конечно. Просто сейчас я не могу точно вспомнить, слышал ли я их в Одессе или позже. Ну, скажем, Шаляпина я слышал. Но его я первый раз слышал еще до Одессы. В Вильнюсе. Он туда приезжал.

Д: Ну, тогда перейдем к следующему периоду Вашей жизни — к Петербургу.

Б: Да. И вот здесь вначале, пожалуй, я расскажу о том кружке, который был организован в Петербурге еще в 12-м году.

Д: Вы приехали — уже он был?

Б: Он уже был, он уже работал. Во главе его стоял мой брат, Николай Михайлович Бахтин. Собственно, кружок не обладал сколько-нибудь строгой организацией. Никакого членства не было. Это был кружок друзей типа, скажем, кружка пушкинских лицеистов: люди, которые были связаны между собою и общими интересами, и университетом, в котором они все или учились раньше, или продолжали еще учиться. Кружок этот назывался «Omphalos» [1].

Д: Что же это значит?

Б: Это значит «пуп», «пуп», «пупок» — «Omphalos».

Д: Это по-гречески?

Б: По-гречески, да. Нужно сказать, что большинство участников этого кружка были классики. Классики. Ну, были и романогерманисты. Теперь, кто же входил в этот кружок? Ну, как я сказал, во главе его находился мой брат, Николай Михайлович. Затем — Пумпянский... Лев Васильевич, который был связан и с моим братом, и со мной еще с гимназической скамьи. Затем... входил Лопатто, вот имя-отчество я его забыл, Лопатто [2]. Он был тогда филологом, только что кончившим филологический факультет. Занимался лингвистикой, позже он примкнул к ОПОЯЗу [3], но он там видной роли не играл, в ОПОЯЗе, и о нем обычно не упоминается. Лопатто был поэтом, но поэтом, нужно сказать, неважным. Он выпустил, по-моему, в 14-м, нет, пожалуй что позже, в 15-м году... сборник стихов [4]. Ну и нужно сказать, что этот сборник был неважный. Лопатто не был серьезным поэтом. Дальше я скажу, в чем дело, в чем состояла особенность кружка-то нашего. Лопатто — поэт, кроме того, литературовед. Он выпустил в духе раннего ОПОЯЗа несколько статей [5]. А затем, после Октябрьской революции... он еще был первые годы, а потом уехал. Нужно Вам сказать, что он был очень богатый человек. Его отец как раз перед самой революцией купил в Одессе знаменитую «Лондонскую гостиницу». Это был очень богатый человек, миллионер, даже мультимиллионер.

Д: Лопатто греб деньги лопатой.

Б: Лопатой греб, совершенно верно. Да, да. (*Смеются.*) Вот. И кроме того, он еще тогда же (это было в 16-м году или даже... да, в 16-м году), — он женился на очень богатой женщине, получил огромное приданое, так что и с этой стороны был очень богат. И поэтому он, насколько мне известно, может быть даже до сегодняшнего дня, жив-здоров и очень благополучен в Италии. У него была дача, даже палаццо, во Флоренции, купленная еще до революции.

Д: Ну, а чем он интересен в смысле культурном?

Б: Видите, он интересен вот чем: он был необычайно широких таких интересов и очень общителен, поэтому он как-то умел объединить людей. Ну, отчасти, конечно, этому содействовало и то обстоятель-

ство, что у него всегда были деньги, а у очень многих из нас денег было маловато.

Кроме, значит, названных мною... к кружку принадлежали братья Радловы, Сергей Эрнестович и Николай Эрнестович. Сергей Эрнестович — это будущий режиссер, а тогда он был просто филолог, и нельзя было еще даже предсказать, что он станет режиссером. Это был молодой ученый-филолог. А его брат, Николай Эрнестович, был художник. Очень неплохой художник, и мастер карикатур, кстати сказать. Ну, конечно, это не было главное в нем. Ну, кроме того, еще был целый ряд лиц, которые были связаны с кружком и которых, может, по ходу беседы я еще вспомню, потому что сейчас память-то у меня стала плохая. Так вот.

В чем состояла сущность кружка? Это были ученые шутники, шутники от науки... или, если хотите, шуты от науки. Но дело в том, что явление это довольно типическое в истории, мы знаем. Ну, например, вот в Польше так называемые шубравцы, шубравцы [6]... Это были тоже люди в большинстве случаев очень образованные, ученые, которые собирались и писали всевозможные шутливые, преимущественно пародийные вещи и так далее.

Д: Когда это было?

Б: Это было в начале XIX века — шубравцы. Кстати сказать, из их числа вышел и наш барон Брамбеус — Сенковский. Он первоначально принадлежал к шубравцам, там у себя, в Польше еще, конечно, до переезда в Россию окончательно. Кроме того, подобные явления были и в других странах, например в Англии. Там тоже был кружок лиц, которые занимались, так сказать, вышучиванием, но вышучиванием такого... не пошлого, а тоже ученого и даже философского стиля вышучивания. Вот отсюда в значительной степени вышел Свифт. Он тоже принадлежал к этому кругу. Это было еще в XVIII... на столетие примерно раньше. Да. Нужно сказать так: Свифт потом-то стал, ну, сугубо серьезным, стал трагической фигурой, но в юности своей смеяться-то он научился в кружке вот этих молодых людей, своих друзей. А потом, когда он стал уже деятелем церкви ирландской, когда он стал ирландским национальным героем, конечно, уже от смеха осталось только вот то в лите-

ратуре, что есть у него, в Свифте [7], потом в целом ряде памфлетов и так далее. Эти памфлеты Свифта, в том числе знаменитый памфлет — «Скромное предложение», Вы, вероятно, знаете.

Д: Не знаю, нет.

Б: Вот это, пожалуй, один из наилучших памфлетов того времени. Сущность его заключается в том, что он написан так, как будто бы его писал серьезный совершенно представитель политической экономии либерального толка. И он там говорит относительно пауперизма, относительно того, что очень много детей остаются без родителей, наконец, вообще слишком много людей, которые бросают своих детей. Это нецелесообразно экономически, неразумно. Почему бы не использовать этих детей? Предложение «скромное» заключается в том, что их откормить, затем забить: мясо, кожа и так далее — все это пригодится. И он дает совершенно серьезные расчеты: сколько обойдется фунт мяса, во что обойдется, скажем, кожа, как можно утилизировать все это, вот какую огромную выгоду можно отсюда извлечь. Как можно потом зажаривать и так далее, опять тут он все указывает — стоимость соли... Совершенно серьезное экономическое рассуждение. И вот представьте себе, его приняли тогда, когда он выпустил эту книгу, — приняли его всерьез, всерьез приняли. (*Усмехается.*) А ему этого только и нужно было, потому что он-то как раз именно хотел показать, к чему неизбежно — к людоедству — приведет вот та экономика, тот экономический строй, который проповедовали сторонники этого манчестерства. Выгода. Каждый должен стремиться к своей собственной выгоде, и больше ничего. А обо всем остальном не думать. А тогда всем будет хорошо. Ну вот. Собственно, памфлет этот является стилизацией, пародией на серьезную экономику, так что это памфлет ученого и памфлет человека философски знающего, одним словом — все-таки шутовство, но шутовство совершенно особого типа.

Д: И вот эти поляки подхватили эту традицию?

Б: Да, но они даже и не подхватили эту именно традицию, потому что, в сущности, всюду было нечто подобное. Нечто подобное было и во Франции, и раньше еще, в XVIII веке, были так называемые поэты-либертины [8].

Д: И Ваш кружок, этот самый «Пупок», такого же типа был?

Б: Такого же был типа, да.

Д: Значит, во главе с этим Лопатто, да?

Б: Нет, во главе был мой брат.

Д: А Лопатто был организатором?

Б: Да, он был организатором... даже не столько организатором, сколько финансировал некоторое предприятие.

Д: Ну и что же этот самый кружок?

Б: «Omphalos», между прочим, можно сравнить еще с «Арзамасом» нашим пушкинским, такого же типа.

Д: Ну, а... Можно ли рассматривать этот «Omphalos» как некоторый, так сказать, предшественник, первый набросок ОПОЯЗа?

Б: Нет-нет. Он по времени был, в сущности, почти параллелен ОПОЯЗу. Может, немножко раньше. Нет-нет, ОПОЯЗ — это совершенно другое. Совершенно другое. В ОПОЯЗе не было самого главного, того, что было в кружке, — вот именно такого очень глубокого, критического, но не хмуро критического, а веселого критического отношения ко всем явлениям жизни и современной культуры. В кружке, конечно, каждый имел свою специальность научную, в которой был весьма силен. Чем они занимались в кружке? Они писали пародийные произведения различных жанров в различном стиле. Затем, они устраивали пародийные собрания. Нельзя сказать, чтоб они пародировали какого-то определенного поэта или определенного ученого. Нет, это была более широкая пародия в духе, скажем, средневековой: пародирование самого серьезного и хмурого стиля жизни. Не любили эти поэты, так сказать, серьезность, особенно чрезмерную серьезность, и смягчали ее иронией и юмором. Так вот, следовательно, это не были пародии или стилизации каких-нибудь определенных явлений жизни, литературы, науки, а вообще, там все подавалось... не в резкой насмешке, а, так сказать, в очень легком и ироническом юморе. Пожалуй, такой почти программный характер носила поэма моего брата, которая называлась «Omphalos epiphales» — в дословном переводе с греческого это значит «Omphalos явленный, явившийся». Ну, как Вы знаете, этот термин употребляется и в христианстве...

Д: В богословии.

Б: В раннем, да. «Явление», «явление Бога» — это епифания, епифания Бога. Вот. «Omphalos epiphales». То есть здесь как бы omphalos приравнивается...

Д: Явление пупа.

Б: Явление пупа, да. Это была поэма, большая очень. Притом, значит, действие происходило еще в Древнем Риме, правда, в эпоху упадка. Да, я забыл сказать, что все эти произведения писались и перепечатывались на машинке. Составлялись сборники... машинописные. Вероятно, где-нибудь эти сборники сохранились, у кого-нибудь они, может быть, есть. Уж, наверное, в архиве Лопатто есть эти сборники.

Д: Ничего не печаталось?

Б: Нет, этого не печаталось ничего. Ну вот начало, вступление к поэме «Omphalos epiphales»:

> Я к вам пришел — провозвеститель веры
> Таинственно святого omphalos'а,
> Познавший ласки вкрадчивой пантеры
> И созерцавший оргии без боза /?/.
> И женщины двухсот восьми племен
> Меня ласкали вечно по-иному.
> Я знал их страсти многоцветный сон,
> Их упоенья тусклую истому...

и так далее.

Д: Чувствуется какой-то, так сказать, кивок в сторону Брюсова...

Б: Да, отчасти... и вообще вот всех этих пророческих течений внутри символизма...

Д: А сама пародийность несколько напоминает известные пародии Владимира Соловьева.

Б: Немножко да. Он очень любил такие вещи, Владимир Соловьев, да-да. Да, кстати сказать, весь этот самый кружок относился с благоговением к Владимиру Соловьеву. И позже, уже перед самой революцией, было создано «Общество Владимира Соловьева». Но, мне кажется, только одно заседание было, а потом революция — и все дело оборвалось. Но это уже серьезное общество.

Д: Ну, а Вы, примкнувши к этому обществу, какую-нибудь...?

Б: Я не писал ничего такого. А я просто участвовал так. Ну, потому что вначале, когда это общество складывалось, меня не было, я еще был в Одессе.

Д: Понятно. А Вы перевелись в Петербургский университет?

Б: В Петербургский университет.

Д: Вот, охарактеризуйте историко-филологический факультет Петербургского университета в 1916 году. Да? 15-й, 16-й и 17-й.

Б: ...и 17-й год, да. Ну что же тут сказать? Я бы сказал, что тогда все-таки был, по-моему, расцвет как раз факультета. На нем работали очень крупные силы, и очень живые силы. Таких профессоров-сухарей, профессоров-чиновников почти не было, во всяком случае, на нашем факультете. Наиболее крупные фигуры вот из тех, которых я знаю, у которых я учился, — это были: Фаддей Францевич Зелинский... Ну, это был замечательный знаток античности, переводчик античных произведений и так далее. Он оказывал огромное влияние на всех классиков того времени. Затем, в области философии — Лосский Николай Онуфриевич. Вообще кафедра философии была очень интересной и очень живой, кафедра, вот такая, которая, скажем, у нас невозможна. Заведующий кафедрой был Александр Иванович Введенский. Это автор... «Логика как часть теории познания» — вероятно, Вы знаете. Это действительно прекрасный труд [9]. Ну и целый ряд у него еще есть работ, статей и так далее. Он был строгий, последовательный кантианец, даже не неокантианец, а представитель чистого кантианства. Это заведующий кафедрой. Ну, одним из доцентов, а потом профессоров был Николай Онуфриевич Лосский. Это была наиболее яркая и живая фигура на факультете. Он придерживался совершенно иных воззрений. Он не был кантианец, его даже можно назвать антикантианцем. Он был интуитивист. И основной его труд — это «Обоснование интуитивизма». Поэтому, конечно, они как философы были прямо противоположны и враждебны друг другу: заведующий кафедрой и один из ведущих членов кафедры — Лосский.

Д: Вы читали его книжку, сравнительно недавнюю, позднюю, заграничную, «Достоевский и христианство» [10]?

Б: Нет, к сожалению, этой книжки я не читал.

Д: Вот я сейчас читаю.

Б: Но я прочитал его автобиографию [11]. Очень интересная, очень интересная. Воспоминания его. Он

начинает с детства и почти кончает, так сказать, последними годами жизни. Кстати, Лосский прожил девяносто пять лет. И... почти до последнего времени он работал.

Д: А к Семену Афанасьевичу Венгерову Вы относились отрицательно?

Б: Нет, я не относился отрицательно. Я относился с уважением, с уважением. Но ведь это же был... У него не было ни своей теории какой-то, философски он был не подкован абсолютно. Это был замечательный такой исследователь-документалист. В кружке его знаменитом я не принимал участия, в Пушкинском кружке его.

(*Обращается к кошке.*) Опять явилась сюда, что такое. (*К Дувакину.*) Она мешает, да?

Д (*обращаясь к кошке, пытается ее отодвинуть от микрофона, чтобы она не запуталась в проводах*): Прошу.

(*Бахтин посмеивается, наблюдая. — Прим. М.В. Радзишевской, наблюдавшей эту сцену во время записи.*)

Б: Да... Третий член кафедры, о которой я Вам... значит, это был интуитивист последовательный и, следовательно, враждебный кантианству и всякому рационализму, — Иван Иванович Лапшин. Это был сторонник такого позитивизма английского типа. Вообще он был, так сказать, англизированный человек, англизированный мыслитель. Вот.

Следовательно, совершенно три разных направления. Уживались великолепно. Кафедра была дружной. Дружной. Полемика была, но это только делало интересней работу кафедры, больше ничего. И мне кажется, эта философская кафедра была гораздо сильнее, и глубже, и живее, чем московская философская кафедра, где был Челпанов, Лопатин и так далее [12].

Д: Ну, Челпанов, собственно, не философ, а психолог.

Б: Челпанов? Но он же написал «Введение в философию», которое в Московском университете было основным учебником. И потом, у него очень много чисто философских произведений. Его диссертация основная — это да, была чисто психологическая.

Д: И по учебнику его я учился в советские годы, по учебнику психологии, а не философии.

Б: Учебник психологии у него был, да. Диссертация его была посвящена восприятию зрения, восприятию...

Д: А классики? Кто же там был?

Б: А классики — я Вам говорил: Зелинский... потом были еще и другие классики. Ну, с кем так особенно я близок был?.. Со Сребрным, Степан Самуилович Сребрный [13]. Он был поляк, да. Он был тоже, конечно, учеником Зелинского и был занят исследованием комики античной, главным образом античной комедии, древней античной комедии и средней античной комедии. Ну, конечно, касался и поздней античной комедии, греческой комедии.

Д: А кафедра русской и европейской литературы?

Б: Меня очень мало интересовала. И по-моему, по нашему мнению, там сильных работников не было.

Д: Какие еще кафедры были? Это был историко-филологический?

Б: Это историко-филологический, да. Ну, кафедра истории. Там были историки, конечно. Я даже сейчас и не помню... нескольких я слышал историков. Один раз я даже слышал знаменитого Павла Виноградова [14]. Он приезжал специально из Лондона. Он же потом перешел в Англию, в английский университет, замечательный...

Д: Ну да, Ключевского Вы уже не застали...

Б: Ключевского я не застал, конечно.

Д: А лингвистические кафедры там были?

Б: Лингвистическая кафедра? Конечно! Лингвистическая кафедра была представлена Бодуэном де Куртенэ. Это был очень крупный ученый. Но как преподаватель он был, так сказать, ну... Он не был педагогом. Он страшно увлекался, когда читал. На экзаменах, например, такие вещи делали: говорили, что у Бодуэна де Куртенэ можно сдать, абсолютно не зная никакой лингвистики. И на пари некоторые физики или математики шли к нему сдавать (*смеется*) — и сдавали. Надо было что сделать только: в начале ответа задать ему вопрос. Он сейчас же увлекался, начинал по этому вопросу, который его волновал, говорить очень много. Говорил, говорил, потом соображал, что надо кончать: «Ага, ну отлично, отлично», — и ставил «отлично»... (*Смеются.*) За свой собственный, так сказать, доклад. Бодуэн де Куртенэ был, в сущности, основоположником...

Д: ОПОЯЗа.

Б: Формализма вообще. Не ОПОЯЗа, а формализма вообще.

Д: Ну, Шкловский же его прямой ученик.

Б: Шкловский его прямой ученик, и, собственно, все почти, кто учился в Петербургском университете, были учениками Бодуэна де Куртенэ: он заведовал кафедрой лингвистики. И слушать его приходили все. Вот основоположником направления формальной лингвистики был Бодуэн де Куртенэ. Но было, собственно, два основоположника, которые создали два типа формализма в языкознании: московский Фортунатов... Вы, вероятно, с ним...

Д: Я его ученик.

Б: Ах, Вы ученик Фортунатова?

Д: Нет, ну, я ученик Ушакова, а Ушаков — ученик Фортунатова.

Б: Ах да, Ушаков — фортунатовец.

Д: Ну, Петерсон...

Б: Поржезинский, по-моему, тоже.

Д: Тоже. Это все наши... то, что мы изучали. Поржезинский... ну, Пешковский тоже.

Б: Пешковский, конечно, тоже. Это один тип формализма. А вот другой тип, который как раз и лег в основу ОПОЯЗа, — это был...

Д: Бодуэн де Куртенэ.

Б: ...Бодуэн де Куртенэ. Он был ближе... вот к тому первоисточнику формализма вообще в мировом языкознании — это де Соссюра. Соссюра. Он, так сказать, в наиболее чистом виде представлял формальную сторону...

Д: А де Соссюр где читал?

Б: Он вообще в Швейцарии, французской Швейцарии читал и потом в Парижском, по-моему, университете.

Д: И Бодуэн де Куртенэ у него учился?

Б: Нет-нет. Насколько я знаю, он у него не учился, но знал его труды. И знал их сравнительно неплохо.

Д: Де Соссюр — французский ученый?

Б: Французский ученый, да.

Д: И у нас он не бывал, лекций не читал и непосредственного контакта с нашими...

Б: Никогда не бывал. И непосредственного контакта не имел. Более того, основное произведение Сос-

сюра — введение в лингвистику, языкознание, — оно не было издано при жизни Соссюра. Оно было издано учениками его по записям уже после смерти Соссюра. А те произведения, которые были напечатаны при жизни, не имели большого влияния.

Д: Ну, а вот всю эту компанию молодых филологов, языковедов, ставших литературоведами, и литературоведов, ставших языковедами, которая, собственно, и составила ОПОЯЗ, — Вы лично с ними общались? Это в те же годы.

Б: Нет. Нет. Мы принадлежали совершенно к разным кругам, совершенно к разным кругам принадлежали.

Д: Так что ни молодого Шкловского, ни молодого Эйхенбаума Вы так не знали коротко?

Б: Нет. Нет-нет. Я позже их узнал, позже узнал несколько уже. Вот. А тогда нет. В начале их деятельности, когда там был кружок ОПОЯЗ, я их не знал. Я познакомился с кружком ОПОЯЗа уже потом, после окончания университета, когда я был в Витебске. Вот там я познакомился с этими брошюрками ОПОЯЗа, которые поражали всех, потому что были напечатаны на пипифаксе.

Д: У меня есть они. «Поэтика»?

Б: «Поэтика», да. Там отдельные брошюрки, самые ранние.

Д: Они шли к литературоведению, так сказать, от лингвистики.

Б: От лингвистики шли, конечно, да. От лингвистики шли, но только от лингвистики, понятой по-своему, так что лингвисты среди них были, очень сильные. Вот одного из них, как раз, пожалуй, может, наиболее сильного лингвиста, я знал. Это был... (*задумывается, вспоминая*)

Д: Не Поливанов, нет?

Б: Поливанов, совершенно верно. Поливанов [15].

Д: Это, конечно, фигура...

Б: Фигура очень значительная.

Д: Я познакомился с его именем тогда, когда его уже травили марровцы.

Б: Интересно, что ведь он был близок к коммунистической партии. Он почему-то был необычайным поклонником... Троцкого. Более того, он был вроде замминистра иностранных дел, первым... в правительстве... большевиков [16].

Д: Что, в Петербургском, в основном? В «Северной коммуне»? Или где-нибудь там, в ДВР?

Б: Нет-нет-нет-нет. В Петербурге, непосредственно в Петербурге, заместителем Троцкого, и был его, так сказать, ну, поклонником, что ли.

Д: Ах, вот поэтому он потом и быстро так... А я не понял.

Б: Его называли тогда даже «большевистский министр». Вот. Но он министром не был, он был только заместителем, конечно. Да, собственно, я не знаю, какая у него до конца была должность, но он очень много делал, потому что он был знатоком иностранных языков, чем другие работники не могли похвастаться...

Д: А потом ведь у него была какая-то авантюра: то ли с какими-то экспроприаторами был еще до революции связан... Занимался он блатом, блатным... Не в смысле теперешнем, а в прямом смысле, то есть блатным языком. И для того, чтоб его изучать (это мне рассказывал его ученик Болотин [17]), он, значит... где-то сидел вместе с уголовниками, стал наркоманом [18].

Б: Этого я как раз и не знаю. Наркоманом он был — это я знаю.

Д: И потом где-то его ранили, пришлось руку ампутировать. Он же был однорукий [19].

Б: Да. Видите ли, и... он действовал, действительно, причем подпольно. Но, насколько я знаю, он не в большевистском подполье действовал, а скорее...

Д: В эсеровском?

Б: В эсеровском, да, в эсеровском.

Д: До революции?

Б: До революции.

Д: Ну, значит, он мог быть заместителем министра в ту пору, до июля 18-го года, когда еще левые эсеры входили в Совнарком. Когда Камков был, Прошьян, которому Ленин посвятил потом некролог.

Б: Ведь и Шкловский тоже был...

Д: Эсером.

Б: Эсером, левым [20], да. Вы это знаете: было опубликовано, что он левый эсер, уже после того, как начался разгром и аресты среди левых эсеров, и... было о нем напечатано, специально, в газете. Когда он об этом узнал...

Д: То смотался за границу.

Б: За границу, да.

Д: Пробыл там два года, а потом как-то вернулся.

Б: А потом вернулся, да, вернулся. Ну, большой роли он, по-видимому, не играл.

Д: Конечно... это так... авантюра.

Б: Да... Политиком он не был, так, авантюрист. Авантюра была.

Д: А Вы Поливанова знали вот в эти студенческие годы? Когда у него были еще обе руки целы?

Б: Да, когда у него были обе руки целы... по-моему... кажется... вот этого я не помню... Потом я знал его и без одной руки.

Д: Он где-то в Туркестане потом был.

Б: Да. Да. А потом он исчез из Ленинграда, где-то скитался... был в Константинополе...

Д: Вообще это отнюдь не академическая фигура, но вместе с тем талантливый ученый.

Б: В высшей степени талантливый и в высшей степени эрудированный человек. Эрудированный, а не просто талантливый. Вот — Поливанов.

Ну, затем, кто там из лингвистов? Тогда же лингвистом был, он работал у Щербы, вот названный мной Лопатто.

Д: Петербургский — Щерба, а в Москве Фортунатов в то же время.

Б: Да-да. Но скорей в Петербурге... Бодуэн де Куртенэ. Щерба, собственно, не был теоретиком, он был все-таки... Во-первых, он был замечательным знатоком французского языка. Его книга основная о французском языке — это наиболее ценная его работа. Потом, он был педагог. А Бодуэн де Куртенэ был никакой педагог, я Вам рассказывал.

Д: Это Вы рассказали, да. Ну, а кафедры западные?

Б: Западная кафедра. Тут самая значительная фигура — это Петров [21].

Д: Веселовские уже, и тот и другой, умерли?

Б: Веселовских уже не было [22], но продолжатели линии Веселовского были. Вот, в частности, Шишмарев [23]. Я его знал. Одно время он был директором Института мировой литературы. Но очень недолго. Он вернулся в Ленинград и в Ленинграде умер. И еще до смерти он успел выпустить замеча-

тельную книгу — «Введение в романскую филологию».

Д: Собственно, «литературоведение» — теперешний термин — тогда вообще не бытовало. Были филологи по разделам: классики, индоевропеисты...

Б: ...романогерманисты... и слависты были.

Д: А слависты кто же там, в Петербурге, были?

Б: Славистикой я не занимался. Я даже не помню, кто там был. Более того, я даже у кого-то учился, потому что нужно было сдавать какой-нибудь славянский язык. Я польским языком немножко занимался, ну и читали «Пан Тадеуш» и немножко «Дзядов». Но я не особенно интересовался... Так сказать, отбывал повинность. Польский меня не интересовал никогда.

Д: Надо сказать, что картина состояния дел в Петербургском университете — ведь это же 15 — 16-й год, — которую Вы обрисовали, значительно более отрадна, чем та, которую рисовал в своих публичных выступлениях Виктор Борисович Шкловский... который давал в центре внимания Венгерова — отрицательно...

Б: Потому что он работал в его Пушкинском кружке.

Д: ...и что, значит, молодежь бунтовала против этого самого Венгерова. А что, собственно, еще было в университете, я, хотя три раза его слушал, ничего не узнал.

Б: Нет, нужно сказать, все-таки довольно неверное представление. Потому что он, видите, знал, так сказать, ну, с одного, что ли, бока, вот — участник семинара... Это, конечно, несправедливо. Венгеров был настоящий ученый, академического типа. А ведь тогда эта самая молодежь, которая бунтовала, — это были все люди, которые были близки к футуризму и так далее, для которых в поэзии самой крупной фигурой был, конечно, Маяковский...

Д: Хлебников...

Б: Хлебников, да... А так нет, конечно, он был очень почтенный ученый, но такой ученый — фактограф и библиограф, замечательный библиограф он был. Все-таки библиографии у него можно было учиться. Вот кстати, говоря об «Omphalos'е»... Мы устраивали всевозможные заседания, а потом еще увлекались шарадами. Вот я помню, на квартире...

Д: Ученые люди ставили шарады, да?

Б: Да-да... на квартире у Сребрного... он старше нас, не всех, конечно, но старше большинства из нас... Он был уже доцент и вел практические занятия по древнегреческому стихосложению. Семинарские занятия он проводил, как и очень многие профессора и доценты, у себя на дому. Это вполне было в моде тогда. Семинары Зелинского знаменитые проходили у него на дому, и вдобавок еще жена его угощала нас превкусными пирожками. Ну и вот, у Сребрного семинар был, мы там сидели, потом одни, более далекие, уходили, а кружок наш, наиболее близкий к нему... оставались после этих занятий, пили чай, а потом ставили шарады. Вот, я помню, одна шарада — «Бурлюк». Первая часть — это был «бур». Брат мой разыгрывал бура великолепно: в одной руке у него Библия, в другой ружье, одним словом, такой стилизованный бур...

Д: Да. А буры тогда были в моде после недавней англо-бурской войны.

Б: Да, сравнительно недавно бурская война была.

Д: И книжечка была: «Питер Марис — молодой бур из Трансвааля». Это и Шкловский вспоминает, и я помню. А «люк» что было? В люк проваливались?

Б: «Люк»? Да, проваливался в люк, конечно. Потом целое: «Бурлюк». Это Сребрный, одарен был как актер замечательно, он изображал Бурлюка. Значит, так: якобы Вéнгеров — простите, Венгéров... А Венгерова изображал — тоже фигура, тогда еще никому не известная, — Пиотровский, Адриан Пиотровский [24]... Который потом так трагически погиб: он же был расстрелян.

Д: Расстрелян был?

Б: Он был расстрелян! И как!

Д: Когда?

Б: Это была дикая история. Точно год я не помню, когда он был расстрелян, во время этого террора...

Д: Во время революции или в 37-м году?

Б: Не-е-ет, это было в 37-м, в 37-м году это было. Во время революции он был еще очень молод. Он был на военной службе, попал перед революцией на военную службу, попал в плен, героически, чудесным образом бежал из германского плена. И вот тут, бежав из германского плена, он начал свою работу в университете, студентом университета, молодым, кра-

сивым, очень тоже интересным, и тоже замечательным актером. Он изображал Венгерова, который хотел познакомиться ближе с новейшими современными течениями литературы и поэзии и пришел, значит, в артистический и литературный кабачок. Ну, имеется в виду примерно «Бродячая собака» или... «Привала комедиантов» тогда еще не было, конечно...

Д: «Бродячая собака» и «Розовый фонарь» в это время.

Б: Да. И вот, значит, там он видит человека, поэта... Ему показали: вот современный поэт, руководитель современной поэзии. Это Бурлюк. И между ними происходит беседа. Ну, беседа была такая: как будто бы Бурлюк серьезно отстаивал позиции формализма, а Венгеров удивлялся, поражался, задавал вопросы и так далее. (*Обращается к кошке:* «Опять ты пришла сюда. Ну что с ней сделаешь. Ну опять что-нибудь наделает».)

Д: Ну, продолжайте, а то ведь это все фиксируется.

Б: А?

Д: Все это фиксируется — наш диалог с кошкой (*смеются*).

Б: Ну да.

Д: Ну ничего, это даже оживляет. Я буду за ней следить. Продолжайте.

Б: Да, ну вот, следовательно, Венгеров, конечно, был представителем старого, академического, фактографического литературоведения...

Д: И как же разыграли эту сцену?

Б: Ну, разыграли так: он удивляется, поражается, однако объясняет, что он немножко отстал от жизни и поэтому ему показалось это в высшей степени странным и не совсем понятным. Ну, так оно, в сущности, и было. Но вот что характерно для Венгерова: это был необычайно терпимый человек. Он все готов был принять, даже не понимая хорошенько. Это был очень терпимый человек. И он не нападал совсем на молодых...

Д: Так что в его картотеку футуристы попали?

Б: Попали, попали, по-моему, попали, да. Но так, вообще, конечно, это был очень солидный...

Д: Я и заговорил об этом, потому что рассказ Виктора Борисовича об университете у меня вызвал ка-

кое-то недоверие. Какое-то уж очень такое... пристрастное у него...

Б: Да. То есть... может, не столько пристрастное... не знаю, как это сказать...

Д: Немножко конъюнктурное.

Б: Да, но... однобокое, по-моему. Он знал только одну сторону. Потом, видите, университет того времени — это предреволюционный университет, университет начала революции. Там же была борьба внутри студенчества. Очень резкое расслоение и борьба.

Д: Политическая?

Б: Политическая, да. Во-первых, были так называемые академисты, которые считали так: вмешиваться в политику не наше дело. Нам нужно сейчас только одно — учиться. Вот.

Д: Правильно.

Б: А когда кончим, там будет видно. Разойдемся по партиям, по направлениям. А сейчас — никаких направлений, никаких задач. Одно-единственное направление — учиться серьезно. Это академисты.

Д: Вот и Вы в числе их были?

Б: Я — нет, я ни к какой группировке не принадлежал.

Д: Ну вот академистом Вы были.

Б: Но вообще я сочувствовал, конечно, академистам, потому что их-то противники, они устраивали всевозможные... обструкции в университете и прочее. Одним словом, они бузили, бузили. Бузили очень грубо, и так далее. Ну, тут были, конечно, и разные социальные подоплеки.

Д: Тут были, наверное, и эсеры, и социал-демократы. А большинство все-таки, наверное, такой кадетской ориентации, либерально-кадетской?

Б: Ну конечно, академисты в большинстве случаев были дети кадетских лидеров.

Д: Профессоров.

Б: Да. Ну, вообще, как говорили тогда — «в воротничке». В воротничке. Демократическое-то студенчество, которое бузило и которое даже по-русски говорить как следует не умело, а говорило почти блатным языком, — они ненавидели академистов. Устраивались свалки в университете.

Д: Свалки?!

Б: Буквально. Между студентами.

Д: Драки?

Б: Да-да. В знаменитом этом коридоре университетском. В университете Петербургском был коридор, который проходил через все здание, очень широкий коридор... почти как Невский проспект — так его сравнивали обычно. Ну, это, конечно, преувеличение, но тем не менее он был действительно очень широким, там постоянно двигалась масса студентов разных факультетов. И вот там происходили драки.

Д: Что, прямо организованно дрались, стенка на стенку?

Б: Не совсем так это, а больше отдельные были выступления, друг против друга. А чтоб так организованно — нет...

Д: Кто-то кому-нибудь дал пощечину за...

Б: Ну да. Кто-нибудь поддержал одного, кто-нибудь поддержал другого, и вот выходила такая небольшая...

Д: Ну и что в таких случаях? Исключали или что?

Б: Нет. В таких случаях вообще администрация...

Д: Не вмешивалась?

Б: Не вмешивалась, да. Это между собой они сами разбирались. А вот когда массовая демонстрация устраивалась политическая, тогда вмешивались. И когда вот эти демонстранты организованно срывали занятия, то тогда действительно исключали некоторых. Ну, кажется, почти все исключенные потом благополучно возвращались в стены университета. Особенных репрессий в университете до революции не было. Репрессии начались позже, когда пришла новая власть. А так нет.

Д: Но, простите, ведь при Вас был режим Кассо [25]?

Б: При мне, при мне был, да.

Д: Но ведь Кассо кого-то там сдал в солдаты.

Б: В конце, в конце режима Кассо. Ну, нужно сказать, Кассо... Ведь, знаете, вот эти... писавшие о Кассо, вообще о политике нашей университетской, народного просвещения, настроенные революционно, — они страшно искажали факты. Кассо был человек очень умный, образованный, европейски образованный. Это был европеец, европеец. И в сущности, политика его была разумная, совершенно разумная. Он считал, что университет создан для того, чтобы в нем

учились и получали знания. А в будущей жизни, после окончания университета, делайте что хотите.

Д: Был громкий скандал, после которого все либеральные профессора ушли из Московского университета.

Б: Да-да. Было и у нас кое-что в Ленинградском, но ни один солидный профессор, которого мы ценили, не ушел и вообще в оппозиции не был.

Д: А профессора были действительные статские советники? Или просто статские советники?

Б: Нет, далеко не все.

Д: Это не давало чина?

Б: Нет, это давало чин, но... по мере выслуги лет одни получали чин, другие не дослуживались до этого чина. Большинство профессоров не дослуживались до действительного статского советника. Обыкновенно кончали статскими советниками и потом уходили.

Д: Это был третий, кажется, чин? Действительный тайный, тайный, действительный...

Б: Нет, тайный — это был высший.

Д: Тайный — это министр?

Б: Действительный тайный советник — это министр. И притом даже далеко не всегда министры были действительными тайными советниками, а просто тайными советниками и даже, насколько мне известно, были министры статскими советниками, даже не действительными.

Д: Значит: действительный тайный, тайный, действительный статский, статский. А ниже статского следующий чин был какой? Не помните?

Б: По-моему, коллежский советник. Не помню сейчас.

Д: Ну ладно. В общем, четырнадцать чинов было, да?

Б: Да, четырнадцать классов.

Д: Это было введено еще Петром, да?

Б: Это было введено еще Петром, пятый параграф, это петровское.

Д: Она отменена была только Октябрьской революцией?

Б: Да, только, только.

Д: Февральская революция ее не отменила?

Б: Нет, Февральская революция вообще тут не успела коснуться, и вряд ли она стала бы тут ломать что-либо.

Д: Так. Ну, и Февраль Вы провели как раз студентом Петербургского университета? Петроградского.

Б: Да. Но, собственно говоря, вот в тех движениях, которые тогда уже в университете стали развиваться, я никакого участия не принимал. Был в стороне от них совершенно.

Д: Вы были совершенно аполитичны.

Б: Аполитичен был совершенно. Аполитичен, но не сочувствовал, конечно, крайним: крайним партиям и крайним, так сказать, мероприятиям и в области народного просвещения. Я отнюдь не сочувствовал этому. Не сочувствовал. Я считал, что условия, которые существовали в университете и вообще в народном образовании, вполне обеспечивают возможность человеку стать ученым и подготовленным к жизни.

Нужно сказать, и юридический факультет университета тоже был в достаточной степени сильный. Я помню, я сам туда ходил и все ходили на лекции профессора Петражицкого, юриста Петражицкого [26]. Нужно сказать, слушать его было трудно, потому что у него был чрезвычайно сильный польский акцент. И вообще он не был оратором. Но его лекции были в высшей степени интересны. Он был человек философски образованный. Он пытался вообще к праву подойти с новых философских позиций. Это было очень интересно.

Д: Вот мы с Вами дошли до 17-го года. Вы говорите, существовал еще Ваш «Omphalos». А кроме «Omphalos'а», Вы ни в каком объединении не участвовали?

Б: Ни в каком объединении не участвовал, потому что вскоре все подобные объединения вообще не могли существовать. Но в кружках я участвовал. В послереволюционных кружках.

Д: В каких кружках? Кружках литературных? Философских?

Б: Философских, философско-религиозного и литературоведческого характера, таких неофициальных.

Д: Ну, в Вольфиле Вы не принимали участия? Вольная философская ассоциация [27].

Б: Я только бывал... но не выступал там ни разу.

Д: Это ж затея Андрея Белого в основном.

Б: Это в основном затея Андрея Белого, да. Вольфила.

Д: Вот интересно было бы изнутри на нее посмотреть. Вы бывали на их собраниях?

Б: Бывал на собраниях, да, бывал на собраниях. Нужно сказать, что я не очень сочувствовал этой Вольфиле, не очень. Это типичная русская такая, понимаете, болтовня, болтовня. Научных серьезных докладов не было. Это было такое, знаете... красноречие, главным образом либерально...

Д: ...и одновременно такого идеально-мистического...

Б: ...и отчасти идеально-мистического характера. Я застал еще и бывал на заседаниях Философско-религиозного общества. Это было нечто все-таки более значительное.

Д: Это Мережковский, да?

Б: Это да, Мережковский... Тогда председателем этого общества был Карташев. Мережковский, Гиппиус, ну, а потом Филосóфов большую роль играл.

Д: Вы как произносите: Филосóфов или Филóсофов?

Б: Филосóфов. Произносили тогда все «Филосóфов» — и люди, его лично знавшие, и друзья...

Д: Я так привык «Филóсофов».

Б: ...и сам он произносил «Филосóфов». Филосóфов. Так что, нет-нет, Филосóфов — это правильно.

Д: Ну, давайте теперь сосредоточимся на... Я сейчас Вас немножко сам подзадержал на университете, потому что тут у меня есть специальное, так сказать, даже задание покойного ректора: историю высшего образования в России... Вот у меня Московский университет — много... а по Петербургскому университету, кроме рассказа Шкловского, ничего не было. Вы мне впервые дали в этом смысле какую-то довольно цельную картину...

Б: Я хотел бы еще сказать относительно администрации университета.

Д: Пожалуйста.

Б: Нужно сказать, что она, во-первых, не вмешивалась в учебные дела совершенно. К тому же это были специалисты определенных областей. Скажем, Гревс — это был историк [28]...

Д: Ах, Вы Гревса знали?

Б: Знал, как же. Иван Михайлович, кажется, если память мне не изменяет. И вот они... были сами люди науки, не чиновники, не чиновники отнюдь. В учебную часть они не вмешивались. Они старались создать атмосферу спокойствия, которое необходимо для серьезной научной работы. И в значительной степени в Ленинграде это удавалось, то есть не в Ленинграде...

Д: В Петрограде.

Б: В Петербурге, в Петрограде это удавалось более или менее. И они пользовались, я бы сказал, у большинства студентов, кроме вот этих бузотеров всяких нелепых, — они пользовались уважением, и нельзя было их не уважать. Заведующий... Как он тогда назывался?.. Директор по студенческим делам... или нет, нет...

Д: Проректор?

Б: Даже не проректор. Он был административный чисто работник, все дела студенческие находились у него. Архив студенческий — у него. Это был Иван Семенович Слонимский. Милейший старичок. Ну прямо святая фигура была. Добрейший, милейший, услужливейший. Он практически ведал студенческими делами...

Д: Управляющий был.

Б: Управляющий, да. Забыл название его. А его сын даже был моим товарищем. Он старше меня. Он кончил юридический, потом поступил на филологический, на второй факультет.

Д: А плату взыскивали?

Б: Плату — да. Но нужно сказать так: тогда плата была не такая уж большая...

Д: Сколько стоил университет в год?

Б: По-моему, что-то рублей восемьдесят — за год.

Д: А стипендии бывали?

Б: Были стипендии. И получить стипендию было очень легко. Это все вздор. Легко. Но, видите, смотрели студенты ведь так все-таки: как-то неудобно получать стипендию. Старались ее не получать. А ее получить ровно ничего не стоило: подписи двух товарищей, что он действительно нуждается. Обыкновенно даже так: приходили в канцелярию с заявлением и там первых двух студентов, даже незнакомых, которые в канцелярии в этот момент были, просили их

подписаться. Они подписывались, конечно. Такая традиция была. И все. И в общем, давали стипендию довольно широко. Я бы сказал, кто нуждался действительно и кто не стеснялся признаться в своей нужде и просить стипендию, тот ее получал. Но должен сказать, что даже нуждающиеся, большинство, не просили стипендию. Традиция была такая.

Д: Неловко.

Б: Неловко, да, неловко.

Д: А сколько была стипендия? Тоже рублей тридцать?

Б: Нет, это, собственно, освобождение от платы за обучение. А были еще стипендии, именные стипендии, которые давались вот за какие-то заслуги такие, научного характера, конечно. Но я даже не помню сейчас какие...

Д: Это от меценатов, да?

Б: Это от меценатов, да-да. Именные стипендии. А так — это просто освобождение от платы за получение образования.

Д: Это меньше десятки в месяц.

Б: Меньше десятки в месяц, конечно!

Д: Ну, десятка — это, конечно, были деньги.

Б: Это были деньги, это были деньги. Но тем не менее предпочитали не просить, тем более что можно было легко заработать уроками, легко заработать мелкой литературной работой, какие-нибудь рецензии... Вы знаете, нужно сказать, великолепная студенческая столовая была, великолепная, где за... точно я не помню сейчас, но примерно так за гривенник можно было великолепно пообедать.

Д: В мои годы тридцать три копейки стоил обед, и паршивый, надо сказать.

Б: А тогда был хороший.

Д: Но хлеб было можно есть сколько хочешь.

Б: Ну, хлеб вообще в то время никак не нормировался, сколько угодно...

Д: И в 26-м году еще тоже.

Б: Да. Но обед был хороший. Простой и хороший обед. Щи обычно были, щи были хорошие, мясные, каша была, котлетки были...

Д: Интересно. Я сам был студентом как раз во вторую половину нэпа, 26 — 30-й, и жил уроками. Я не имел стипендии. Вот я прикидываю как. Ну, я вот

за урок тогда брал за час рубль, потом даже полтора, а обед в студенческой столовой стоил тридцать три копейки.

Б: Обед такой был очень плохой.

Д: Паршивый был обед. И стоял за ним в очереди, длинную лестницу, минут сорок.

Б: Тогда очередей не было, по-моему.

Д: На Бронной.

Б: Вообще так называемые хвосты появились только после...

Д: Нет, уже в 17-м, в 16-м году.

Б: Ну, там в 16-м году, и то не всюду, а на некоторые вещи.

Д: Как раз на хлеб.

Б: Да.

Д: Вы очень выпуклую дали картину университета. А кто ректором тогда был Петербургского университета?

Б: Гревс был ректором тогда.

Д: Гревс историк был. Он деканом, кажется, был? Нет?

Б: Он деканом был одно время, а потом, по-моему, и стал ректором. Сейчас я хорошенько не помню. Ведь нужно сказать, что иметь дело студенту с ректором не приходилось. Можно было и кончить университет, и быть сколько угодно лет в университете... Не было сроков установлено. Так называемая предметная система была, то есть вы сдавали предмет тогда, когда вы хотели сдавать его. Тут были, конечно, сделаны исключения, скажем, были всякие предметы, на которых, чтобы их сдать, надо было сначала сдать семинар или практические занятия и так далее. А так вы свободны. Сдаете, когда сдаете. Теперь. Вам записывается это в... зачетную книжку. А... могли вы сдавать в течение четырех лет и потом сдавать государственные экзамены, в течение пяти, десяти, двадцати... Были старые студенты, неограниченно... учись...

Д: Ну это не дело!

Б: Да. Учись... и плати за право учения. Больше ничего не требовалось.

Д: Ну это нелепость как раз, Вам не кажется?

Б: Это имело, безусловно, свои минусы. Имело и свои плюсы. Были люди, так сказать... старые студенты, которые действительно никогда не учились, но им

надо какое-то положение в жизни, они были вечными студентами. Так они и назывались: вечные студенты. А в Германии, в германском университете, такое же положение, только еще было свободнее. Там давалась книжка эта — матрикул — общая. Вы могли сдавать один предмет в одном университете, другой предмет — в другом, третий — в третьем, и все они были действительными.

Д: Так что понятия курса и перевода с курса на курс не было?

Б: Было, было, но оно было, в сущности, такое формальное. Обычно считалось просто по количеству лет, которые человек просто проучился: три года — студент третьего курса...

Д: Ну, а если он восемь лет проучился, что же он, на восьмом?..

Б: Ну, дальше уж не считали, дальше уже не считали... «Он сдает за такой-то...» или «У него «хвост»...».

Д: Значит, студенты с «хвостами»?..

Б: Он проучился пять-шесть лет, но у него много «хвостов», значит, много не сданных еще экзаменов. А в Германии так: там, значит, в любом университете германском можно было сдавать любой предмет. И это было очень хорошо, потому что в университетах профессора были разные. Каждый стремился послушать курс и сдать у знаменитого, лучшего профессора того времени и приезжал в университет...

Д: Другой.

Б: Да, туда. Потом в другой и так далее. И там тоже были... только у нас это — «вечный студент», а там называли — «bemooster Herr», то есть поросший... этим...

Д: Бородой?

Б: Нет, я вам сейчас скажу более близкий перевод... «Moos», «Bemooster Herr». Это покрытый... мохом! Мох, мох. Вот! Это наиболее адекватно: омшелый, омшелый студент, покрытый мохом студент... Ну, господин — «Bemooster Herr». У нас называлось «старый студент» или «вечный студент». Вот... По-моему, у Леонида Андреева есть пьеса «Старый студент». Нет? Или она, может, иначе называется [29]?

Д: Нет, как-то иначе, по-моему.

Б: Вот там главный герой — старый студент, который пытается приспособиться к молодым, революционно настроенным и так далее.

Д: Так, Михаил Михайлович, не будем сегодня... перешагивать это, а расскажите... с какими большими деятелями культуры... за это время встретились? Ну, Вы видали Шаляпина... Кого Вы наблюдали сами, с кем были знакомы, и не обязательно знакомы?.. Вы ходили в Художественный театр. Что Вы запомнили из Художественного театра? Ведь, понимаете, Ваше мнение...

Б: Художественный театр? Да, я знал, конечно, знал Московский Художественный театр. Он к нам приезжал на гастроли.

Д: На гастроли куда? В Одессу?

Б: Да нет, в Петербург. Первый раз я действительно был в Одессе, когда приезжал туда.

Д: Ну вот начните с Шаляпина и Собинова.

Б: Ну, видите, что же Шаляпин... Ведь, собственно говоря, тут что я могу сказать? Шаляпин произвел на меня очень сильное впечатление. Собинов — меньше, меньше как-то, не знаю...

Д: Вы ведь человек музыкальный.

Б: Да, но я никак не специалист по музыке. Я музыкальный так это... при музыке был, но сам я музыкантом не был. Я преподавал в консерватории, но преподавал там эстетику. Кроме того, так сказать, среди вот моих друзей были музыканты. Вот, например... Мария Вениаминовна, замечательная совершенно...

Д: Но это уже потом.

Б: Более позднее, да.

Д: О Марии Вениаминовне мы специально поговорим.

Б: Да. Это позже было. А теперь так... Ну что же? Сильное впечатление... Ну... сказать что-нибудь новое, чего не писали о Шаляпине... Вот недавно же его вспоминали, был его юбилей и так далее... Что я могу к этому прибавить? Шаляпин очень сильное впечатление на меня произвел. И, собственно говоря, я не слышал лучшего певца-баса и потом. А я все-таки еще слышал многих выдающихся артистов.

Теперь... Художественный театр. Впервые я с ним познакомился в Одессе, потом уже в Ленинграде. В

Москве я не был в Художественном театре, по-моему, насколько память мне не изменяет. А во время его приездов в Ленинград — это я помню очень хорошо. И до революции, и после революции.

Д: Вы с первым составом видели?

Б: С первым составом, да.

Д: Вот скажите и Ваши оценки, и Ваши впечатления по Московскому Художественному театру. И меня, конечно, особо... Ну, Мейерхольд — это, конечно, позже...

Б: Мейерхольд позже, да, Мейерхольд позже. Я так больше о нем знал понаслышке. У нас были общие, так сказать, знакомые, друзья с Мейерхольдом... Да. Ну, его самого я тоже знал, но очень мало, очень мало...

Д: Москва — это Большой театр, Малый театр и Художественный театр...

Б: Да. Тогда назывался он не Большой, а Мариинский театр.

Д: Ах, ну да, — Петербург!

Б: Мариинский театр. Да. А потом уже, теперь называют Большим, по-моему.

Д: Нет-нет, Большой — это московский, я имел в виду Москву. Вы в Москве в то время не жили?

Б: В Москве я бывал, но бывал только наездами, не жил в Москве в то время. Причем постоянно в Москве, собственно, никогда не жил, постоянно, а бывал только здесь... и живал. После революции много раз живал пóдолгу, подóлгу. И вот Художественный театр московский я знаю не по Москве. Прежде всего в Одессе я видел. И там был весь старый состав. И конечно, приезжал туда...

Д: Константин Сергеевич?

Б: Константин Сергеевич.

Д: Ну, и как зритель Вы любили Художественный театр?

Б: Чтоб я его любил, я сказать не могу. Он мне нравился, производил впечатление... Некоторые вещи... я помню, я видел. «Бранд» меня потряс.

Д: Кто играл Бранда?

Б: По-моему, это играл уже... Качалов. Качалов.

Д: А «На дне»?

Б: «На дне», представьте себе, я не видел, не пришлось как-то увидеть «На дне». А так как я вообще

не был никогда поклонником Горького, то я... не очень стремился увидеть его вещи.

Д: Ну, а чеховские вещи видели?

Б: Чеховские видел, чеховские видел, но должен прямо сказать, что мне показалось, что Чехова они неправильно... не поняли.

Д: Не поняли? Неправильно?

Б: Не поняли. Неправильно, да.

Д: Что он слишком размазанный и слюнявый у них, я бы сказал.

Б: Да. И потом... Чехов сам большинство своих драм называл фарсами или комедиями. Ведь, например, «Вишневый сад» он прямо называл фарсом. Ну, это было с точки зрения теории жанров не совсем верно, но что элемент фарсового, комического здесь очень силен, это не подлежит сомнению... То превращать это в драму...

Д: Почти слезливую...

Б: Да, это никак нельзя, в мелодраму... никак нельзя, никак нельзя. А они это делали.

Д: Вот это удивительно.

Б: Нужно сказать, что потом уже, конечно, когда и состав изменился и особенно когда этот театр... канонизовали, провозгласили его, так сказать, эталоном для всех других театров, он выродился совершенно.

Д: Выродился совершенно?

Б: Выродился, да-да. Его убила... канонизация. В этом смысле обычная история: достаточно какое-нибудь явление культуры канонизовать — это значит его убить. Оно дышит только в атмосфере свободы и свободной борьбы, конкуренции... критики... Когда эту атмосферу запрещают вокруг, то театр умирает...

Д: Так, значит... Театр. Музыка. Ну, а поэты?

Б: Поэтов? Поэтов... я знал. Особенно близким я из значительных поэтов ни с кем не был, но знал я очень многих, почти всех знал. Ну, прежде всего я знал, но тоже близким не был, хотя это был мой любимый поэт, и как человек он мне очень импонировал, — это Вячеслав Иванов. Вячеслав Иванов. Но я не был с ним особенно близок.

Д: А где Вы с ним встречались?

Б: Я с ним встречался в Ленинграде, на вечере, меня познакомили там... Дело в том, что у меня был близкий друг — Волошинов... Он автор книги «Мар-

ксизм и философия языка», книги, которую мне, так сказать, приписывают. Вот — Валентин Николаевич Волошинов [30]. А его отец был другом Вячеслава Иванова, он был, кажется, даже на «ты» с Вячеславом Ивановым... И вот познакомил меня с ним на вечере литературном, еще в Ленинграде. А потом я (его. — *Ред.*) встречал, собственно, в Ленинграде, а потом мы с ним уже встречались в Москве, после революции 17-го года. И особенно мне запомнились последние две встречи с ним перед отъездом его... В Баку. А уж после Баку я его не видел... Тогда было время очень тяжелое, голодное время. И вот он тогда жил в здравнице. Эта здравница была на Арбате, если память мне не изменяет, в Спасо-Неопалимовском переулке.

Д: Не на Арбате, значит, а на Смоленском бульваре в 3-м Неопалимовском переулке. Я ее помню. Спасо-Неопалимовского — такого переулка нет. В Спасо-Песковском.

Б: Да, может быть.

Д: А это ближе к Зубовской площади, этот переулок. Здравница для утомленных работников умственного труда.

Б: Вот! Вот.

Д: Я в нее заходил, потому что там в 20-м году после тяжелой болезни некоторое время находился мой отец. И его коллегой по комнате был Бунин. Как его звали? Брат Ивана Алексеевича.

Б: Но это было позже. Я-то был там в 20-м.

Д: Вот, 20-й год. Лето 20-го года я и помню. И я всегда соотносил с этим учреждением и книжку Гершензона и...

Б: Вячеслава Иванова...

Д: Иванова — «Переписка из двух углов».

Б: Вот. Вот. Я был как раз в этой комнате, но только в то время лежал один Вячеслав Иванов, а Гершензона уже... или еще не было, я так точно не помню... [31]

Д: Или уже не было.

Б: Или уже не было, или еще не было, то есть состоялась или еще не состоялась эта беседа из двух углов. Что два угла, это я видел. Но во втором углу находился тоже очень интересный, замечательный человек. Это был... поэт... ну как же... память стала со-

вершенно невозможной, поэт, которого я тоже и как поэта люблю, и потом его замечательные воспоминания очень ценил... Это Ходасевич.

Д: А! Он еще был в Москве, он еще не уехал?

Б: Он был еще в Москве, не уехал. И он занимал вторую постель в этой комнате. Может быть, это была другая здравница? Двухэтажное, белое здание...

Д: Да-да-да-да.

Б: Двухэтажное белое здание. Столовая была внизу, справа, как входишь, а потом, значит, по лестнице на второй этаж.

Д: Сейчас этот дом надстроен. Я рядом жил, в 1-м Неопалимовском, поэтому я помню.

Б: Может быть, я и спутал... потому что этих переулков было очень много, и на Арбате... Но это можно будет узнать, потому что у меня есть... эта «Переписка из двух углов».

Д: Редкая книга.

Б: Да... Она у меня есть сейчас, только, к сожалению, не моя. Но, может быть, станет моею, потому что хозяин не спрашивает.

Д: Ну, в частности, с Гершензоном Вы не познакомились?

Б: Нет-нет. А вот Вячеслав Иванов там был.

Д: И Вы с Вячеславом Ивановым, так сказать, лично были знакомы?

Б: Лично. Вот благодаря Волошинову.

Д: Ну, а Вы не находили, так сказать, что он всетаки несколько...? Что он за человек? Вы вот «Omphalos'ом» занимались все-таки, а уж Вячеслав Иванов... никак себе его нельзя представить членом «Omphalos'а», его можно представить себе только объектом «Omphalos'а».

Б: Отчасти он и был объектом «Omphalos'а», отчасти и был, но это вовсе не исключало его огромного влияния на нас, на всех членов «Omphalos'а», огромного влияния, уважения, нисколько не исключало. Более того, вот эти омфалитики, они писали античными метрами...

Д: Вы его и как поэта очень высоко цените?

Б: И как поэта очень высоко... Да, пожалуй, больше всего я именно как поэта его ценю. Но и как ученого. Его книги статей прежде всего очень инте-

ресны. Некоторые статьи у него просто замечательны. У него три книги.

Д: Михаил Михайлович, значит, символизм... Вы говорили о Вячеславе Иванове. И это Вам было, естественно, близко еще по линии античной. А Иннокентия Федоровича Анненского Вы не застали?

Б: Нет, я не застал его. Он же умер в 1909 году... Но первую книгу я его знал, конечно, очень хорошо и ценил — это «Тихие песни». Ник. Т-о [32].

Д: А с Брюсовым у Вас были какие-нибудь...?

Б: С Брюсовым — да. С Брюсовым мы встречались несколько раз, ну вот, беседовали, но как-то особой близости не было, хотя должен сказать, что я относился к нему с большим уважением, к Брюсову. И теперь вот, когда я читаю воспоминания о Брюсове некоторых... того же самого Ходасевича, по-моему... меня очень возмущают.

Д: Ходасевича я не читал воспоминаний. А вот цветаевские воспоминания...

Б: Цветаевские тоже ужасны.

Д: Называется, по-моему, «Волк».

Б: Там, кажется, она написала... такое: «Преодоленная бездарность».

Д: Это знаете кто? Это еще Айхенвальд [33].

Б: Айхенвальд назвал его?

Д: «Преодоленная бездарность».

Б: Может быть. Но это легло в основу и статьи Цветаевой. Она тоже считает, что он был бездарностью, но своей, так сказать, трудоспособностью и так далее он сумел преодолеть эту бездарность, так что эта бездарность не видна, не выпирает, ему удалось что-то сделать.

Д: Вы не согласны?

Б: Совершенно не согласен. Это не был гениальный поэт, не был даже, может быть, и большой поэт, но это был в высшей степени ценный, полезный деятель культуры, поэтической культуры в том числе. Его роль в деле подъема русской поэтической культуры была очень велика. Ведь он, в конце концов, действительно сумел приблизить к нам западноевропейский символизм. Очень много сделал. Более того, он сумел многое сделать для правильного понимания и античной поэзии своими переводами, особенно позднеримской поэзии, которую он знал очень хорошо.

Да и даже как поэт — я не считаю его великим, не считаю его большим, — все-таки это был настоящий поэт, а не какая-то бездарность, хотя бы и преодоленная. Ходасевич его и как человека характеризует такими отрицательными чертами...

Д: А сам Ходасевич был вообще неприятный человек?

Б: Знаете что? Он производил двойственное впечатление... Наружность его была... когда вот я его знал, очень интересной. Он был худ. Это скелет почти что, углы какие-то острые в нем были, и весь он был острый. Фигура его... мне сразу, как я его первый раз увидел, напомнила знаменитые в то время очень популярные картины и облик человека. Ходлер. Ходлер [34]. Может, Вы не знаете?

Д: Ходлер? Нет, не знаю.

Б: Да, его забыли как-то. А это был тогда очень популярный художник-швейцарец, Ходлер. И вот у него такие фигуры — угловатые, острые. И этот был угловатый и острый человек. И видно было сразу, что этот человек не добрый, злой скорей. Он и сам себя так характеризовал. Но в то же время было в нем какое-то обаяние. Во-первых, вот с этой остротой... угловатостью и такой... злостью, которая в нем чувствовалась, ощущалась, совмещалось что-то детское.

Д: У Ходасевича?

Б: У Ходасевича, представьте себе, как это ни странно. И это создавало какое-то особое обаяние. Потом, выше он был все-таки и своей злобы, и остроты вот этой своей во всем.

Д: Любопытно, что даже когда он еще не окончательно определился как антисоветский эмигрант, то тогда... в заграничный период... к нему все-таки очень дружелюбно и заинтересованно относился Горький, любил его стихи.

Б: Горький, да, Каменев ему покровительствовал, вернее, она, Каменева, покровительствовала ему.

Д: Ольга Давидовна Каменева?

Б: Да. Вы читали его «Белый коридор» [35]?

Д: Нет.

Б: Очень интересный.

Д: Это заграничная?

Б: Это написано за границей, но это как раз первый год революции Октябрьской. Белый коридор —

это в Кремле, на этот белый коридор выходили комнаты вот этих вождей, которые тогда там все жили.

Д: Нет, нет, не было случая. Я эмигрантскую литературу читал мало. Только уж теперь, когда это стало более доступно... Тогда я был еще мал. Ну что ж, восемь лет ведь было всего.

Б: По-моему, в 26-м году была написана и опубликована, там, за рубежом, конечно.

Д: Так, значит, Ходасевича Вы как раз дали очень выпукло. Ходасевич...

Б: Вячеслав Иванов — это, так сказать, была фигура в высшей степени сложная. И суждения... Некоторые считали его невыносимым человеком, очень резким и так далее...

Д: Вячеслава Иванова? Я думал... сплошное благолепие.

Б: А вот некоторые считали его... Ну вот кто? Помоему, Белый характеризовал его так тоже, отчасти. А в то же время, действительно, там было и благолепие. И по-моему, это было в нем все-таки главное, все-таки главное.

Д: Служенье муз, так сказать, не терпит суеты. Вот я под таким лозунгом его воспринимаю, пушкинским.

Б: Да.

Д: Ну, а Брюсов и Вячеслав Иванов — у них какие были отношения?

Б: У них были отношения, по-моему, хорошие, они не враждовали друг с другом. Ни в поэзии, ни...

Д: Нет, но вообще-то ведь, как Вы помните, по дискуссии 900-х годов они были противниками: один лагерь был брюсовский, другой — Вячеслав Иванов, Блок, Чулков.

Б: Да. Но, в общем, все-таки они относились с взаимным уважением. Но были, конечно, разные люди.

Д: Ну, а Бориса Николаевича Бугаева — Андрея Белого?

Б: Этого я знал тоже, тоже знал.

Д: Тут у меня есть и свои впечатления, но вот мне очень интересны Ваши.

Б: Я, во-первых, слышал его в Философском...

Д: А, в Вольфиле его слышали?

Б: Нет, я слышал его до Вольфилы еще. В Вольфиле как раз я его не слышал. Он не выступал, когда я бывал там. А до Вольфилы в Религиозно-философ-

ском обществе, вот когда председательствовал еще Мережковский, на заседании. А вообще-то председателем общества был... Карташев [36].

Д: Ну да, об этом Вы говорили. Вот Вы, пожалуйста, об этом Религиозно-философском обществе немножко больше скажите.

Б: Он делал очень интересные доклады. Я слышал два его доклада. Как они назывались, я даже не помню.

Д: Но они вошли потом в «Луг зеленый» [37]?

Б: Нет, нет, это было, конечно... позже, позже «Луга зеленого», позже, конечно. Это было уже в самом конце 16-го года.

Д: А разве Религиозно-философское общество просуществовало до...

Б: До Октябрьской революции.

Д: Ах так? Я думал, что оно уже так в начале 10-х годов сошло на нет.

Б: Нет, что Вы! Я был на последнем заседании этого общества, где выступал его председатель Карташев, уже тогда был он министром культов, первым... во Временном правительстве. Вот. Он выступал со своим заключительным словом. Тогда не говорилось, что Общество закрывается, но все чувствовали, что это — последнее заседание.

Д: И вот там выступал Белый? Или Белый раньше?

Б: Нет, Белого там не было, на этом последнем заседании, Белого я раньше слышал. Потом Сергея Соловьева, который читал... Когда я его слышал, Сергей Соловьев уже был священником [38].

Д: Священником? Но ведь он, кроме того, по-моему, потом психиатрически заболел?

Б: Да он и раньше уже болел: он делал попытку кончить самоубийством еще до всего этого. А потом он принял священство, да.

Д: А потом католическое священство.

Б: А потом да, но тогда он был архиправославным и делал доклад о белом клобуке, я помню. Это легенда о белом клобуке, который якобы перешел потом к России. Это вот доклад очень такой русофильский и весьма православный.

Д: Ну, Сергея Соловьева я себе так примерно и представлял. Это неважно, как я... Мне интересно по всем тут пройтись. И Вы, пожалуй, один из последних

людей, которые сейчас помнят и могут что-то сказать об этом трио: Мережковский, Гиппиус, Философов.

Б: Да. Они всегда приходили вместе и сидели вместе. Значит, так: заседания Религиозно-философского общества... У них не было своего помещения, им предоставляло помещение, один этаж, — это Русское Географическое общество, в Демидовском переулке оно находилось.

Д: Это Москва?

Б: Нет, в Ленинграде, конечно.

Д: В Петербурге.

Б: Я знал ленинградских. Ведь московских — я не знал, я там не бывал никогда. А это ленинградское... в Демидовском переулке, во втором этаже. А значит, на площадке этого второго этажа стоял большой стол, на котором лежали книги, — ведь они продавали: протоколы Религиозно-философского общества, некоторые книги его, изданные членами, продавались там. Самый зал, в котором происходили собрания, был очень невелик. Очень невелик. Я бы сказал, ну, пару сотен, триста человек максимум он вмещал. Да вмещал ли еще...

Д: Ну, триста человек — это все-таки порядочно.

Б: Может, и вмещал, но вряд ли в нем было столько всегда. Притом так. Значит, стояли столики, скамьи, стулья, и... с левой стороны был вход, а с правой стороны — длинный стол. Это стол президиума. А рядом с ним, с левой стороны, была кафедра. И вот за этим столом сидели члены этого Религиозно-философского общества. Их было не так много, а присутствовало всегда очень мало. А остальные присутствующие не были членами, а, так сказать, ну, членами-соревнователями, что ли. Мне присылали повестку. Меня познакомили с председателем, с Карташевым, поговорили мы с ним, он меня записал, сказал: «Вы будете аккуратно получать извещения»...

Д: Никакой обязательности в этих заседаниях не было?

Б: Никакой, абсолютно ничего. И действительно, я аккуратнейшим образом получал на такой папиросной бумажке отпечатанное на машинке приглашение с указанием повестки дня: какие будут доклады и все это. Ну, там и предъявлять не надо было ничего. Туда не ходили посторонние. Это просто чтоб известить,

потому что нигде же специальных объявлений в печати не делалось. Ну вот, за этим столом сидели обычно Мережковский — сам, рядом с ним всегда Зинаида Николаевна Гиппиус, а за Гиппиус следом сидел Философов.

Д: Вы с ними не были знакомы?

Б: С кем?

Д: С Мережковским, Гиппиус и Философовым.

Б: Нет, был знаком, но только знаком, шапочно. Мы кланялись. Причем мы встречались в этом обществе. Было маленькое, в сущности, такое общество, довольно тесное, так что там все друг друга знали.

Д: Дама была вообще эффектная?

Б: Она была да! Она была эффектная дама. Она очень заботилась о своей наружности. Потом, она так держала себя — как что-то не совсем земное — и напоминала русалку. Не знаю, это была у нее манера такая или действительно она... как будто бы ей трудно было дышать на земле, как русалка — трудно так дышала...

Д: Чуть ли не до девяноста лет додышала [39].

Б: Да, по-видимому, это была у нее манера такая держаться. Она была вообще интересная.

Д: Рыжая?

Б: Я сейчас не помню даже цвет ее волос. Но она была интересна, привлекательна внешне.

Д: Я портреты-то ее видел. С хорошей фигурой была...

Б: Да-да. Я портрет ее видел, но как-то... Так сказать, она сама производила гораздо большее впечатление, чем на портретах. Она была, может быть, не так красива (портреты всегда немножко, знаете... так ее приукрашивали), но она была в какой-то степени обаятельна, хотя и фальшива.

Д: Как-как?

Б: Сочеталось обаяние с явной фальшивостью. То есть она была фальшива...

Д: Замечательно!

Б: Вот... Она сделана была, фальшива в таком смысле — сделанность: вот ее дыхание это тяжелое, дыхание такой русалки, вытянутой из воды на землю, вот. И вообще ее манера держать себя и так далее — все это было немножко такое наигранное, сделанное, нарочитое. Это производило впечатление чего-то

фальшивого. А в то же время она была обаятельна, потому что она была очень умна. Она была умнее, чем Дмитрий Сергеевич, и умнее Философова. Ну, теперь отношения... Что ж — всем известно было, что это ménage en trois [40]. При этом в этом ménage en trois Мережковский был самый, как сказать... ну...

Д: Последний...

Б: Последней фигурой, да, последней фигурой. Он был очень немужественен, хотя он носил бородку, все это...

Д: Он какой-то плюгавенький был.

Б: Плюгавенький, какой-то плюгавенький, такое впечатление, что он был какой-то синий, как утопленник, синий был, плюгавенький... Вот. Так что он мне не импонировал, нет. Нужно сказать так: обычно они позже приходили, когда уже все соберутся. Они под руку или рядом, во всяком случае с Зинаидой Гиппиус, входили и должны были пройти между рядами к этому столу, потому что дверь была в левой стороне, а это было в правой. И вот я помню, что вставали, когда они входили.

Д: Что? Все вставали?

Б: Вставали, да. Может, не все, но... это не было казенное такое вставание, просто впечатление такое сложилось, что все вставали. Ну, может, многие продолжали сидеть. Тем более там среди публики были люди, которые презирали Мережковского. Но, в общем, впечатление такое, что... там всегда был шум такой, вставание, движение...

Д: Что пришли почтеннейшие...

Б: Да. И вот они проходили, кланялись многим и садились за этот стол: Мережковский у самой трибуны, за ним — Зинаида Гиппиус, затем Философов. Относительно Философова — может, он и не каждый раз бывал. Я, во всяком случае, запомнил его только один раз, потому что он тогда в прениях выступал. Вот. А после этого времени, может, бывал, может, не бывал.

Д: А кто он, собственно, вообще-то был?

Б: Он был, так сказать, человек очень неглупый, неглупый, знающий. Это был такой... ну, мыслитель, что ль...

Д: Я так понял — литератор, что ли?

Б: Ну и литератор, конечно.

Д: Он так более литератор. О Мережковском у меня все-таки есть представление, а Философов — я не знаю, в чем он мыслитель...

Б: Он, видите ли, по-моему, никаких, в сущности, особых проблем, особого направления не создал и к нему не стремился. Нужно прямо сказать, что это был барин.

Д: Барин?

Б: Да. Мережковский на барина был мало похожим, скорее на вытащенного из воды утопленника, хотя одевался он всегда великолепно, безукоризненный костюм был у Мережковского и все такое... Ну... а Философов — он был барин истинный, и поэтому он не был одет так, как этот. Он был одет как барин, одним словом, как человек, который напоминает джентльмена английского... Говорят: что такое джентльмен? Это человек, который надевает иногда совершенно несвежий уже, грязный воротничок, но который всегда кажется, что он в самом безукоризненном чистом воротничке. И потом, он умел носить одежду. И вот, по-моему, Философов... был одет не так блестяще, как этот, но, по-видимому, более солидно, так сказать... Он умел, умел носить свою одежду, и более, может быть, скромную. Он был барин, барин-барин. Вот. Чувствовалось во всем. И как барин он, конечно, не утруждал себя тем, чтобы иметь какое-то выработанное мировоззрение, написать какую-нибудь книгу, требующую...

Д: ...труда большого.

Б: Да. Этого нет. Но он был умен, очень образован, и, когда он говорил (я, правда, слышал его только один раз, в прениях, потому что он докладов не делал), он говорил очень умно и кстати.

Д: А Мережковский скорей не барин, а из купчиков, да?

Б: Даже не из купчиков. Вот кто был из купчиков... это... которого я тоже знал хорошо... поэт... сейчас-сейчас-сейчас, как его... Он так одно время блистал как поэт...

Д: Рукавишников?

Б: Рукавишников! Да-да, Иван Рукавишников. Онто был из купчиков, действительно, из очень крупных купчиков, чуть ли не миллионеры были его родители, может быть, даже деды были, я уж не знаю. А Ме-

режковский был, я бы сказал, скорее плюгавый интеллигент. Плюгавый интеллигент.

Д: Я... Простите, я уж не хочу сам занимать пленку, но мне хочется у Вас проверить. Я вот в лекциях, честно говоря, их давал сатирически... Есть такая книжка, кажется венгеровская, дореволюционная, — «Русские писатели XIX века»[41]. И там портреты.

Б: Это какого времени издание?

Д: 10-й год, что-то в таком роде. Вот так. И портреты там: тут и Мережковский, тут и Скиталец... Ну, Зинаида Гиппиус там великолепной такой рюмочкой в белом платье, вот очень соответствует Вашему этому образу. А Мережковский как-то... эта фальшивость их... Я читал-то его много, но я его не люблю. И он так, значит, сидит... с бороденкой такой...

Б: С бороденкой, да.

Д: ...в глубоком кресле, глубокомысленно так, немножко по-чеховски и явно позирует...

Б: Позирует, позирует.

Д: И тут стеллажи с дорогими книгами, видны золоченые корешки, старые, а часть стены свободной... так, судя по его фигуре... в пропорции... вот такой величины крест, причем, во-первых, крест католический...

Б: Да, это был...

Д: ...а во-вторых, меня поразила такая деталь, бытовая, которая вообще-то для религиозного человека странная: этот крест как-то укреплен на стене, но вот опирается на розетку электрического звонка.

Б: Да, это малоуместная вещь.

Д: Понимаете? А электрический звонок в то время — это предмет комфорта.

Б: Да-да-да.

Д: Это звонок, которым вызывают горничную. И вот, понимаете... эта область комфорта и житейского, и душевного, и самодовольства, вот как-то мне очень запомнилась. Это верно, да?

Б: Это верно.

Д: Это соответствует Вашему впечатлению от живого Мережковского?

Б: Да. Да. Он тоже позировал, позировал. И он все время, так сказать, подчеркивал свою личность и свою роль, когда выступал по какому бы то ни было вопросу. Касался вопрос, скажем, Толстого — он что-

то сказал о Толстом, очень, так сказать, похвальное о Льве Николаевиче Толстом, а потом прибавил: «Я имею право это говорить, потому что в свое время я очень много полемизировал с Львом Николаевичем еще во время его жизни». Ну для чего это нужно было, что он, мол, полемизировал, — «честь»... Вот.

Д: Вы какой-нибудь его доклад слышали?

Б: Доклада специального он не читал тогда, когда я там бывал, но по каждому докладу он считал обязательным выступить. Как лидер. Вот. Нужно сказать, что выступления его были неинтересные. В том же все духе, как он и писал. Нужно сказать, в то время такой живой фигурой был Александр Александрович Мейер. Это бывший социал-демократ, который потом стал религиозным идеалистом. Он немецкого происхождения. Был он в то время профессором Лесгафтского института. Он читал там исторические курсы.

Д: Лесгафта — это институт физкультуры?

Б: Да. (*Смеется.*) Но тогда там, например, философия преподавалась и так далее. И вот там преподавал Мейер и пользовался очень большим успехом и влиянием среди слушателей. Вообще фигура эта была замечательная. Замечательная. И как человек он был исключительный. Он и красив был очень. Очень красив. Прекрасная у него была, ассирийского типа, седоватая борода, великолепные глаза и так далее и так далее.

Официально я даже, собственно, по его делу сел, хотя это было официально, потому что на самом деле я этой ориентации не придерживался. Но знал его очень хорошо, и он бывал у меня (я у него — никогда), но я не разделял его взглядов. Но это официально: надо было к чему-то пристегнуть — так пристегнули [42]. Вообще тогда, ведь знаете, особенно не заботились о правдоподобии.

Ну вот, он выступал. Он занимал самые резкие, радикальные позиции. Он, например, считал (это было еще до Октября, но уже после Февраля), что революцию нужно углубить, надо сделать революцией социальной. Одним словом, до дна надо углубить революцию [43].

Д: Став уже идеалистом-религиозником, да?

Б: Уже став.

Д: Но ведь у Белого такая же была позиция. Ведь он же тоже... он написал поэму «Христос воскрес» и... [44].

Б: Ну да, одно время у него была такая же позиция, конечно.

Д: И вместе с тем его считали большевиком, хотя он им никогда не был.

Б: Нет, этого большевиком не считали, хотя... Н-да, у него... Он создал свой кружок, свое общество, потом, после уже революции, после того как Религиозно-философское общество кончило свое существование, то существовало, ну, подпольное, что ли, если хотите, общество, созданное им самим. Туда входила молодежь по преимуществу. И вот там, на одном собрании, мне рассказывали (я там не бывал, я говорил, что я не разделял его воззрений), вот... на одном из собраний ставили вопрос: «Ну, как бы, если бы на наших собраниях побывал Владимир Ильич Ленин, как бы он к нему отнесся?» И вот пришли они к выводу, что он отнесся бы к ним положительно. Он сумел бы понять их прогрессивность и так далее. Но это, конечно, было очень наивно, очень наивно...

Д: Они считали себя революционерами?

Б: Да, считали себя революционерами, только революционерами, не признающими насилия. Правда, они признавали революционное насилие, но в какой-то особой, оговорочной форме, я уж сейчас не помню. У Александра Александровича Мейера — это был добрейший, чистейший человек, который, конечно, мухи никогда не обидел, — какая-то была формула, не то что оправдывающая насилие, но как-то...

Д: ...как-то примиряющаяся...

Б: Да, примиряющаяся с насилием, с революционным насилием.

Д: Понятно. Вернемся немножко еще вот к чете. А Вы ни разу не слышали, как Мережковский или Зинаида Николаевна Гиппиус читали стихи?

Б: Стихи — нет. Нет, не слышал.

Д: А вообще как... Зинаида Николаевна выступала?

Б: Нет, Зинаида Николаевна при мне ни разу не выступала. Она только красовалась, только красовалась. Да.

Д: Ну и, значит, сейчас у Вас получилась такая галерея символистов, которая, конечно, будет неполной без Блока.

Б: Без Блока, да... Но тут, видите... Блока я почти не знал лично. Я слышал, видел его, и несколько раз. Слышал я его два раза, его выступление, то есть не выступление, а чтение стихов. Вот. У нас были общие знакомые, общие друзья.

Д: Кто? Вы знали Евгения Павловича Иванова?

Б: Да, я его хорошо знал. Последние годы нашего пребывания в Ленинграде он был завсегдатаем у нас дома [45].

Д: Ну он же был близким другом Блока.

Б: И вот он стал нашим близким другом и называл себя «Ваш рыжебородый друг». У него была борода рыжая.

Д: Светлая такая.

Б: Да. Вообще красотой он, конечно, никак не блистал, никак. И лицо у него было, если посмотреть так, тупое лицо.

Д: Да. Так как я ничего не знал, кто это такой, то без всякого интереса пришел однажды на его доклад. Потом он, бедняга, продавал в Литературный музей альбомы настриженные.

Б: Да-да-да, ему было очень тяжело и трудно. Тяжело.

Д: Бонч ему платил гроши. И вот я его в качестве такого архивного сдатчика только и встречал. И только много позже я узнал, что это примечательная личность.

Б: Да, это замечательная была личность, конечно. Но вид у него, лицо было у него тупого человека. Да и речь у него была косноязычная, то есть почти в буквальном смысле косноязычная. Он не мог говорить, он проглатывал звуки, отдельные звуки, по-моему, не произносил.

Д: И как он Вам давал Блока? И что Вы сами к этому... по Вашим впечатлениям, могли бы прибавить или поправить?.. Переписка есть у него — это я знаю.

Б: Да. Мне очень трудно, конечно, дать такую формулировку: я слишком мало знал Блока. Но как поэта я его очень любил, очень любил как поэта.

Д: Ведь кто любил Брюсова... Ведь Брюсов и Блок в какой-то степени были полюсами в символизме.

Б: Да, в какой-то степени. Вы знаете, все-таки тут преувеличивают. У нас вообще любят все сталкивать и все превращать в какие-то крайности, противоположности и так далее. Это не совсем так. И все-таки нельзя, так сказать, оторвать от символизма ни Брюсова, зачинателя его, ни Блока, который был гораздо моложе его, уже второе поколение символистов, ни Вячеслава Иванова. Все-таки, если хотите, душа у них была одна, и никакой здесь какой-то противоположности не было. Они были в одном лагере, в глубоком смысле этого слова. В одном лагере. Даже, может быть, и должна быть многоголосость. Многоголосость должна быть — и она была. И в этом сила как раз, в этом сила, что в пределах вот... могли развиваться очень разные дарования и очень разные мировоззрения.

Следовательно — Блок. Он производил довольно сильное впечатление. То есть как? Он был довольно красив, красив был безусловно, да, строен был. Дальше. Он прекрасно читал свои стихи, хотя у него была совершенно... Он их не декламировал, он их читал, и читал по-своему. Когда-то я умел ему подражать, читать так же, как он, то есть...

Д: Умели?

Б: Нарочито, да. Но сейчас я уже не могу.

Д: Сейчас не можете?

Б: Сейчас уже не могу. Да... Вот... Теперь... Сразу чувствовалось как-то, что человек необычный и, так сказать, сделан не из того теста, из которого мы, грешные, сделаны. В нем чувствовалась какая-то возвышенность и... ну, что он — как сказать — приподнят, так сказать, над всем этим... И вот такое, надо сказать, впечатление у меня создалось. Он приподнят был даже над самим собой. Так сказать, был Блок — это лучший Блок — в поэзии, и не во всей поэзии. И потом был Блок — человек, который якшался черт знает с кем и черт знает с чем. Все его увлечение большевистской революцией, вся эта его ахинея вокруг темы: интеллигенция русская, отрыв от народа, интеллигенция и народ, интеллигенция и революция — все это, конечно, был тот Блок, над которым он сам подымался в те прекрасные минуты, когда он действительно творил, когда он был выше всего этого, — он был над Блоком. И вообще это сразу чувствова-

лось: вот человек — и вот над ним есть что-то такое очень высокое... Ну, не всегда. Ему можно было сидеть в кресле где-то, или ходить, или читать стихи, глядеть в глаза публики, какое он впечатление производит... Все это казалось в чем-то не всем Блоком, и не главным Блоком. Но что же, в конце концов, он должен все-таки иметь какое-то тело, какое-то социальное положение, должен что-то делать, одеваться должен и так далее. Он, когда я его видел, — он был одет в какой-то блузе, блуза была такая, знаете, как носили... поэты, да, поэты. Это из Франции пришла блуза. Когда-то носили ее революционеры первой революции, а потом поэты носили, писатели носили.

Д: И вот это чувствовалось, да?

Б: И это чувствовалось.

Д: Михаил Михайлович, ну, а Вы все-таки лично, Вы что же, «Двенадцать» расцениваете отрицательно, исходя из того, что Вы сказали сейчас? Я просто логически...

Б: Я оцениваю так: это, конечно, произведение изумительное, по таланту и по тому, как он показал революцию. Вот эта вот вся его такая изобразительная сторона — она очень сильна. Я это время помню и вот этот заснеженный Петербург, с его выстрелами, которые всюду... Идешь по улице, по тому же по Невскому, ночью — мрак, какие-то фигуры появляются странные и так далее, выстрелы — палили черт его знает почему, для чего палили... Вот. И все это как-то удалось ему передать. И вот эти разговоры, и обывательские, и не обывательские, которые он передает вначале, — это великолепно! Великолепно! Эта старушка, эта барыня, и проститутка, и... «должно быть, писатель, вития» и прочее и прочее... Все это великолепно, конечно! И все это, разумеется, в какой-то мере иронично. Иронично. Ну и, конечно, ироничны (но только ирония тут, можно сказать, уже имеет иной смысл), ироничны эти двенадцать красногвардейцев. И они как бы иронически поданы. Думать, что они изображены совершенно положительно: вот, это двенадцать апостолов, которые шли за Христом... Да! Но это подано и вся ситуация эта подана у него иронически. Я бы сказал, и Христос у него чуть-чуть... несмотря на прекрасный образ стихотворный... «И над вьюгой...» Как там?

Д:

Впереди с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим...

Б:

Снежной поступью жемчужной...

Д: Нет — «...надвьюжной».

(*Оба хором.*)

Нежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди Исус Христос.

Б: Это великолепно! И тем не менее в целом вся картина, которая задает тон иронический... вот ведь: тона изображения общества того времени, разноголосица того времени — все это в целом все же в какой-то мере оговорено иронически, не до конца... Ну, одним словом, в этом отношении это и сам Блок — таков вот он был, вот, я говорю, был Блок и был «над Блоком».

Д: Ну, а вот «над Блоком»... Вы что, считаете, что, скажем, первый том — «над Блоком», как считает, скажем, Пяст и многие другие?

Б: Первый?

Д: Первый том, то есть «Стихи о Прекрасной Даме».

Б: Нет, нет, нет, во всем его творчестве, и в зрелом творчестве, — всюду есть этот «над-Блок», а есть и не «над-Блок». Есть Блок — поэт, символист, поэт-символист, потом, правда, так сказать, ренегат символизма, если хотите...

Д: А потом:

Таращил сочувственно с крыши...
Глазищи обмызганный кот...
...Ты думаешь: тоже свидетель?
Но он не ответит тебе.
В такой же гульбе
Его добродетель [46].

Б: Да.

Д: Автоирония. Как раз статья об иронии — великолепная статья [47].

Б: Да. Ну, он иронию-то знал и понимал.

Д: Так что Вы как поэта его знали и любили?

Б: Знал и любил. Очень многое знал наизусть. Сейчас у меня просто память никуда не годная. Я почти все знал наизусть, почти всего Блока, как и всего Вячеслава Иванова. Вот. А потом, ну, было вот в Блоке-то... человеке, что ли, одним словом, не в том высоком Блоке, который создал великие вещи, было многое такое... отчасти это и вытекало из того, что он не совпадал сам с собой, что он был выше себя... вот это его такое... ну, ренегатство. Ведь он же в какой-то мере был ренегатом и символизма, если можно тут применить слово «символизм», и ренегатом русской интеллигенции...

Д: Слово «ренегат» не совсем подходит.

Б: ...одно время он открещивался от русской интеллигенции...

Д: Все-таки слово «ренегат», мне кажется, сюда не подходит.

Б: Да, пожалуй, сюда не подходит, не подходит.

Д: Тут есть все-таки, так сказать, какое-то совершенно искреннее метание.

Б: Это искреннее было метание, но ведь ренегаты бывают искренни. Да. Искренние метания.

Д: «Ренегат» — что-то все-таки... в слове этом есть оттенок предательства.

Б: Ну да, ну да...

Д: И Вы это чувствовали в нем?.. Ну и что же?.. Да, скажите мне, пожалуйста, какие вот, по-вашему, вещи, которые для Вас кажутся наиболее великолепными с точки зрения «над Блоком»?

Б: «Над Блоком»? Да... Вы знаете, это очень трудно сказать, потому что таких вещей множество, множество... Вот давайте вспоминать с Вами. Прежде всего «Незнакомка». «Незнакомка» — это раннее его произведение, сравнительно раннее...

Д: Это 906-й год.

Б: Он читал его еще на «башне» Вячеслава Иванова, была знаменитая «башня» Вячеслава Иванова. На «башне» самой я не был, потому что тогда там уже неизвестно кто жил, но я близко живал около нее и часто видел, ходил: проходил и вспоминал эту «башню» [48]. И целый ряд других произведений замечательных. Прежде всего его произведения, связанные с поэтическим творчеством, — «К музе»: «Есть

в напевах твоих сокровенных...» Изумительное произведение, изумительное!

Д: А как Вы понимаете там образ — инфернальный?

Б: Да, инфернальный, и...

Д:

Над тобой загорается вдруг

(*хором*)

Тот неяркий пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Б: Ну, видите, «когда-то мной виденный круг» можно понимать так... во-первых, это то, что он сам был причастен к этой инфернальности, а потом, этот «пурпурово-серый и когда-то мной виденный круг» — «пурпурово-серый» — это ведь тона Врубеля. А он был поклонником страстным Врубеля.

Д: Я представляю себе, что круг — это отсвет дантовского ада. Отсвет ада.

Б: Ада, ада, да, как, впрочем, и... вот демоны и демонизм у Врубеля. Он был страстным поклонником Врубеля. И даже вот в этой речи 12-го года, когда он, так сказать, отрекался от символизма...

Д: И «лиловые миры» в символизме...

Б: Да. Вот-вот, да. В то же время в этой же речи он говорил: «Мир твоей славной страдальческой тени, бессмертный Врубель» [49]. Это его слова были.

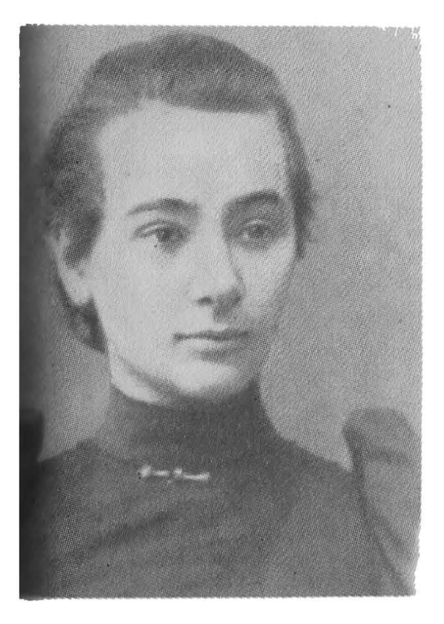
Д: Ну, а такие вещи, как «Итальянские стихи», «Равенна»?

Б: Великолепны! «Равенна» великолепна! Все итальянские стихи хороши. «Равенну» я люблю больше всего. Затем, вот это стихотворение, тоже на тему творчества: «В жаркое лето и в зиму метельную...» Знаете, конечно?

Д: Да. Наизусть не помню.

Б: Это прекрасные стихи, прекрасные.

Д: А Вы не считаете... Я просто не удержался от соблазна с Вами поговорить. Это страшно же интересно. Вы не считаете так, на полном серьезе, не в ругательство, что у Блока наряду с трагизмом, высоким трагизмом, есть декадентство, то есть опустошенность? Вот «Страшный мир» — высокий трагизм...



Варвара Захаровна Бахтина (мать)



Михаил Николаевич Бахтин (отец)

МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1895 ГОДЪ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РОДИВШИХСЯ

Лист метрической книги на 1895 год с записью о рождении М.М. Бахтина



Варвара Захаровна и Павел Николаевич Бахтин
(дядя и крестный отец М.М. Бахтина)



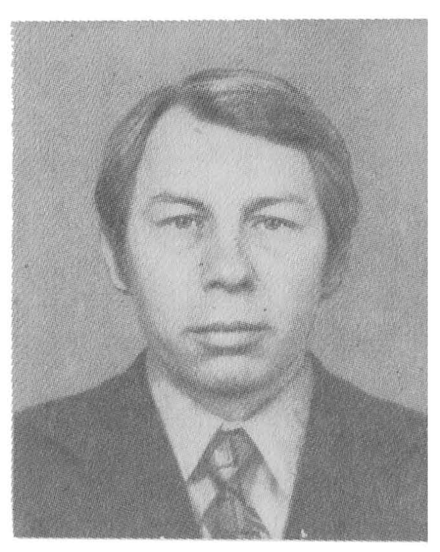
Семья Бахтиных: в центре Варвара Захаровна, слева от нее Мария, старшая сестра; справа — Нина Сергеевна Борщевская (Барщевская), приемная дочь Бахтиных. Стоят: слева — Наталья, младшая сестра; справа — Екатерина



Наталья Михайловна Бахтина, в замужестве Перфильева (слева) и двоюродная сестра М.М. Бахтина Елизавета Тихоновна Ситникова



Николай Павлович Перфильев — муж Натальи Михайловны (младшей сестры М.М. Бахтина)



Андрей Николаевич Перфильев (р. 1936) — сын Натальи Михайловны и Николая Павловича, племянник М.М. Бахтина

Орел. Гостинная улица

М.М. Бахтин.
Невель, 1919 г.
(фрагмент
групповой
фотографии)





Николай
Михайлович
Бахтин (брат)
в молодости

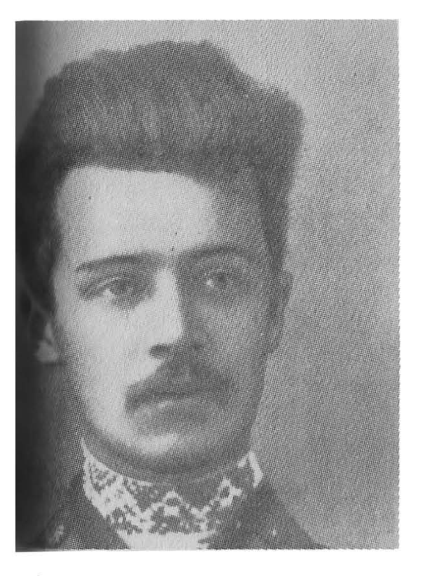


В.Н. Волошинов. Ок. 1913 г.

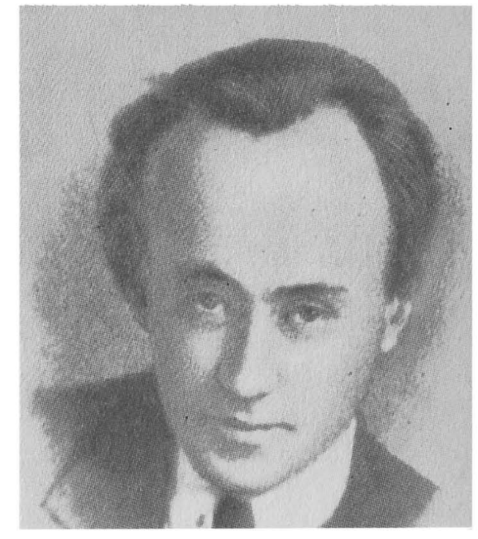
П.Н. Медведев. 1913–1914 гг



Невель. Шоссейная улица, 1902 г.



А.В. Пумпянский. 1912–1913 гг.



М.И. Каган. 1927 г.

Здание бывшей Невельской гимназии. 27 сентября 1995 г. здесь была открыта мемориальная доска: «В этом здании в 1918–1920 гг. работали философы М.М. Бахтин (1895–1975) и М.И. Каган (1889–1937)». Фотография сделана в день открытия доски

Слева направо: М.М. Бахтин, Ян Гутман, И.Н. Гурвич, Л.В. Пумпянский, М.И. Каган. Невель, 1920 г.

Озеро в окрестностях Невеля. Современная фотография



М.М. Бахтин (в центре) среди педагогов и выпускниц Невельской гимназии



В центре группы М.М. Бахтин и Елена Александровна Бахтина вскоре после свадьбы. Витебск, начало 20-х гг.

Слева направо: М.М. Бахтин, Л.В. Пумпянский, далее (в неустановленном порядке) — Слонимский и Горбатский. Невель, 30 июля 1919.

Оборот фотографии с дарственной надписью Л.В. Пумпянского. Фотография публикуется впервые. Оригинал хранится в отделе рукописей РГБ, ф. 527, к. 10, оп. 41, л. 6

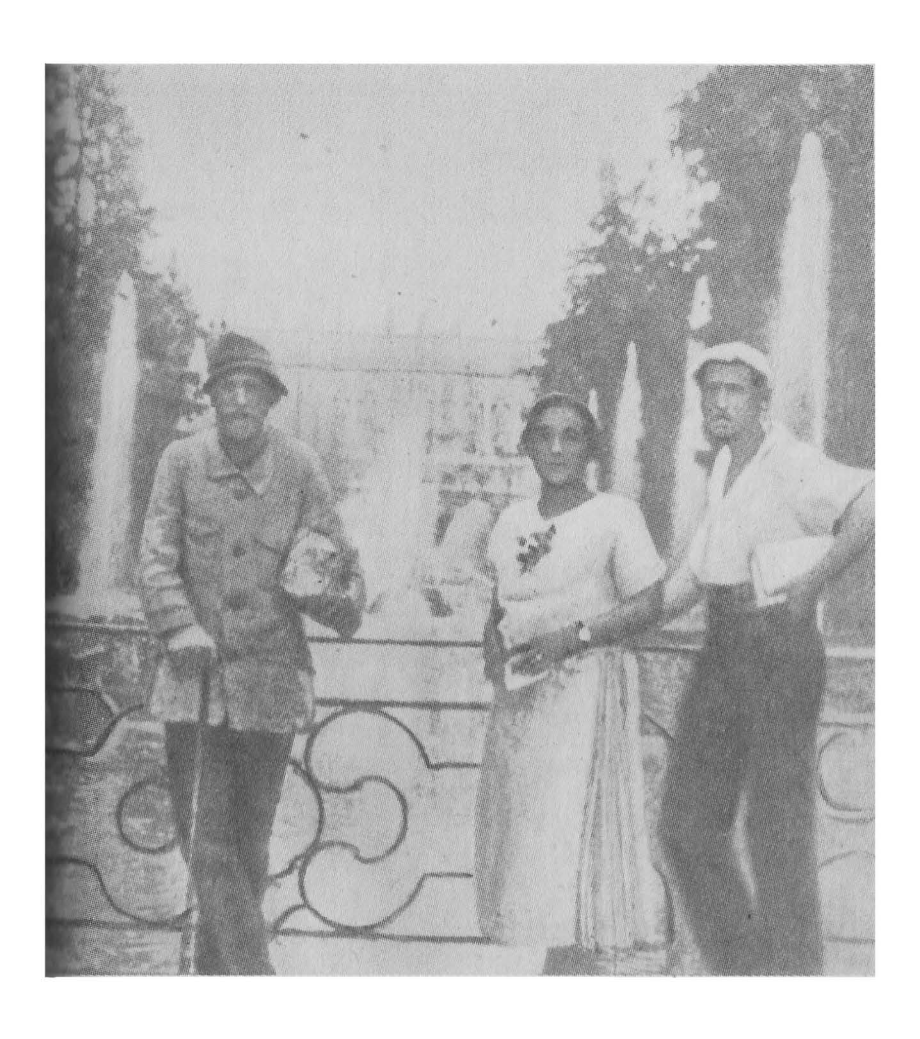


Открытое письмо.

Семья дорогих и уважаемых друзей — память лета 1919, и всех его атрибутов: прогулок (с дождем и без дождя), костров, правоверной философии, греческой философии („циники-мегарики-киренаики-полу-сократики") — также знак любви к Вам и дружбы нижеподписавшихся.

Невель, 30 июля 1919.

Л. Пумпянский

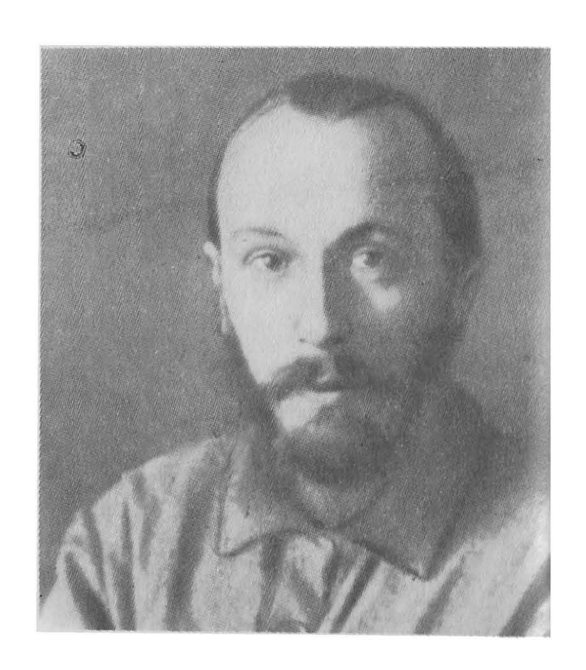


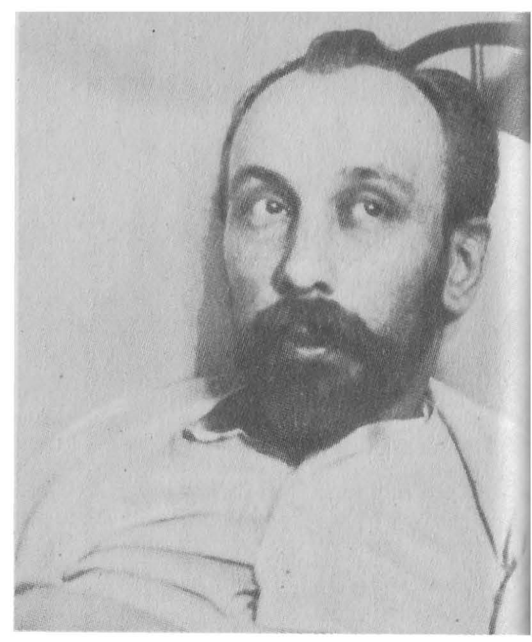
Слева направо сидят: М.М. Бахтин, М.В. Юдина, И.И. Канаев, Л.В. Пумпянский, П.Н. Медведев. Стоят: Н. А. Волошинова (жена В.Н. Волошинова), Е.А. Бахтина, неустановленное лицо. Ленинград, зима 1924–1925 гг.

Слева направо: М.М. Бахтин, Е.А. Канаева /?/, В.З. Ругевич, Е.А. Бахтина, А.С. Ругевич. Петергоф, лето 1925 (из архива И.И. Канаева)

Слева направо: М.М. Бахтин, А.С. и В.З. Ругевичи. Петергоф, лето 1925 г.

М.М. Бахтин.
1925 г.





М.М. Бахтин больной перед самым отъездом в Кустанай. Март 1930 г. Фото И.И. Канаева.

Б: Да.

Д: А вот какая-нибудь, понимаете...

> Пристал ко мне нищий дурак, — из того же цикла, —
> Идет по пятам как знакомый.
> «Где деньги твои?» — «Снес в кабак».
> «Где сердце?» — «Закинуто в омут»:

Помните?

Б: Да.

Д: Вот. И что в этом есть... я подкрепляю эту мысль признанием Блока: «Драма моего миросозерцания...» — в скобках: «До трагедии я не дорос» [50]. Вы как думаете?

Б: Да, это, видите ли, так. Нет, я считаю так, что известная вот опустошенность в нем была. Но, если хотите, такая известная опустошенность есть во всяком поэте. Человек, который не знает пустоты и никак, ни с какого конца, не причастен хоть немного к пустоте, не может понять и той полноты, которая необходима для поэта. Вот.

> Мира восторг беспредельный сердцу певучему дан...

Вот для того, чтобы этот «восторг беспредельный сердцу певучему» был дан, только такому сердцу, которое...

Д: То есть Вы тут грани не проводите между трагосом, так сказать, истинным... трагическое — это ведь все-таки есть катарсис, а вот такая его опустошенность...

Б: Видите ли, в чем дело. Тут слово «трагический»... Мы сейчас им очень, я бы сказал, злоупотребляем.

Д: Мы его слишком снизили.

Б: Трагедия... Нет. Трагедия, чистая трагедия, как ее создала античность, трагедия Эсхила, трагедия Софокла и даже трагедия Еврипида, — в сущности, она наивна, наивна. Они слишком мало соприкасались с пустотой, они мало видели и знали страшного, да и не могли его знать. Не могли его знать. Вот. Это были, несмотря на свою исключительную силу и высоту, в сущности, дети, и отчасти в этом была сила их. Вот. А наша трагедия, она не может быть такой чистой трагедией...

Д: Страшнее.

Б: Да. Она вся пронизана вот этим и ощущением пустоты, и, более того, оно неотделимо от элементов комедии [51]. Комедии.

Д: Ну, эта Ваша идея в «Рабле»... буффонады.

Б: Буффонады, буффонады, конечно...

Д: Простите, я уж из своей области: мистерия-буфф...

Б: Да, вот, если хотите. Да, да.

Д: Наиболее так полно.

Б: Да. Да. И вот я считаю тоже, что, в конце концов, если брать широко, то к этому же миру — миру, к которому принадлежал Блок, Брюсов, Бальмонт еще, Белый, Вячеслав Иванов, — в какой-то мере принадлежит еще и... но не полностью... Маяковский. Маяковский. Но Маяковский уже, во всяком случае в части своего творчества, этому миру изменил и стал, в сущности, ренегатом. И при жизни ведь его очень многие ненавидели как ренегата, потому что, действительно, он делал очень некрасивые вещи. Это же Вы знаете, что некоторые ему руки не подавали... Маяковскому.

Д: Блоку тоже руки не подавали.

Б: Да, тоже не подавали, но так это было... несколько иной характер. Там это было... Да, но... в какой-то мере, я и говорю, ренегатство было ему свойственно. Я и говорю...

Д: К Маяковскому мы еще вернемся в связи с Вашими встречами. А здесь вот тот остаточек, который остался... Великолепно сейчас получился целый образ символизма. И как будто бы весь символизм взяли.

Б: Весь символизм.

Д: Плюс еще... Ходасевича.

Б: Ходасевича, да... Анненского. Я очень любил Анненского, очень любил Анненского и до сих пор его люблю.

Д: Да, но Вы не встречались с ним?

Б: Нет, я встречаться с ним не мог, потому что он же умер в 9-м году. Я встречался с людьми, которые его близко знали, с его учениками по Царскосельской гимназии.

Д: Учеников по Царскосельской гимназии? А брата его не знали?

Б: Нет, я его не знал, он же был, собственно, другого круга и другого мира. Это был политик такой,

интеллигент либерального типа, политик Николай Анненский. Я его не знал.

Д: А с Гумилевым и Анной Андреевной Вы встречались?

Б: С Гумилевым — да, конечно. С Гумилевым я встречался. Правда, я другом его не был никогда и не мог быть, но я его видел много раз. Я любил его поэзию. Правда, конечно, я не считал его равным... таким, как Вячеслав Иванов, как Блок, нет, но тем не менее любил его поэзию. Ну, а потом уже, его позднюю поэзию, я и сейчас ценю высоко. И личность у него была интересная, незаурядная. Но у него не было глубины и не чувствовалось. Он и не стремился к глубине, быть глубоким, вовсе нет, он не к этому стремился. Но ярким он хотел быть.

Д: Ярким?

Б: Ярким, да. Ярким.

Д: А внешне был тоже, кажется, тоже довольно плюгавым, да?

Б: Нет, внешне он был высокий, стройный и какой-то узкий. Я бы сказал так, вот у меня тоже впечатление: он был немного похож на Рильке, вот такого же стиля, типа наружность была. Но только у Рильке такие глаза уж очень кроткие, мирные, а у него были глаза — более мужественные. Вообще он был мужественный человек. И мужественность свою он ценил. И вообще, мужественность он любил. Он оказался великолепным военным, чудесным. Раньше он совершал путешествия, подвергаясь всевозможным опасностям. Одно время он, как и многие, впрочем, тогда, искал опасности, считая, что самое приятное, так сказать, вот...

Д:

> ...Временами к нам подходили львы.
> Но трусливых душ не было меж нас,
> Мы стреляли в них, целясь между глаз... [52]

Тут есть червоточинка. Вы не чувствовали?.. А позером он не был, по-вашему? Позы у него не было?

Б: Да, если хотите, была поза. Но его смелость, его любовь к войне и к военной опасности была совершенно искренна. Можно сказать, он был влюблен в войну, влюблен в войну. Он считал, что вот — он не жил, в сущности, до войны. И путешествия, и все

это — чепуха. Любовь — все это чепуха! Вот война! Вот!

Д:

> Мы четвертый день наступаем,
>
> (*хором*)
>
> Мы не ели четыре дня...
> Нам не надо яства земного
> В этот светлый и страстный час,
> Потому что Господне слово
> Лучше хлеба питает нас.
> И залитые кровью недели
> Ослепительны и легки... [53]

Б: Ведь, между прочим, все стихи о войне, которые писали... ведь все тогда поэты писали... все они казенные... А?

Д: Очень плохие.

Б: Очень плохие. Казенные стихи.

Д: Хуже, чем в нашу войну.

Б: Ну конечно, хуже еще. Вымученные. Потому что это писали люди, в сущности... не любившие, не понимавшие войну. Их трудно представить себе... Ну что бы делал на войне, скажем, какой-нибудь Мережковский? Ну Блок... Блок был человек тоже смелый, мы знаем, он был смелый человек. Но на фронте он не был, но около фронта был и так далее, пуль он не боялся, во всяком случае.

Д: Вообще поразительное дело: в эту, в нашу войну, в последнюю войну, очень небольшие, слабенькие поэты, ну, Сурков, Симонов — писали...

Б: Ну, это казенщина!

Д: Но писали сильные стихи все-таки.

Б: Ну да, ну как они там...

Д: А там блестящие поэты...

Б: Но писали скучные, казенные, мертвые стихи.

Д: Брюсов, например, очень плохо писал.

Б: Очень плохо писал, как и революционные стихи у него тоже очень плохо. Он их писал еще в 905-м году. Никуда не годные стихи.

Д: А Вы слышали Гумилева читающим?

Б: Читающим? Нет, читающим я его не слышал.

Д: Он заикался?

Б: По-моему, немножко, но очень мало.

Д: Зенкевич сказал: «Он ведь заикой был».

Б: Нет, это преувеличение Зенкевича, преувеличение. Заикой он, конечно, не был, но мастером чтения, по-моему, он тоже не был.

Д: А Вам доводилось... читающим его...

Б: Нет, читающим я его ни разу не слышал.

Д: А где Вы его встречали?

Б: Прежде всего я его встречал... я сейчас даже не помню точно... в каком-то обществе. Но тогда я с ним не был знаком, просто видел его. А потом я с ним познакомился в Религиозно-философском обществе. Правда, один раз я там его увидел, перед самой войной, то есть перед самым его вступлением в армию. А потом второй раз я его видел, вот... когда он приезжал с фронта на краткую побывку. И тоже пришел в Религиозно-философское общество. Он был тогда уже в форме, офицер... гвардеец... гвардейцы... Еще... как-то называлось тогда?.. Череп и кости у него были на погонах... Легионы смерти, кажется. Гусар! Гусар! Во всяком случае, он был тогда великолепен! Я как раз, помню, стоял чуть ли не с Ахматовой, на площадке следующего этажа, курили. Надо было уходить курить, мы поднимались на лестницу несколько выше второго этажа, потому что нам-то был предоставлен, этому обществу, второй этаж, а площадка была между этажами... Вот там стояли и курили. И вот кто-то воскликнул, по-моему, Анна Ахматова: «Гумилев здесь!» — и вспорхнула, буквально вспорхнула, как птичка, вниз. Я тогда пошел тоже следом и увидел: стоит у стола действительно военная фигура, прекрасная фигура. Это был Гумилев. Великолепный! Великолепный Гумилев!

Я тогда понял, что действительно этот человек, в сущности, был рожден для того, чтобы быть военным. Хотя ему военным пришлось быть очень недолго. Ведь он заработал все-таки, несмотря на то что служил очень недолго, — он заработал два Георгиевских креста. В то время Георгиевский крест — это... нелегко было... тогда по блату наград не давали. Это все вздор, что там говорят и пишут. У нас нашим всем наградам грош цена. Я очень многих знаю, которые работали приказистами, так сказать, приказы писали, из интеллигенции, и как они составляли эти приказы по приказу начальства, не отвечавшие никакой действительности, но за которые потом получали ордена. А тогда

было очень нелегко заработать. А он — два Георгия... Хотя ранен не был. Он даже как-то пишет:

Но святой Георгий

(*хором*)

тронул дважды
Пулею не тронутую грудь... [54]

Д: Да, это «Огненный столп».

Б: Ну, я вижу, что Вы очень хорошо знаете поэзию...

Д: Поэзию знаю.

Б: ...да, и не только очень далекую, так сказать, от...

Д: Знаю. Вот. Ну... Приятно слышать, что это чувствуется.

Сейчас мы заканчиваем, заканчивается пленка, и истекает мое время. Но мы с Вами не кончили. Теперь в следующий раз мы начинаем с Ахматовой и уходим вообще уже в советское время.

Б: Уже да, в советское время, но там будет сравнительно очень мало. Я хотел еще рассказать кое-что о каких-то явлениях таких интересных: о салонах, которые тогда еще доживали свой век.

Д: Очень хорошо. Вы прекрасно даете атмосферу. Атмосферу. Ну, а на сегодня заканчиваем. Выключаю.

ТРЕТЬЯ БЕСЕДА — 8 МАРТА 1973 ГОДА

Д: Прошу Вас, Михаил Михайлович. Значит, мы с Вами остановились на Гумилеве. Ну, давайте поговорим об Ахматовой.

Б: Об Ахматовой, да. Вот... относительно Анны Ахматовой. Анну Ахматову я знал как человека, лично, очень немного. Я ее встречал несколько раз. Один раз только с нею беседовал, и наша беседа была не особенно интересна. Более того, мне показалось, что вообще она как-то вот на такие вопросы, выходящие за пределы узкого и преимущественно любовного быта, — она не особенно любила разговаривать. Тогда, в те времена. Это было, конечно, очень давно, и после этого она сильно изменилась.

Как Вы знаете, у ранней Ахматовой моментов таких философских, что ли, в стихах почти совершенно не было, совершенно. Это была лирика, чисто интимная лирика, чисто женская лирика. Это, конечно, не мешало тому, что это была в художественном отношении, конечно, довольно высокая уже лирика. Но ставить вот такие общие вопросы... глубины большой в этот период ранний, когда я ее узнал, у нее не было в стихах. Не было ее и в жизни, как мне показалось. Ее интересовали люди. Но людей она как-то ощущала именно... по-женски, как женщина ощущает мужчину. Так ощущала: все люди делились на интересных и на неинтересных. Чисто женский подход. Ну и поэтому мне она лично не особенно понравилась.

Кроме того, я заметил в ней известную заносчивость. Она, так сказать, немножко сверху вниз смотрела на обыкновенных людей. Это потом я уже слышал от других, которые имели с ней дело, уже и в старости ее эта заносчивость в ней осталась, даже приняла крайние формы, крайние формы: когда, например, приезжали к ней из редакции, работники редакции, то она даже и не отвечала на поклон, не сажала их. Они стояли перед ней, она, не глядя на них, делала соответствующие там заметки, соглашалась

или не соглашалась с редакционными замечаниями, но, повторяю, совершенно не принимала их как людей. Вот. Это в ней было. Может быть, конечно, кто же знает, какие те воспоминания, они же очень так... случайные и субъективные. Может быть, они приходили, когда она была в плохом состоянии: ведь ее травили, все время, до последних дней ведь ее травили. И вот она была, может, как раз в тот момент, когда эта травля особенно сильно ощущалась... Но нужно сказать, что я и от других слышал, от очень многих слышал вот об ее такой заносчивости и даже некоторой грубости, я бы сказал.

Д: Дома, при приеме людей, приходящих по делу?

Б: Да, по делу и обыкновенных. А с людьми, которых она считала более-менее выдающимися...

Д: Своего круга.

Б: Да, и своего круга, она была, конечно, другой. Это свойственно очень многим людям. Еще Гоголь прекрасно отмечал, как меняется человек в зависимости от того, с кем он говорит: с низшими или высшими. Но очень хорошо это в первый раз дал в книге о снобах Теккерей, где был изображен сноб. Вот он говорит так — это с лавочником... Говорит вот так — это он говорит с лордом с каким-нибудь... (*Бахтин говорит изображая: в первом случае свысока, во втором — подобострастно.*) Тогда, одним словом, совершенно преображается человек вот тут же, глядит ли он направо или глядит налево, — преображается его лицо всякий раз.

Д: Выходит, что сноб родственен чиновнику?

Б: Сноб? Нет.

Д: Получается, что... Это чиновник... только там ниже и выше диктуется табелью о рангах.

Б: Да, да, там это диктуется общим положением человека, да. Но вообще сноб, он не просто чиновник, он... не только в этом отношении к высшим и низшим определяется его снобизм. Но и в решении других вопросов, например в области искусства и так далее. Вот сноб, например, в театре смотрит какую-нибудь новую пьесу. Он не выскажет ничего, он молчит и ждет, когда кто-нибудь выскажется из публики из влиятельных людей. А вот тогда он будет говорить, он схватит мнение одно-другое, примкнет к какому-нибудь из них. Тогда он смело начинает хвалить пьесу

или, напротив, смело начинает ее ругать. Что он сам почувствовал, глядя эту пьесу, — это ему неважно, он себе не доверяет. Ну, вообще, он не существует сам, независимо от общественного мнения, независимо от мнения высокопоставленных в какой-либо области людей: культурной, чисто художественной, музыкальной и так далее. Вот что такое сноб. К сожалению, таких снобов даже больше стало у нас, чем было раньше. Раньше их было меньше, раньше все-таки люди имели самостоятельные мнения и не боялись их высказать. А теперь, конечно же, этого нет.

Д: Ну, в отношении Ахматовой Вы не говорите, что она была сноб?

Б: Нет, она не была снобом. Нет. Только вот эта черта в ней была. Эта черта снобизма у нее была.

Д: То есть вот неравные отношения в поведении с людьми.

Б: Да. И вообще, так сказать, известное пренебрежение к людям, которые ничем себя не проявили в области искусства, литературы, науки, в политике, — к обыкновенным людям, обыкновенным людям. Что же еще я могу о ней сказать? Да больше, собственно...

Д: Нет, ну, а как Вы ее воспринимаете как поэта?

Б: Как поэта? Я очень ценю ее, конечно, как поэта. Ну, сейчас ее произвели в ранг великих поэтов. Я думаю, что это, конечно, преувеличено. У нее слишком все-таки узкий диапазон для великого поэта, узкий, мелкий. Даже вот та же человеческая-то ее натура — она тоже не натура великого человека. Нет.

Д: Ну, человеческая натура, особенно вот у таких нервных людей, у творческих... тем более, Вы очень уместно вспомнили, — человека, которого всю жизнь травили, все-таки она с большим достоинством держалась...

Б: Да, она с достоинством держалась.

Д: Ну, а вот как читатель и как литературовед?.. Вы знаете оценку Эйхенбаума, помните Вы старые его книжки?..

Б: Да. Нет, я ее очень ценю как поэта, безусловно, это была одна из значительных поэтов, значительнейших даже поэтов, своего времени, своего круга.

Д: Вы согласны с тем, что она, как утверждает Эйхенбаум, открыла какую-то, так сказать, новую

страницу... Помните? Ну вот в отношении к слову и так далее... Он пишет об акмеизме в целом, но в основном именно об Ахматовой [1]. Вот я-то как раз не очень согласен.

Б: Нет, это, конечно, он все-таки несколько преувеличивает ее значение. И он подходит к ней, так сказать, с формалистических позиций. Все-таки именно нового слова в поэзии она же не сказала. Новые интонации — есть такие, но специфические, женские. Но нового слова она, конечно, не сказала. Ну, она была хорошим поэтом, прекрасным поэтом. Нужно сказать, что весь этот круг акмеистов, к которому она принадлежала, — это Гумилев...

Д: Мандельштам, Городецкий, Нарбут...

Б: Да, Мандельштама она ценила высоко, я знаю. Городецкого — нет. А вот этот... поэт... Кузмин. Он входил в тот же круг акмеистов. Он, может быть, был наиболее значительным художественно в кругу акмеистов.

Д: Я думал, что Мандельштам все-таки.

Б: Мандельштам — да, тоже, тоже.

Д: А вот если говорить о женской лирике, то есть о том, в чем Ахматова была в своей стихии, то если взять вот три имени... Об одном Вы уже отозвались довольно ядовито... Это Зинаида Николаевна Гиппиус, Ахматова и Марина Цветаева. Кого Вы считаете крупнее как поэтическую личность?

Б: Знаете, пожалуй, Марину Цветаеву.

Д: Я-то не сомневаюсь.

Б: Марину Цветаеву, да. У нее есть именно та глубина, которой нет у...

Д: ...Ахматовой и тем более у Гиппиус.

Б: Ну, Гиппиус — и говорить нечего, да. Гиппиус вся сделана, сделана: и поэзия ее сделана, и сама она сделана. Про Ахматову... Конечно, немножко было там в ней, в ее личности... но поэзия ее все-таки не сделана.

Д: Ведь Вы вообще больше, конечно, по своим связям и симпатиям принадлежали к кругу символистов?

Б: Символистов, символистов. Самым авторитетным для меня поэтом... и не только поэтом, но и мыслителем, и ученым был Вячеслав Иванов, Вячеслав Иванов все-таки. И до сих пор я его очень люблю.

Д: И поэтически любите?

Б: И поэтически очень люблю.

Д: Вот это я не понимаю.

Б: Его поэзия такая, может, не совсем обычная, она такая несколько насыщенная ученостью и так далее, но тем не менее имеет замечательные произведения, замечательные произведения.

Д: Какую книжку его Вы считаете самой значительной?

Б: Самой значительной? «Cor ardens». Два тома [2].

Д: Это как раз я знаю.

Б: Да. Но и первые книги тоже... значительны, и последующие. Правда, я плохо знаком с его творчеством уже заграничным, но машинописный сборник у меня был его стихов. Ну, тут, конечно, чувствуется: уже идет упадок, упадок... Той силы, которая была в его ранних сборниках, в частности в «Cor ardens», уже нет. Так... можно сказать, перепевы тех же мотивов, но уже в несколько ослабленной форме. Но вообще, это очень значительная фигура. У меня был первый том... Сейчас выходит в Бельгии, в Брюсселе, полное собрание сочинений — прекрасно изданное. Ну, пока первый том вышел. И этот первый том мне удалось все-таки достать и прочесть, чтоб познакомиться с ним, но не приобрести. Там очень интересная вступительная статья, подробный рассказ биографический о Вячеславе Иванове, включая последние годы его жизни, его смерть... [3]

Д: Какой год смерти у него?

Б: Кажется, восемьдесят четыре года ему было, когда он умер. Похоронен он в Риме. Незадолго до смерти он был принят Папой, у него была аудиенция у Папы, была беседа. Подробно там передана. Похоронили его на доминиканском кладбище.

Д: Он что, принял католичество?

Б: Нет. Католичества он не принимал. Он занял по отношению к католичеству ту же самую позицию, что Владимир Соловьев. И даже просто сослался вот на этот параллелизм, это определение позиции Владимира Соловьева, им данное, что он, так сказать, не может... при всем своем понимании схизмы восточной... он без всей церкви не может присоединиться к католицизму. Но что он убежден, что рано или поздно это объединение произойдет.

Д: Восточного и западного христианства.

Б: Да. И он только как бы — ну, довременно, довременно уже, это предвидя... идет навстречу, но...

Д: ...но не бросает соборную...

Б: Но не бросает православия, да. Вот то же самое Вячеслав Иванов. Вячеслав Иванов просто был... ну, и по своей жизни близок к католицизму: сколько лет он прожил в католической стране, в Италии, во Франции... Вначале, когда он учился еще... когда он был учеником Моммзена, он был связан с германской культурой и с протестантизмом, очень немного, а потом остальное все время был с католицизмом. Он и преподавал в католических учебных заведениях, в Италии...

Д: Так, Михаил Михайлович, но вернемся вот к акмеистскому кругу. Ваши встречи с Ахматовой были на нейтральной почве, или Вы...?

Б: Нет, на совершенно нейтральной почве, за чашкою чая. По-моему, у Марии Вениаминовны Юдиной.

Д: Ах, даже... Вот видите, попутно и выудил.

Б: Да, но, правда, позже. Это была последняя, вероятно, встреча.

Д: Вы уже тогда с ней были знакомы, да?

Б: С кем?

Д: С Марией Вениаминовной.

Б: Ну! Я был с нею знаком тогда, когда, конечно, Ахматовой еще не...

Д: А, ну хорошо, к этому мы обратимся в заключительной части нашей беседы. А Вы, так сказать, к кругу акмеистическому...

Б: Нет, не принадлежал. Совершенно не принадлежал.

Д: Так что Вы не знали ни Нарбута, ни Зенкевича...

Б: Знал только по имени.

Д: ...ни Сергея Митрофановича Городецкого?

Б: Того я знал, я видел его несколько раз при малоприятных обстоятельствах. Была назначена лекция Бальмонта. Вот. На эту лекцию, значит, публика собралась. Явился и Бальмонт. Явился, сел за кафедру, в руках у него была книга, и он выворачивался-выворачивался, выворачивался-выворачивался, потом он стал валиться на одну сторону.

Д: Это кто? Бальмонт или Сергей Митрофанович?

Б: Бальмонт, Бальмонт. Он был пьян... Совершенно. Он вообще почти всегда бывал пьяноват последние

годы, а вот... был настолько пьян, что стал валиться... И тут появилась длинная фигура этого самого... Городецкого. Он, значит, подхватил его под руку и провел за кулисы. Потом вышел и сказал, что, к сожалению...

Д: ...нездоров...

Б: Да, нездоров и вот, так сказать, лекция отменяется. Про билеты что-то такое, не помню... Вот тогда я его увидел впервые, эту каланчу, каланчу. Но поэзию его я знал довольно хорошо, Городецкого. Ну, он... потом очень резко вообще изменился. Он сыграл роль, как Вы знаете, в биографии Вячеслава Иванова... Тогда, когда Вячеслав Иванов и покойная Аннибал, Зиновьева-Аннибал, были здесь еще.

Д: Это его супруга была, да?

Б: Это была его супруга, да. Это была его вторая супруга. С первой он разошелся. А это вторая его супруга. Они по своим, так сказать, убеждениям, по пониманию любви, считали, что любовь не может ограничиться двумя, что необходим третий, то есть, попросту-напросто, своего рода опять-таки menage en trois. И искали этого третьего. И вот появилась фигура товарища очень молодого, красивого — Городецкого. И они приняли его в качестве третьего. Но из этого ничего не получилось все-таки [4].

Д: У Мережковского получилось, а тут не получилось?

Б: Но Мережковский совсем не хотел такого...

Д: Этого Философова.

Б: Да. Это уж помимо его воли и желания получилось.

Д: Но menage en trois можно построить, знаете, с разными вершинами треугольника. Можно сделать, наоборот, третью женщину... (*Смеется.*)

Б: Да, а вот тут как раз они хотели... Но ничего не получилось. Потом еще один художник должен был тоже войти в этот круг третьим — тоже ничего не получилось. Но потом вскоре, совсем еще молодой, умерла Зиновьева-Аннибал.

Д: И он один потом был, да?

Б: А потом он, конечно, остался один, остался ей верен [5].

Д: Да, но он же... Он, собственно, прошумел в момент зарождения акмеизма... вот этот самый Адам:

Прости, пленительная влага
И мироздания туман...

Помните?

Б: Да.

Д: Это потом было как декларация акмеистов в «Аполлоне».

Б: Да, это я помню.

Д:

В прозрачном ветре больше блага
Для сотворенных жизни стран... [6]

Б: Но Вячеслав Иванов акмеистом никогда не был.

Д: Да. Так что с этой средой, оказавшей влияние на большой круг, в особенности ленинградских поэтов, по-моему... Это было в стороне от Вас? Ну, а... футуристов Вы чуждались?

Б: Футуристов — да! Футуристов я чуждался. Я встречался с ними, видел их, но...

Д: И Хлебникова тоже?

Б: Хлебникова не знал, не знал лично. Лично я его не знал совершенно.

Д: На вечерах футуристов не бывали?

Б: Нет, не бывал. Нет-нет. Нужно сказать, тогда мы, наш круг, относились к ним с таким некоторым пренебрежением и насмешкой, считали, что это так, очередная мода преходящая, что ничего настоящего развиться не может из этого движения. Правда, нужно сказать, для Маяковского делали некоторое исключение, но только некоторое исключение, некоторое. В общем, и Маяковского не принимали.

Д: Ну, а кто же был Ваш, так сказать, круг университетский? Это Вы рассказываете Ваши последние студенческие годы? Сколько лет Вы проучились после Одессы в Петербургском университете?

Б: Четыре года еще проучился.

Д: Четыре года еще? Там два и тут четыре?

Б: Нет, там один.

Д: Значит, пять лет. Нормально.

Б: Да. Пять лет. Не нормально. Четыре года вообще курс полагался. Но это редко кто...

Д: Ну да, о своих университетских учителях Вы прошлый раз говорили. А вот среда студенческая... Вы о ней меньше... Ну вот Вы говорили об этом самом — забыл, как по-гречески, — «Пупе»...

Б: Ну вот это, да. Я был близок вот к этому кругу — филологов, филологов, относившихся очень скептически и недоверчиво ко всему, так сказать, сугубо современному: и к футуризму, отчасти даже и к акмеизму, отчасти, ну, еще более к таким левым, революционным явлениям, поэтам того времени.

Д: Ну, какой-нибудь Скиталец — это уж, конечно, не Ваш...

Б: Скиталец? Конечно! Ну, правда, я лично некоторые его произведения читал с удовольствием, мне были интересны, ну, например, эти... «Огарки». «Огарки».

Д: А как Вы Горького: жаловали или нет?

Б: Не особенно жаловал. Некоторые только вещи. Нет, я понимал, конечно, и все мы понимали его значительность такую как художника и так далее. Но мы не очень жаловали. Его стиль нам не нравился.

Кроме того, так: мы знали его характер, все это тоже нас не особенно привлекало к нему. Это был поразительный человек. Ведь он, знаете, совершенно был лишен в области мировоззрения своей воли. Это была какая-то женская натура. Он увлекался тем, чем увлекался тот человек, который ему в данном случае близок: то он с революцией, то он с контрреволюцией, то... Одним словом, все время он метался. Придет к нему, скажем, кто-нибудь из нереволюционно настроенных людей, он поговорит с ним — всецелостно согласится. Придет представитель революционных кругов, поговорит с ним — он с ним согласится. У него не было воли в этой области, в области мировоззрения воли у него не было. Он не умел выбрать раз и навсегда. Нет. Он выбирал то одно, то другое, то третье. Ну, правда, потом уж сама жизнь, обстоятельства жизни заставили его выбрать одно, но до конца он тоже... Он все время вилял в одну сторону, в другую сторону. И это объяснялось не конформизмом, нет, а вот каким-то особым, своеобразным безволием. Не конформизмом, нет, он не из-за выгод, нет... Не из-за выгод.

Д: Но у него была все-таки широта такая. Вы хотите сказать, что у него не сочетались, а перемежались точки зрения?

Б: Перемежались, в том-то и дело. Не сочетались, никак. Вообще не было того целостного, в чем можно

было бы сочетать, связать как-то и так далее. Нельзя назвать его эклектиком никак. Нет. То он один, то другой. Вы, вероятно, читали воспоминания о нем, о Горьком, Ходасевича?

Д: Нет, этих воспоминаний я не читал.

Б: Они как раз очень хорошие. Ходасевич к нему относился, в общем, положительно.

Д: Он вообще его очень поддерживал.

Б: Поддерживал, да. Но тем не менее Ходасевич оставался Ходасевичем, то есть с некоторой злобой все-таки говорил немножко. Ну, вот он говорит, что, собственно, Горький как-то очень любил обман, обман и обманщиков. Когда его самого обманывали, он относился очень терпимо к этому обману и прощал любой обман. И сам очень любил обманывать. Одним словом, для него жулик, жулик, обманщик — это была фигура, которая его привлекала, привлекала. Он, так сказать... душою своей он был с ними. Вот. Так он пишет об этом.

Д: Это Ходасевич?

Б: Ходасевич, да. И приводит целый ряд случаев из жизни Горького. Кроме того, я был знаком с человеком, который одно время работал... Это был профессор Адрианов Сергей Васильевич, историк. Он был более известен как муж Зои Лодий [7]. Зоя Лодий — Вы, может быть, слышали еще.

Д: Нет.

Б: Или уже не слышали? Зоя Лодий — это была замечательная певица, только не оперная, а камерная певица, исключительной тонкости. Она исполняла произведения очень редкие, потом, произведения национальные. Она несколько лет специально изучала итальянские песни в Италии.

И вот это был муж Зои Лодий. Он был гораздо старше ее. Но она тоже рано умерла. Она была несколько горбатой, Зоя Лодий, но лицо у нее было великолепное. Между прочим, сейчас известностью пользуется надгробие ее, мраморное надгробие, сделанное каким-то художником, я сейчас забыл его... Это наш крупный художник. И вот Сергей Васильевич рассказывал очень много о Горьком, с которым он был хорошо знаком, но, главное, они встречались с ним в «Деле», в редакторской...

Д: А! В редакции журнала «Дело»?

Б: Вот-вот. В других, тоже литературных, начинаниях все время они встречались. Ну, и он тоже говорил относительно этой крайней неустойчивости в воззрениях Горького.

Д: Честно говоря, Ваша характеристика совершенно совпадает с характеристикой Горького Лениным. Помните? «Горький в политике архибесхарактерен».

Б: Да-да, верно. Но он не только в политике, но и в общем мировоззрении. В отношении, например, к религии — то же самое: то он атеист — дальше некуда... Вы, вероятно, читали о его встрече с академиком Павловым, и вот... таким очень резким расхождением... Он, в конце концов, был все-таки человеком... верующим — сказать нельзя, но, одним словом, религиозным. Понимал, что такое религия. А Блок даже рассказывает, как они спорили, встретившись где-то. Блок стоял тогда на атеистической точке зрения, а Горький с ним спорил, доказывая, что нет, душа человека все-таки бессмертна. Так что вот какая там вещь была. Это рассказал сам Блок. Я не помню сейчас, где он об этом пишет.

Д: Михаил Михайлович, а Вам лично не приходилось встречаться с Горьким?

Б: С Горьким? Нет. Я только видел его несколько раз, и потом (это записывать не нужно), когда, значит, меня посадили, то Горький прислал даже две телеграммы в соответствующие учреждения...

Д: Горький?

Б: Да. В мою защиту.

Д: Ну, это как раз надо записать.

Б: Он знал мою книгу первую [8] и вообще слышал обо мне много, и общих знакомых у нас было...

Д: Горький прислал телеграмму...

Б: Телеграмму, да...

Д: ...в НКВД... или что тогда было?..

Б: ...с ходатайством. ГПУ тогда еще...

Д: Это какой год-то?

Б: Ну, это было... 29-й.

Д: А-а-а. И Горький... Потом он перестал вмешиваться.

Б: Так что в деле потом... да, в деле моем были телеграммы Горького, две его телеграммы.

Д: Ишь ты!

Б: Да, потом он перестал.

Д: Очень много хорошего, добра делала его жена, Екатерина Павловна.

Б: Да. Екатерина Павловна. Я ее не знал, но моя покойная жена к ней ездила — они были знакомы — несколько раз, относились с взаимной симпатией друг к другу. Она была ведь тогда председателем так называемого...

Д: Красного Креста.

Б: Да. Политического Красного Креста. Председателем был Винавер, она была его заместителем. Но фактически душой этого дела была она [9].

Д: Да, о ней много тогда хорошего... Но это... потом уже было бессмысленно, дальше само собой сошло на нет.

Б: Да, это уже было совершенно бессмысленно.

Д: Вот очень интересны эти Ваши соображения о Горьком, но тут переплетаются, так сказать, эмоционально разные чувства, потому что, с одной стороны, то, что Вы сказали, вроде как бы отрицательная характеристика...

Б: Да, но не совсем.

Д: А вместе с тем он же очень широко, разнообразно людям помогал. Ну что может быть дальше от Горького, чем Василий Васильевич Розанов? А ведь как он его поддержал в 18-м году!

Б: Да-да.

Д: В этом все-таки какая-то широта души есть.

Б: Широта души. Потом, доброта, которая в нем все-таки была безусловно. Безусловная была доброта.

А потом, видите ли, вот есть такой литературовед сейчас, Вы, вероятно, его знаете, — Гачев. Он, вероятно, и учился у Вас. Гачев.

Д: Нет, я по фамилии только знаю.

Б: Это вот из того же круга литературоведов, как Кожинов, Бочаров. Они вместе вот трехтомник-то издавали «Теории литературы»...

Д: Да, но мой ученик из них только Кожинов.

(*Слышно мяуканье кошки.*)

Б: Бедная кошечка!

Д: Что же нам делать, кого же нам записывать: кошку или вас? (*Смеются.*) Кажется, замолчала.

Б: Ну вот. Вот Гачев написал очень интересное исследование, не опубликованное до сих пор, но оно

будет в свое время опубликовано, о Горьком, в частности о его босяцком периоде, о пьесе «На дне» и вообще о Горьком. Он говорит, что Горький — это был, в сущности, воплощение карнавального начала.

Д: Вашу идею развивает.

Б: Да-да... (Гачев вообще, так сказать, мой ученик, то есть такой, неофициальный ученик, он в Московском университете учился. Вот.) ...Воплощал в себе карнавальное начало, что жизнь он принимал только тогда, когда она выходила из обычной колеи. Вот та жизнь, которая протекала от карнавала до карнавала, серьезная, деловая и так далее, была, в сущности, чужда его душе. А вот карнавальная жизнь, выведенная из своего обычного хода, — вот тогда Горький чувствовал себя... человеком этой жизни. Он дает анализ очень интересный итальянских рассказов Горького [10]. Вот, скажем, изображает он забастовку трамвайщиков, кажется, так, помните?

Д: Да-да-да, помню.

Б: Вот он как карнавал изображает... он ищет в этом именно вот это нарушение привычного хода жизни.

Д: Ну, а с другой стороны — «Жизнь Матвея Кожемякина» и...

Б: Ну, у него было, конечно, и другое, это и говорить нечего, но все-таки в основном...

Д: ...и «Самгин».

Б: Более того, он считает, что и «Клим Самгин» — это, в сущности, тоже карнавальное произведение, это карнавал, так сказать ушедший внутрь.

Д: Ну, карнавал — праздничный, веселый...

Б: Да, праздничный. Тут как будто бы не праздничный и не веселый, но тем не менее это целый ряд... шествие масок, шествие масок. Лица здесь нет ни одного. Кстати, вот таким людям, которые... я их называю агеласты, таких людей Горький в жизни не любил.

Д: Каких?

Б: Людей, которые слишком серьезны и не ценят и не понимают смеха, шутки, обмана. Мистификаций. Таких он не любил. И вот, в частности, в «Климе Самгине» нет таких людей, которых бы он так положи-

тельно выдвигал. Например, вот эти его герои-то, коммунисты, прежде всего... Кутузов.

Д: Положительный образ в советской литературе! Помилуйте!

Б: Нет, нет, Горький относился к нему не положительно. Не положительно. Он отрицательно относился к нему... Ведь он даже наделяет его такой сухостью. Вот он певец, а, с другой стороны, поет он без души. Для него это только форма, формально. И вообще, он как-то неспособен понять по-настоящему людей.

Дальше. И вот пьесу «На дне» он так истолковывает, что, конечно, истинным героем, положительным для Горького был Лука, Лука (совершенно неправильно толкуют Луку), что сам Горький понимал его как положительную фигуру. И так по пьесе и получается. Вот он появляется...

Д: По пьесе так, а потом, в 33-м году...

Б: «А потом»! Потом — вот это-то его безволие мировоззренческое... Вот его, так сказать, убедили, что нет, Лука... Лука лжет... Правда, он добрый человек, старается помочь людям, но чем? Создает иллюзии, обманы, которые человеку как-то помогают, может быть, в жизни, но это недопустимо... унижает человеческое достоинство... И он поверил в это — и стал потом перетолковывать собственное произведение.

Д: Ага, интересно... Так, ну дальше... впрочем, простите, Вы немножко теперь скажите о себе, как дальше у Вас жизнь складывалась? Значит, Вы кончили университет.

Б: Да.

Д: Февраль.

Б: Да. Вот тут, значит, так. Февраль. Февральская революция.

Д: Вы еще студент?

Б: Я еще студент. Кончал как раз. Ну и вот здесь, как Вы знаете, в Ленинграде... — не Ленинград, тогда еще Петроград был... начался голод очень сильный.

Д: Ну, голод начался уже после Октябрьской революции.

Б: После Октябрьской революции. Но и в Феврале было трудно.

Д: А вот с Февральской... из лета 17-го года у Вас нет никаких воспоминаний интересных? Ведь это время, которое всюду пропускается, как будто его не было.

Б: Да, видите ли, я Вам скажу так, записывать-то этого не нужно.

Д: Можно стереть... Можно не переписать туда. Ну ладно.

Б: Я не приветствовал Февральскую революцию. Более того, я, вернее, наш круг считали, что все это кончится очень плохо, что неизбежно... Мы знали как раз близко людей-то вот того, февральского-то... тех, которые отчасти делали, а потом, так сказать, ну, выдвинулись Февральской революцией.

Д: Кадетов?

Б: Кадетов, да, кадетов и... этих...

Д: Эсеров?

Б: Трудовиков. Трудовиков, к которым принадлежал сам Керенский, одним словом, вот эту вот породу Керенских. Мы считали, что все эти интеллигенты совершенно неспособны управлять государством, неспособны защитить революцию Февральскую. (Если ее нужно защищать.) И поэтому неизбежно возьмут верх самые крайние, самые левые элементы, большевики. Ну, так оно и случилось. Совершенно были убеждены в этом.

Д: Ну, из большевиков как-то на поверхности тогда...

Б: ...мало было, да. Их, так сказать, почти не знали. Но знали левых эсеров, больше знали, тоже крайних левых эсеров, которые потом работали с большевиками. Потом в кругу эсеров, в кругу социал-демократов тоже были люди наиболее левых, радикальных убеждений, которые потом... вошли в коммунистическую партию и так далее и так далее. Известностью пользовался Троцкий... Зиновьев, немного, правда. Вот.

Д: А Троцкий как раз только в мае ведь вступил в большевики.

Б: Да. Вот они... Много таких людей. Дзержинский... Нет. Дзержинский — нет, он не был в партии, по-моему, ни в какой, он просто был очень религиозным человеком, готовился принять монашество.

Д: Да?

Б: Да. В католическом монастыре. Он был почти фанатиком религиозным, католическим, а потом уж он перешел... Ну, он вообще был, так сказать, исключение, он нетипичен для большевиков, он нетипичен, нет-нет... Человек другого стиля, сделанный из другого теста. Ну, а вот... Вышинский — социал-демократ, социал-демократ, а потом стал большевиком, да еще...

Д: Он меньшевиком был до 21-го года.

Б: Он?

Д: Да. Он всю гражданскую войну был антибольшевик, а потом, когда большевики победили, — тогда он уже только примкнул.

Б: Заславский, журналист.

Д: Да. Это из «Киевлянина».

Б: Да. Он читал даже лекцию — я на этой лекции не был, но наши были там, рассказывали — после Февральской революции... до Октября... нет, уж после Октября... где он приветствовал продвижение Добровольческой армии южной, какой-то план в этой лекции выдвигал борьбы с большевиками.

Ну и вот. Я тогда считал, что придет самая крайняя партия, что в России или монархия, или совершенно крайняя охлократия...

Д: Извините, это у Вас сейчас не реминисценции, так сказать, в свете дальнейшего...

Б: Нет-нет, нет-нет, это так тогда думал.

Д: Значит, Вы субъективно ощущали в Феврале, что либо монархия, либо крайние?

Б: Да-да. И то, что монархия, одним словом... что неизбежна победа крайних элементов. Более того, я бы сказал, мы были настроены очень пессимистически: мы считали, что дело кончено. Конечно, монархию нельзя восстановить, да и некому, да и им не на что опереться совершенно, что неизбежно победят вот эти вот самые массы солдат, солдаты и крестьяне в солдатских шинелях, которым ничего не дорого, пролетариат, который не исторический класс, у него нет никаких ценностей — собственно, ничего у него нет. Всю жизнь он боролся только за очень узкие материальные блага. И что именно они захватят власть. И сбросить их некому будет, потому что вся эта вот интеллигенция, она на это неспособна.

Д: Так что Вы не митинговали?

Б: Нет, я не митинговал, нет-нет. Я сидел дома, читал, когда топили, в библиотеках сидел [11]. Но нет, не митинговал.

Д: Керенского слушали, нет?

Б: Керенского я раза два слышал. Я сразу понял, что это жалкий человек, слишком высоко залезший и совершенно неспособный... Между прочим, у меня была очень близкая мне семья: он был — муж — мой друг, и потом, я был в очень дружественных отношениях с женой его — это бывшая баронесса; и вот это была последняя любовь Керенского. Он каждый день приезжал к ней, проводил время, вечера, у нее, — последняя была любовь здесь. Потом-то, может, у него еще была любовь.

Вот мой друг, он придерживался моих взглядов, он говорил: «Что Вы! Неужели Вы не видите — они не сегодня-завтра вас сбросят». Он говорил: «Простите, я все знаю, мы следим за большевиками, не беспокойтесь, они совершенно ничего не могут сделать». Это был последний раз, ну, за несколько дней до переворота и до бегства Керенского, буквально за три-четыре дня. Нужно сказать, у Керенского тогда... в самых широких массах... были любовь и... Он был очень авторитетен.

Д: Нет, популярность была.

Б: Популярность была. Но такая поверхностная. Мне еще рассказывал вот этот мой друг, когда в первый раз к ним приехал на квартиру (он жил тогда в Политехническом институте, в Лесном, в Петрограде) Керенский, то швейцар вытирал слезы: «Керенский был, Керенский был, Керенский был». И аж плакал даже от умиления.

Д: Ну, а Вы все-таки как словесник не умилились его, так сказать, блестящим ораторским дарованием?

Б: Нет, у него блестящего ораторского дарования никогда и не было. Это выдумано все, чепуха. Я слышал его раза два. Это довольно пошлый, примитивный, — такой, я бы сказал, демагогического типа, конечно.

Д: Вот, если хотите, тоже карнавальная фигура.

Б: Да, но он, так сказать, карнавальная фигура не по своей воле, не по своей даже натуре, нет-нет. Кое-что у него, конечно, было карнавальное...

Д: Так что он Вас не пленил нисколько?

Б: Нет, не пленил нисколько, нисколько не пленил.

Д: Ну не могли же Вы не уважать позиции, скажем, такого человека, как Павел Николаевич Милюков?

Б: Вот это да, я его, во всяком случае, уважал, уважал, но я считал, что он совершенно бессилен, что никогда такие люди, как Милюков (мне так казалось тогда), управлять Россией не смогут.

Д: Но ведь управлять... — Мне очень интересно... это получается продолжение разговора с Шульгиным [12].

Б: Да-да-да, вот это интересно.

Д: Но ведь, понимаете, даже Шульгин в своих записках понимал, что тот круг, который управлял Россией, сам был бессилен... Не потому их свалили, что свергли, а потому, что они сами, можно сказать, уже расползались.

Б: Да, это верно.

Д: Ведь, кроме Столыпина, там не было ни одного...

Б: Да, ни одного...

Д: ...сколько-нибудь крупного деятеля.

Б: ...да. Столыпин был очень крупным деятелем, очень крупным, гораздо крупнее, чем обычно его представляют, очень дальновидным. И то, что вот он предполагал спасти Россию от революции, — этот способ, пожалуй, был единственно правильный способ — создание вот такого среднего зажиточного крестьянства, хуторян, с собственностью, с мелкой собственностью. Он считал, что вот только собственность делает человека... ну... солидным и...

Д: ...устойчивым.

Б: ...и устойчивым, да. Но из этого ничего не вышло, ему не удалось довести до конца свою реформу хуторскую тогда. Да...

Д: Это очень чуждое русской национальной природе.

Б: Так ли это?

Д: Ведь это до такой степени противоречит русской истории... Ведь в этом смысле Горький куда более национален.

Б: Да, но тогда мы должны прийти к колхозам. Вот. Но что-то с колхозами не очень налаживается дело; и нигде, не только у нас, но и в других славянских странах, — нигде не получается ничего. Но дело не

в этом. Я ведь вспоминаю то, что было тогда, сейчас я вообще... Да и тогда я очень мало об этих проблемах думал, очень мало. Что старый режим разлагается, это было всем ясно. Вообще, эта вот история с Распутиным, она... как сказать... роковая и пророческая история. Ну вот.

Д: Интересно, да. Но вернемся к магнитофону и нашей филологии. Значит, прошла Февральская и Октябрьская революция... И наступил в 18-м году... ну, с одной стороны, в Петрограде голод, с другой стороны — кафейный период российской поэзии.

Б: Это почему «кафейный»?

Д: Ну потому что поэзия перестала быть достоянием журналов, а стала...

Б: А! Да! Достоянием кафе, да-да-да.

Д: Вот Вы эту пору ее специфики, так сказать, пережили или благодаря Вашему такому солидному академизму Вы не снисходили до них?

Б: Не снисходил, конечно. Между прочим, я знал эту форму еще до того, вот... Другое, конечно, еще до революции, — это «Бродячая собака».

Д: Ну вот в «Бродячей собаке» Вы бывали?

Б: В «Бродячей собаке» я бывал, конечно, но бывал только в качестве гостя, я, так сказать, особенно близко не был знаком.

Д: В качестве «фармацевта»...

Б: Вот-вот-вот.

Д: ...как они называли?

Б: Да. И также и в «Привале комедиантов».

Д: Вот что́ Вы помните о «Бродячей собаке» и «Привале комедиантов»? Мне очень интересно услышать в этом смысле... Я слышал голос ультрабогемцев, и, значит, там вас называли (не Вас лично, а вот таких людей) фармацевтами...

Б: Да, так вот я все-таки был «фармацевтом». Поэтому я вообще там бывал очень редко.

Д: Кого Вы там слышали?

Б: Всякую, знаете, я бы сказал, поэтическую мразь. Единственный, по-моему, кто там, вот кого я слышал, — это был... замечательный поэт... Кузмин!

Д: В «Бродячей собаке»?

Б: В «Бродячей собаке» я слышал его.

Д: Еще во время войны?

Б: Или в «Привале комедиантов», я уж сейчас не помню. И там и там, вероятно, слышал его.

Д: И «Бродячая собака», и «Привал комедиантов» — это Петербург.

Б: Это Петербург.

Д: А Москва — это уже «Питтореск», «Кафе поэтов»... это другое.

Б: А там... Я нет... Я как-то был раз на Невском. Там было «Кафе поэтов». Я там был раз. Там сидели какие-то фигуры бородатые вот в этих французских шапочках, как французские поэты. Мне все это не понравилось: несерьезно.

Д: Ну, Рукавишникова Вы помните?

Б: Рукавишникова я помню, знал.

Д: Ведь это же тоже вроде ученый по тону, хотя и не очень ученый, но все-таки, как Шенгели...

Б: Ну, Шенгели — да...

Д: ...Георгий Аркадьевич, ведь он тоже ни одной эстрады не пропускал, чтобы не выступить.

Б: Да, но какой он был поэт?

Д: Никакой поэт.

Б: Он даже и переводчик, в сущности, плохой... И ученый он получился тоже плохой.

Д: Есенин в этой среде же сложился окончательно.

Б: Есенин? (*Задумчиво.*) Да-да... сложился... Тут тоже дело все-таки темное с Есениным. Вот как раз Кожинов этим интересуется вопросом. Оказывается, Есенин... Обычно представляют так: что вот первобытный, нетронутый крестьянин русский приехал в Москву, в Ленинград и вся эта среда его, так сказать, скорее испортила, сделала из него пьяницу, сделала из него развратника и так далее и так далее.

Но вот Кожинов [неразб.], что это совсем не так: что он приобщился к культуре до того, как он приехал туда, до того, как он приехал в столицу, что у него были друзья, с которыми он переписывался тогда. И он, надо сказать, уже... выработал свои взгляды еще до того, как на него стали воздействовать представители богемы. Так что представители богемы, они сменили более серьезное направление и его мыслей, и поэтики [13].

Д: Более серьезные — это были символистские салоны. Это были Мережковский и Гиппиус.

Б: Мережковский и Гиппиус, да, отчасти. А потом был человек, имя которого в точности не установлено... То есть Кожинов установил, нашел, кто это. Это был... сейчас я Вам скажу... Память! Вот в воспоминаниях... Цветаевой, там упоминается ее посещение одного дома, где она слышала выступление Кузмина, — Вы помните?

Д: В прозе Марины Цветаевой?

Б: Марины, Марины Цветаевой. И вот там изображается этот дом, где они были. Хозяин этого дома, очень энглизированный человек, знаменитый строитель броненосца, тоже знаменитого, но фамилия не названа, и его два сына. Один из них поэт... или сын и его друг... Один из них поэт. Вот этот-то поэт знал хорошо Есенина и оказывал на него огромное влияние. Но кто этот был поэт, Марина Цветаева не называет [14].

Д: А Кожинов раскопал?

Б: А Кожинов раскопал, да.

Д: Надо его спросить. Правда, он мне теперь не звонит.

Б: Но, правда, вот тут он продолжал свои исследования в этом направлении... Здесь вот рядом с нами живет Рюрик Ивнев.

Д: Я его записал.

Б: Записали? Да. Но он не помнит, он не помнит. Он-то как раз был в этом кругу Есенина, но он не помнит. Ему сейчас больше восьмидесяти лет. Он только тем интересен сейчас, что он, кажется, последний из живых представителей вот этого круга есенинского.

Д: Нет, ну, художники там есть...

Б: Есть художники...

Д: Есть такой... Комарденков... [52] Я его тоже записал. Это подручный Якулова.

Б: А... Вы не записывали Крученыха? Крученых.

Д: Отбрыкался и — помер. Как боялся чего-то. Я не знаю, чего он боялся. Он страшно мнительный был.

Б: Под конец жизни я знал его, но, правда, не под самый конец, конечно. Да, лет двадцать тому назад я его знал последний раз...

Д: А, значит, все-таки встречались с футуристами?

Б: Да, но он тогда поразил меня... Ему тогда было шестьдесят лет...

Д: Очень моложав был.

Б: Необычайно моложав, небольшого роста, живой чрезвычайно, живой! И речь у него очень интересная была. Он мне рассказывал о работах одного человека, своего друга, который занимается изучением имен у Достоевского. Очень интересно рассказывал, очень интересно.

Д: Он вообще человек был большого... не ученый, но человек филологического дарования.

Б: Да, да, безусловно. И вот этот анализ его имен у Достоевского, правда, это не его собственный, но все равно он сумел его передать очень убедительно.

Д: Вы, мне кажется, по комплексу Ваших идей не должны совсем отрицательно относиться к идее заумного языка.

Б: Нет, я и не отрицаю их. Почему же, нет, я их и не отрицаю.

Д: Это Вы просто в порядке воспоминаний говорили, что все, которые...

Б: Да, в порядке воспоминаний. Мы недооценивали, конечно...

Д: ...что там ничего интересного не...

Б: Да-да, вот-вот, понимаете ли... Даже не то что ничего интересного, а, так сказать, что это...

Д: Блеф.

Б: Да, плебс, именно плебс.

Д: Блеф.

Б: И блеф, и плебс. Да. Вот. Ну нет, я не отрицаю нисколько. Вообще, Хлебникова я считаю замечательным, замечательным поэтом.

Д: Значит, все-таки в целом Ваше отношение к Хлебникову переменилось. Оно теперь...

Б: Оно и тогда... Хлебникова я все-таки и тогда выделял, а потом особенно...

Д: И что же Вас в Хлебникове интересует?

Б: Все. Даже самый тип или стиль его мышления меня интересует. Вот это действительно был глубоко карнавальный человек. Но только именно глубоко карнавальный. У которого карнавальность была не внешняя — не пляска, не внешняя маска, а внутренняя форма, внутренняя форма его и переживаний субъективных, и его мышления словесного и так далее. Он не мог уложиться ни в какие рамки, не мог принимать никаких существующих устоев. Он отлично

понимал, что значит, так сказать, реальность, реальная мысль. Менее всего его можно обвинить в том, что он был близорук и играл... Нет.

Д: Но он отвлеченный был очень.

Б: Нет. Он — нет. Он великолепно понимал и действительность, реальность, и людей понимал. Понимал все это великолепно, но, если хотите, от всего этого отвлекался, но не в пользу каких-то таких отвлеченных идей, как у других, нет. У него его отвлеченные идеи — они носили символический, даже несколько мистический характер. Это были своего рода пророческие видения. Но только опять-таки их никак нельзя уложить в рамки вот той мистики, которая существовала тогда и очень широко была развита.

Д: Символистской.

Б: Да. Нет... Просто нельзя никак туда вложить. Это было особое мистическое вид́ение. Вот. Мистика без мистики, так сказать. Но мистика. Мистика... Он мыслил действительно категориями очень широкими, космическими, но не абстрактно-космическими.

Д: Это мне не совсем понятно.

Б: Он умел как раз, вот это ему было свойственно — поэтому я и говорю, что он был очень карнавален в самой основе своей, — он умел, так сказать, отвлекаться от всего частного и умел уловить какое-то бесконечное, неограниченное целое, целое, так сказать, земного шара. Он же был одним из Председателей земного шара... И целой Вселенной. Он как-то все это сумел, внутренне как-то, и пережить, и обратить в слова. Но слова, конечно, такие, которые, если их понимать как обычные переживания, как, ну, слова о частных вещах, частных переживаниях, частных людях, — их понять тогда действительно нельзя. Нельзя. А вот если как-то суметь понять, войти в струю его космического, вселенского мышления, тогда все это становится понятным и в высшей степени интересным. Это замечательный был человек. Замечательный человек. Во всяком случае, все остальные футуристы были перед ним пигмеи. Пигмеи были... и мелкими людьми. Ну вот тот же самый Крученых и так далее. Они были талантливые, способные. Бурлюк, и... Давид, и этот...

Д: Николай.

Б: Николай. Николай, может быть, даже был и талантливей.

Д: А Вы знали их, видали?

Б: Я его видел как-то, Бурлюка. Давида видел только, но лично не был даже с ним знаком, но я так знаю по его... мне рассказывали о нем и его произведениях. Это был интересный человек. Интересный.

Д: Там еще Владимир был, художник.

Б: Художник был, да, но я его не знаю. А Давид Бурлюк, он как художник, как писатель — он незначителен. Он потом оказался очень деловым человеком. Сумел стать богачом в Америке. У него салон был потом. И вся наиболее левая, радикальная интеллигенция американская ходила в его салон. Он каждый год праздновал очень торжественно день Октябрьской революции, устраивал у себя, в своем доме, прием и так далее. Это была своеобразная фигура.

Д: Ну вот теперь уже... место и время упомянуть и Маяковского. Вы с молодым Маяковским не встречались ни разу?

Б: С молодым — нет. Ни разу не встречался. Ведь он же так больше в Москве был.

Д: Нет, как раз в годы войны он был в Петербурге.

Б: Но я его не встречал.

Д: Ни в «Бродячей собаке», ни в «Розовом фонаре»?

Б: Нет, как раз там я его тоже не встречал. То есть, может быть, он и был, но Вы знаете, тогда... Сейчас для нас (*усмехаясь*) Маяковский — это Маяковский. А тогда для нас Маяковский был один из многих вот этих крикунов, к которым мы относились довольно пренебрежительно.

Д: Так что личных впечатлений у Вас нет?

Б: Нет. Вот только уже...

Д: Тогда расскажите вот те две, кажется, встречи с Маяковским, которые у Вас были после революции А потом мы вообще поговорим.

Б: Первая встреча была в Столешниковом переулке — этот дом десятиэтажный, там литературный отдел, кажется, находился.

Д: А, десятиэтажный? Это не Столешников, а Большой Гнездниковский.

Б: Большой Гнездниковский, конечно, да-да. Там, где теперь «Советский писатель», театр «Ромэн» и так

далее. Ну и вот. Там тогда заведовал этим Литературным отделом Брюсов Валерий Яковлевич.

Д: И Литературный отдел... ЛИТО Наркомпроса, которым заведовал Брюсов, помещался в этом доме Нирнзее, да?

Б: В этом доме тогда помещалось, да.

Д: 20 — 21-й год.

Б: Да, это было вот в это время. 20 — 21-й год. Я там бывал. И вот однажды там был объявлен какой-то вечер поэтов. Я пришел туда, на этот вечер поэтов. Ну и зашел в кабинет Брюсова. Брюсова не было. А там был его заместитель, Кузько [15]. Кузько — это был заместитель Брюсова по ЛИТО, и, так сказать, он был из старых большевиков, хотя тогда он был довольно молод еще. Он был красивый рыжий человек, очень приятный, очень милый. Мы с ним сидели, беседовали. Я с ним познакомился раньше где-то, даже хорошенько не помню. Кажется, вот в этой Академии художественных наук я с ним встретился в первый раз. Но был знаком с ним очень мало. Ну, а тут мы разговорились, он многое мне рассказывал, о своих встречах с Вячеславом Ивановым, в частности. Затем очень много рассказывал о Брюсове. Притом так: к Брюсову он относился с уважением — как к поэту, как к ученому. Сам Кузько был человек очень начитанный, нахватанный, но отнюдь не ученый. Но был человек скромный, очень милый и в высшей степени либеральный, несмотря на то что он был партией, так сказать, как бы приставлен к Брюсову.

Д: Он был как бы комиссаром при Брюсове?

Б: Да-да, комиссаром, действительно, Брюсова.

Д: Который только что вступил в партию.

Б: Вступил в партию, да. И вот он рассказывал, что Брюсов, по его мнению, человек довольно мелкий по характеру своему, что он, так сказать, очень... боится... «Он специально, — говорит, — приходит ко мне играть в шахматы и выведывает у меня о партийных делах и о том, как относятся к нему и какие вообще шансы у него остаться, укрепиться или, напротив, его в конце концов прогонят и прочее, прочее». Одним словом, такие мелкочеловеческие чувства проявляет, известную испуганность — он не подымается над этим никак.

И вот, значит, мы дожидались Брюсова. Брюсова так я и не дождался. Там приходили все время люди по разным делам, потому что он замещал его, Брюсова. И вот пришел человек высокого роста. Я сразу узнал, что это Маяковский: я видел его портрет, даже, может быть, я уже видел его когда-нибудь. Очень одет по-модному, в то время, когда люди были одеты очень плохо. У него было пальто-клеш. Тогда это было модно. Вообще все на нем было такое новое, модное, и чувствовалось, что он, так сказать, все время это чувствует — что вот он одет как денди, как денди. (*Усмехается.*) Но как раз денди-то и не чувствует, как он одет. Это первый, так сказать, признак дендизма — носить одежду так, чтобы казалось, что он никакого значения ей не придает. А тут чувствовалось, что он все время переживает вот то, что у него и пальто-клеш, и что он одет модно и так далее, и что фигура у него такая. Одним словом, это мне очень не понравилось.

Потом Кузько дал ему (как раз только что вышло) — вот так это я помню — брошюрованное издание, по-моему, издание ЛИТО специальное такое, журнала, тогда с журналами было дело плохо, — и там были напечатаны стихи Маяковского. И вот он ухватил, значит, номер этого журнала и буквально въелся в напечатанные его стихи. И тоже как-то чувствовалось, что вот он смакует свои собственные стихи, смакует больше всего именно тот факт, что они напечатаны. Вот! Вот он напечатан! Одним словом, это на меня произвело очень плохое впечатление.

Но ведь нужно сказать так, вообще-то говоря: все это свойственно всем людям, да, но как-то от Маяковского, который все-таки был фигурой карнавальной, следовательно стоящей выше всего этого, я бы скорей ждал известного презрения к костюму и к напечатанию его стихов. А тут прямо противоположное: как маленький человек, самый маленький человек, он счастлив тем, что вот его опубликовали, хотя уж он давным-давно был известным человеком и печатался. А тут он, как в чеховском рассказе, помните, чиновничек, который попал под лошадь и носился и был страшно счастлив, что о нем напечатали. Ну вот. Это вот мне не понравилось в нем. Что он говорил, я даже

не помню. Что-то говорил, но не со мной, с Кузько. И потом ушел, а потом я ушел.

Д: И это единственный...?

Б: Нет, а потом второй раз я видел его — если не ошибаюсь, там же, на вечере поэтов опять. Там выступали поэты, и каждый поэт выступал как представитель какого-то направления. Этих направлений тогда было, как Вы знаете, тьма. Кто только там не выступал! Выступал там... тогда был Валерий Брюсов. Я уже его не видел отдельно, он... я видел его только уже на эстраде. Он читал свои стихи, вот не помню, как они называются... Ну, там же еще, помню вот это:

Иль в советской Москве назначена
Klassische Walpurgisnacht... —

и так далее [16].

«Klassische Walpurgisnacht» — это «классическая Вальпургиева ночь». Ну вот. Там выступали поэты, мне совершенно неизвестные. Там выступали представители других искусств. Я помню, тогда была создана группа неореалистов в области скульптуры. Они делали из газетной бумаги такие небольшие статуи поясные. Я бы сказал, довольно интересно, там все люди были талантливые, но, конечно, все это не могло иметь какое-то продолжение, дальнейшее развитие, нет. Так, по-моему, они на этом и кончили. И вот выступал там и Маяковский с чтением вот этого... «Необычного...».

Д: «Необычайного приключения».

Б: Да. И вот тут он мне понравился. На эстраде он мне понравился. Он вел себя на эстраде как раз скромно, скромно как-то. Читал превосходно! Читал превосходно! Жест у него был сдержанный... Другие говорили, что у него очень несдержанный жест. Нет, у него был сдержанный. «Что ж, — говорю, — садись, светило...»; вот — «садись, светило» — и такой он широкий, ну как бы его...

Д: Приглашал...

Б: Да. И мне это понравилось. Там он мне очень понравился, вот, и произведение понравилось.

Д: Ну, а Вы его мало читали вообще в то время?

Б: Нет, читал все-таки, довольно много читал. В то время мы очень много читали, поглощали, в том числе

и всякой ерунды. Но Маяковского — ну как же, я знал...

Д: Ну, «Облако в штанах» Вы знали? «Облако в штанах», «Войну и мир», «Человек»?

Б: Вот это я знал, да. Это я знал. Я помню, мне очень нравилась его... «Война и мир». Там были очень интересные строфы, очень хорошие строфы. Но были, конечно, фальшивые, выдуманные, нарочитые строки. Впрочем, он, нужно сказать, до конца своих дней от выдуманности и нарочитости избавиться не мог, даже в поэме «Во весь голос» — и там было... Но там были великолепные строчки, великолепные!

Д: А что Вы в «Во весь голос» ощущаете как выдуманное и нарочитое?

Б: Ну, я просто — именно этих строк-то я и не помню. Ну, есть там, много... А вот, скажем, вот эти вот вещи:

Я знаю силу слов, я знаю слов набат,
Они не те, которым рукоплещут ложи...

Дальше великолепно:

(*хором*)

От слов таких срываются гроба
Шагать четверкою своих дубовых ножек.
Бывает, выбросят, не напечатав, не издав,
Но слово мчится, подтянув подпруги...

Б:

Звенят века, и подползают поезда
Лобзать поэзии...

Д: «Лизать».

Б: А?

Д: Не «лобзать», а... вот стилистически...

Б: Простите, «лизать поэзии...». Нет-нет, «лизать», это я помню. «...мозолистые руки». Что он тут имел в виду, как Вы думаете?

Д: Так это Вам нравится или не нравится?

Б: Это мне нравится как раз.

Д: Вот: «...подползают поезда лизать поэзии...» — это то, что сейчас в центре внимания всего мира, что пятнадцать лет тому назад, так сказать, ну, в таком совершенно пошлом виде было сформулировано как проблема (*усмехаясь*) Слуцким — «физики и лирики».

Так вот Маяковский все-таки утверждает: поэзия останется превыше всего! Поезда будут лизать...

Б: Это как раз сильно. Потом это: «...пустяком...», «...глядится пустяком...»

Д: Это отрывочек.

> Я знаю силу слов: глядится пустяком,
> Слетевшим лепестком под каблуками танца,
> Но человек душой, губами, костяком...

Это неоконченное...

Б: Это очень как раз хорошо: «...человек душой, губами, костяком...» И то, что оборвано, — это неплохо. Понятно совершенно. Не нужно было досказывать. Это как раз хорошо...

Д: Вы, конечно, были совершенно другой, так сказать, стилистической культуры при всей Вашей широте.

Б: Да, был другой стилистической культуры. Но, видите ли, тут все-таки вот еще какой момент нужно отметить: ведь я был очень хорошо знаком тогда с левой поэзией на Западе, в частности во Франции. А ведь там они заходили очень далеко, никак не менее далеко, чем наши футуристы. Наши футуристы казались все-таки детьми по сравнению с ними, да они и были подражателями раньше. И Маяковский в известной степени, но только в известной степени.

Д: Очень интересно.

Б: Тот стих, который он создал, — все это, конечно, его создание.

Д: Вы считаете, что Маяковский создал новый стих какой-то?

Б: Считаю, что он создал новый стих, да. То есть ну как — «новый стих»?

Д: Нет, ну, в смысле... не на стиховедческом... в смысле принципа.

Б: Да. Безусловно. Я считаю, что он создал...

Д: Что он внес новый принцип в русскую поэзию?

Б: Да, да, безусловно.

Д: В чем же Вы видите... как бы Вы определили этот принцип?

Б: Ну, видите, очень трудно, я ведь не теоретик стиха. Но обычно определяют как новая тоника, вот это не прежняя, не силлабо-тоническая. А это новая тоника.

Д: Если, скажем, стих был силлабо-тоническим, то это был интонационно-тоническим...

Б: Да, интонационно... Новая тоника, и потом, тут что максимально сблизило его с той речью... ну, ораторской, но ораторской фамильярной, вот как говорили ораторы, скажем, эпохи Парижской коммуны, и так далее и так далее: крик, крик почти. И что вообще еще тоже своеобразное сближение поэзии с площадным криком, в сущности, с криком [17]. Да он сам про себя всегда почти говорил, что «я ору», «ору». Не — «пишу», не — «пою», а — «ору». Этот вот крик, своеобразный, как-то вот этот крик он сумел сделать стихом, стиховым чем-то.

Д: Вот Ваша любимая идея карнавальности... Причем Вы очень большое содержание в этот термин вкладываете.

Б: Да.

Д: Я сначала не понимал, но я очень хорошо прочитал, года три назад, Вашу книжку о Рабле. Она еще тогда была новой. Я сначала не мог понять, что это, так сказать, ну карнавал и карнавал... Ведь карнавальность у Вас рассматривается как один из каких-то общих признаков искусства, большого искусства.

Б: Да-да, правильно.

Д: Поэтому Вы берете Рабле, а потом... наоборот... о Достоевском... единство этих противоречий... Так вот в этом-то плане Маяковский — совершенно исключительная по масштабу фигура.

Б: У него вообще многие моменты карнавальные.

Д: «Мистерия» и «буфф» у него везде.

Б: Везде, да-да.

Д: Даже, понимаете ли, там, где карнавальные пустяки всякие он делает, ну, в смысле рекламы и так далее, вдруг какие-нибудь у него серьезные образы могут промелькнуть, и наоборот. Я очень рад, что Вы так рассказали, точно и правдиво... это вразрез очень идет, но... Вот относительно того, как он отнесся... Вот тут ведь все в контексте... Я очень представляю себе... так могло бы и быть... Значит, это 21-й год, да?

Б: Да.

Д: Ну не позже 22-го?

Б: Не позже. Не позже.

Д: Если 22-й осенью, то он мог уже после своей первой поездки за границу, в Латвию, быть.

Б: По-моему, это было еще до этого.

Д: Вероятно, до. Но, значит, 19 — 20 — 21-й он работал в РОСТА. В РОСТА он сидел в ватнике, в барашковой шапке...

Б: Холодно же было.

Д: ...в валенках на калошах и так далее.

Б: Тогда было лето. Весна...

Д: Причем в детстве он — в юности он как раз одевался очень бедно. Но есть неоднократные воспоминания, и фотокарточка специальная есть... Тут тоже есть своеобразный... не дендизм, а именно карнавальность... Когда он цилиндр надел.

Б: Ну, Бурлюк тоже цилиндр носил.

Д: Вот Бурлюк его и обрядил. После этого была «Пощечина общественному...», и весь ВХУТЕМАС этот самый... Училище живописи, ваяния и зодчества сбежалось смотреть на Маяковского, который зашел в училище, из которого его уже выгнали... Его все привыкли видеть в драных ботинках, и... и вдруг он пришел с иголочки одетый. У меня запись такая есть. И со всех этажей все побежали глазеть: «Батюшки, кто такой? Маяковский?!», «В цилиндре!», «Голодранец!». И он любил... Да, он иногда вот так... Это, конечно, был не дендизм. Дендизма в нем не было совершенно.

Б: Нет, не дендизм, нет-нет.

Д: Это Вы совершенно правы. Это было его очередное... Игровой момент.

Б: Игровой момент? Да, и тут, в конце концов, да.

Д: У него это игровой момент.

Б: В конце концов, я вот этот момент видел, а не в серии моментов. Тогда б, конечно, я сразу понял бы карнавальность всего этого.

Д: Это как вот пятнышко на стене.

Б: Да-да.

Д: Действительно, у него все, что угодно, могло быть в этом отношении. Он же все время играл. Он же дико азартный человек был.

Б: Азартный человек был, да.

Д: А как он в карты играл! Зверски!

Б: Да? Хорошо играл?

Д: Зверски! Зверски. Там, понимаете, когда они начинали играть в карты, то до последних штанов! Клади

на стол! Вольпин мне рассказывал [18]. Десять раз пролезть под столом! И требовал, и сам исполнял.

Б: Ведь карты — это тоже... Азартная игра в карты — это тоже глубоко карнавальное явление.

Д: Ну хорошо, Маяковский — это, так сказать, эпизод. Ваша жизнь и Ваше литературное развитие с ним мало пересекались.

Б: Мало, мало.

Д: Вот я так и чувствую. Но я представлял себе, по тому, что я о Вас раньше слышал, что Вы как-то пересеклись вот с этой группой ленинградской молодежи, которая группировалась отчасти вокруг Маршака, образовала вот эту группу обэриутов. Я, собственно говоря, когда о Вас узнал, то в первую очередь подумал: «Вот от кого я наконец услышу об обэриутах...» Да, во-первых, кто Вы в это время? Вы что же, вольный литератор?

Б: В это время? Да. В это время — да.

Д: По окончании университета?

Б: Не совсем. По окончании университета...

Д: Кто Вам пайки платил в Петербурге в 18—19 — 20—21-м годах?

Б: Нет, дело в том, что я в 18-м году уехал из Петербурга. Это было так: один из моих друзей ближайших, друзей еще, собственно, юности, был Лев Васильевич Пумпянский, о котором я Вам говорил. Он был на военной службе, отбывал военную службу в маленьком городке Невеле. Да... Очаровательная природа... Там вообще было прелестное место. И вот он там отбывал воинскую повинность, там он всех знал, его все знали. Он приезжал, приехал как раз в Петроград, где был голод, есть было почти нечего. И вот он меня уговорил поехать туда в Невель к нему: там можно и заработать, и там питания сколько угодно и так далее. Так я и сделал. Это было в 18-м году.

Д: И кем же Вы там работали?

Б: Да, теперь так. Туда была переведена Новосвенцянская гимназия. В этой Новосвенцянской гимназии директором оказался мой бывший учитель математики. А тут он был уже директором, уже седым человеком совершенно, стариком. Ну и вот, я, значит, устроился преподавать в этой Свенцянской гимназии. Но преподавателем Свенцянской бывшей, Новосвенцянской гимназии (ее эвакуировали просто, там было

занято немцами) я был очень недолго, кажется, два-три месяца, а после этого уже переименовали гимназию в единую трудовую школу. Но тогда осталось все то же самое: остались кончать ученики этой школы, преподаватели остались, остался и директор этот, мой друг, мой старший друг, мой учитель, — Павел Адамович Янкович [19]. Он остался, но только не директором. Я не помню, там кто был назначен директором. Но он фактически продолжал работать.

Д: И что же, Вы там весь 18-й год и дольше прожили?

Б: И 19-й год. Два года я там прожил.

Д: Ага, вот тут-то я наконец... А то я не мог понять, почему у Вас такое зияние, почему Вы кафе не помните... Ведь это в то время все и складывалось. Вы уехали из Петербурга и просто там, так сказать, пересидели самое голодное время.

Б: Самое голодное время пересидел. Около двух лет я там был... А потом я переехал вместе с моим другом Пумпянским в Витебск. Но это тут же, рядом все это было — губернский город. А в Витебске в то время был расцвет культуры: очень многие ленинградцы от голода переселились туда, временно, конечно, — в Витебск.

Д: И там Шагал был.

Б: Там был Шагал, но Шагал местный житель был, местный житель был — длинноногий...

Д: И Вы с Шагалом познакомились?

Б: Немножко, да, знаком. Но я очень мало с ним знаком; я не помню, сколько времени при нем я был, а потом он уехал как раз, уехал.

Д: Значит, Вы там 20-й год уже были? [20]

Б: Там уже был... 20-й, 21-й, 22-й год.

Д: Но, простите, а как же Вы в 21-м году?...

Б: А-а, я приезжал, приезжал в Москву и в Ленинград. Приезжал. В Москву... я вообще здесь не жил. Я из Ленинграда приехал и потом в Ленинград уехал. А в Москве бывал наездами.

Д: Ну, теперь понятно.

Б: Москву я вообще не любил.

Д: В Москве Вы не любили бывать?

Б: Я и раньше, конечно, бывал в Москве, я же орловский, орловский.

Д: Не любили Москву?

Б: Не любил Москвы, нет. Ну и вот, в Невеле, значит, около двух лет... Притом там своеобразная вещь была, тоже для тех лет характерная: было создано Невельское научное общество [21]. Но это была не игра, вовсе нет. Председателем его был, между прочим, я. А членами были Пумпянский, Матвей Исаевич Каган, философ, химик Колюбакин [22]; к сожалению, потом он...

Д: Погиб?

Б: Да, вероятно, погиб, я уж не знаю, но, когда я его видел в последний раз (был талантливейший человек), он был морфинистом уже в крайней степени, безнадежным морфинистом. Ну вот, это общество. И там нам платили, платили, зарплата была установлена. Правда, зарплата была, конечно... едва хватало...

Д: Пайки получали какие-то?

Б: Пайки — да. Пайки получали. Вот. Потом, нужно сказать, что все эти полтора-два года, которые я прожил в Невеле, там было в отношении питания очень хорошо. Все, что угодно, было.

Д: Значит, Вы петербургского горя не испытали так, в полной мере?

Б: В полной мере — нет. И своим еще посылал из Невеля.

Д: А Вы уже женаты были в это время?

Б: Тогда — нет. Нет.

Д: А «свои»-то кто же у Вас были? Родители?

Б: Свои? Отец, мать, сестры. Нужно сказать, мать и три сестры погибли во время блокады Ленинграда [23].

Д: От голода погибли?

Б: Погибли, да, от голода, от депрессии... Во время блокады... Мать была уже старушка...

Д: А отец еще был жив?

Б: Он умер раньше. Он умер раньше благополучно. Относительно, конечно.

Д: А в Витебске Вы сколько были?

Б: А вот Витебск интересен. Почему? Потому что там скопилось очень много представителей, и таких очень крупных представителей, петербургской, петроградской интеллигенции. Они организовали там очень хорошую, на высоте вполне находившуюся, консерваторию [24]. Я там преподавал, в этой консерватории [25]. Во главе, директором консерватории,

был Малько. Малько — это дирижер, главный дирижер Мариинского театра.

Д: О-о-о!

Б: Очень крупная фигура. И замечательный музыкант, замечательный музыкант. Затем, там был Дубасов, очень крупная фигура [26]. Он заведовал классом рояля. Он был великолепнейший педагог. У него очень многие будущие деятели музыкальные учились.

Там был Пресняков [27]. Это был балетмейстер Мариинского театра. У него маленькое такое имеьице было в Невельском уезде, и вот он тоже там был. Ну, там были еще целый ряд лиц. Это, значит, консерватория. Просто блестящая была консерватория...

Дальше. Там было художественное училище. Директором художественного училища был не кто иной, как Казимир Малевич [28].

Д: Да что Вы!

Б: Да... основоположник супрематизма.

Д: Это как раз период «Черного квадрата» [29], да?

Б: Да, пожалуй. Вот. Он был директором. Помещение было великолепное. Там когда-то был такой крупный банкир, Вишняк [30]. Вот его дом, построенный так очень своеобразно, и был отдан под художественное училище. Художественное училище... Малевич был душа этого дела. Человек в высшей степени интереснейший.

Д: Вы знали Малевича?

Б: Знал. Мы с ним были в те годы близки, пока он был и я — были вместе в Витебске, близки. Вот. Очень полюбила его моя жена, очень он ей нравился, Малевич. И мы там частенько проводили у него время, в этом училище [31].

Д: Жена? Вы уже были женаты?

Б: Я уже тогда был женат.

Д: Вы женились где, в Невеле?

Б: Нет, в Витебске. Моя жена — витеблянка. Ну и вот. Он, кроме того, еще занимался астрономией.

Д: Малевич?

Б: Малевич, да. У него был небольшой...

Д: Может, влияние Хлебникова?

Б: ...телескоп был... Отчасти, конечно, влияние Хлебникова... [32] И вот он по ночам занимался созерцанием звездного неба и так далее, притом зани-

мался им вот в таком... с хлебниковским проникновением во Вселенную. Он умел очень хорошо и убедительно высказывать свои воззрения как художник и как такой мыслитель своеобразный, несмотря на то что образования никакого у него не было. Художественное было, конечно, а такого образования... Он был начитаннейший, знающий человек... [33]

Д: Значит, свои эстетические тезисы какие-нибудь были?

Б: Да, он высказывал их постоянно. Он даже написал брошюрку, которая потом исчезла [34].

Д: Ну что же, он, собственно, основоположник на русской почве того, что мы теперь называем абстракционизмом?

Б: Да, но это была особая форма.

Д: В чем сущность этого супрематизма? «Супрем» — превосходный [35].

Б: Супрематизм? Нет. Здесь мысль — ну самая высшая, последняя в области искусства.

Д: Супрем.

Б: Да, супрем, супрематизм. А теперь так: в отличие от абстракционистов он был таким все-таки... в этом отношении он продолжал традиции Хлебникова — вселенская...

Д: Ага... Интернационализма и вселенскости...

Б: ...вселенская, вот. Макрокосм, Вселенная — вот что его занимало.

Д: ...волновало...

Б: И вот он говорил так, что, в сущности, наше искусство, оно работает в очень маленьком уголке, в трехмерном пространстве. Это же уголок, уголок, это, ну... маленькое отхожее место, и больше ничего. А большая Вселенная не входит сюда, и не может... нельзя ее вместить. И, находясь в этом самом уголке, нельзя и понять эту Вселенную. И вот он, так сказать, старался в нее проникнуть.

Я помню первое свое знакомство с ним. Я пришел туда с кем-то, я уже не помню, просто познакомиться с ним и с его школой. И он нас встретил, очень радушно, водил нас по классам и давал объяснения. И вот я помню его первое объяснение. Он подошел к какому-то скульптурному изображению и сказал: «Ну, вот скульптурное изображение. Вот тут три измерения как будто бы, так вот...» Показал, все это... Он

умел еще вдобавок все это делать очень конкретно. «А вот я, художник, который это создал, — я нахожусь где? Ведь я же — вне этих вот трех измерений, мною изображенных. Вы скажете: я тоже нахожусь в трех измерениях. Но ведь эти три измерения другие, другие. Я их созерцаю и как художник созерцающий помещаю свой глаз по ту сторону трех измерений, в четвертом измерении, если уж считать их арифметически. Но их арифметически считать нельзя. Нельзя сказать: три измерения. Их тридцать три, триста тридцать три и так далее — их без конца. И вот в этих измерениях, измерениях мировых, космических, вселенских, я как художник помещаю свой глаз, только. Сам я, как человек, конечно... Вы можете меня ударить и так далее — все это, но как художника попробуйте меня ударить... Глаз мой вне ваших...» [36]

Д: Мой глаз, которым я смотрю, вне возможностей воздействия вас... Да?

Б: Да-да, вот-вот. Вы ничего мне не можете сделать. Ну вот. И вот все это как-то было очень убедительно, потому что это был человек... Он ничего из себя не изображал, не ломался, ничего. Он был искренне убежден в этом. Он был немножко маньяк. Но кончил он в сумасшедшем доме, между прочим [37].

Д: Да?

Б: Он умер в сумасшедшем доме в крайней бедности...

Д: Где?

Б: По-моему, в Москве.

Д: Он не уехал?

Б: Нет-нет, он не уехал. Его произведения, конечно, проникли повсюду. Еще при жизни его в Америке его конструкции, вот так называемые супрематы, пользовались огромным успехом. Только он говорил, что они эти супрематы ставят не так, как нужно: они должны быть в горизонтали, а они их ставят вот так, вертикально. Ну, говорит, все равно, конечно, супрематы остаются супрематами, это положение не разрушает их смысла художественного, но все-таки, так сказать, полнота смысла раскрывается вот при таком положении. И вот в Америке в то время... он пользовался огромным успехом [38].

Д: Уже тогда?

Б: Уже тогда, уже тогда. Вот его конструкции в Америке шли... их использовали...

Д: А у нас?.. Значит, он там преподавал, а потом он что?

Б: Бедствовал и попал в психиатрическую больницу. Очень скоро после отъезда из Витебска. Я даже не знаю, какая у него болезнь, не знаю. Может быть, даже, кто знает... В то время плохо...

Д: Плохо разбирались.

Б: ...острый психоз... острый невроз, а не психоз, может быть. Кроме того, он был истощен.

Д: Истощен был?

Б: Тогда, когда мы жили в Витебске, — нет, потому что там было питание хорошее, можно было купить все, что угодно. Он был, я бы сказал, плотным человеком, плотным человеком... Лицо у него было... волевое...

Д: Он примерно вроде поколения Маяковского?

Б: Да, он 90-го года, да. Да-да, он был не стар. Пожалуй, немножко старше он был все-таки, я сейчас не помню. Да и не знал я точно его возраст. Он старше был несколько. Притом, нужно сказать, его ученики и ученицы на него молились совершенно, совершенно. И все они предавались такому вот полумистическому созерцанию глубин Вселенной и так далее. Все они выходили из обычного пространства в своей живописи. Все они свято верили в это. Это было действительно так, повторяю, здесь ни фальши, ни игры не было [39].

Д: Вот какой неожиданный еще портрет.

Б: Да, вот видите, да. Он был вообще очень интересен, говорить с ним было интересно. Но при этом он был абсолютно бескорыстен, абсолютно. Не гонялся ни за успехом, ни за карьерой, ни за деньгами, ни за хорошим питанием — ничего ему этого не нужно было. Это был такой, если хотите, аскет, влюбленный в свои идеи. Он был свято убежден, что открывает новое совершенно, что ему удалось проникнуть, заглянуть в такие глубины Вселенной, в которые никому не удавалось заглянуть.

Д: Ну кто же еще там, в Витебске, был? Это художественное училище... Директор — Малевич, да?

Б: Малевич был директором, да. Ну, там, так сказать, профессором считался... лучшим — Пэн [40]. Был такой художник — Пэн. Он был известен. Но вообще был обыкновенный.

Д: Это была обыкновенная фигура?

Б: Обыкновенный, да, такой вот именно реалист, продолжатель передвижников. Так что ничего такого. Ну, он владел, конечно...

Д: У него, по-моему, Шагал учился.

Б: Возможно. Да, там, конечно, только у него и можно было учиться.

Д: Вот откуда я его знаю: мне о Шагале рассказывала Азарх Александра Вениаминовна [41]. А Вы Александру Вениаминовну — Александра Вениаминовна Азарх, впоследствии Грановская, хотя, может, девичья другая фамилия, — не знали, нет?

Б: Не помню.

Д: Вот она мне о Шагале... О Михоэлсе! Ведь тоже там был?

Б: Михоэлс там тоже был, да. Но там я его не знал.

Д: Театрального училища там не было?

Б: Театрального училища там не было. Нет, при консерватории там был кружок создан, театральный...

Д: И вот в том числе там был и Михоэлс.

Б: Михоэлс? Да, вероятно, он там был.

Д: Но, значит, несмотря на то что городок маленький, не вся эта группа была едина.

Б: Нет. Но дело в том, что городок был совсем немаленький. Все же это был большой губернский город, и очень культурный. И раньше сколько выходцев из Витебска, очень многие, очень многие...

Д: Вот, в частности, и Каганы — Брик, Лиля Юрьевна, там гимназию кончала [42].

Б: Да. Там же кончал гимназию философ Лосский, профессор Лосский, мой учитель по университету.

Д: Это который до 65-го года дожил.

Б: Да. А вот недавно я узнал, что там же жил долгое время отец Дельвига, пушкинского Дельвига, и Дельвиг туда ездил к отцу, в Витебск. Еще там целый ряд таких лиц...

Д: Так что можно охарактеризовать Витебск как одно из таких культурных...

Б: ...гнезд. Да, безусловно. И в то время он был... Потом-то, конечно, опять все это... Когда все утряслось, все разъехались: и Малько уехал, и Пресняков уехал, и другие, которые там были. И этот уехал и умер... Малевич.

Д: Значит, это вообще-то гнездо уже было, тем более там вырос такой... такая сила, как Шагал, но в период, когда Петроград бедствовал, там был расцвет.

Б: Да, там был расцвет.

Д: И сколько же Вы там пробыли, в Витебске?

Б: Там я пробыл довольно долго, почти до... до 23-го года, значит, почти три года полностью, на четвертый год я оттуда уехал, вернулся... [43]

Д: То есть Вы приехали туда в 18 — 19-м и пробыли там 20-й, 21-й и 22-й?

Б: Да. В 21-м году как раз наш брак имел место, в 21-м году, в мае 21-го года [44].

Д: И она была местная, Ваша супруга?

Б: Она была не совсем местная.

Д: Как ее имя?

Б: Отец ее был таким очень видным, крупным губернским чиновником до революции, и, кроме того, у них было имение небольшое, под Полоцком [45]. Я там и жил, два или три лета жил у нее там, у них — родители еще были живы. Ну вот. А родилась она вот именно в этом имении под Полоцком. Ну это тоже в двух шагах от Витебска.

Д: Как имя, отчество и фамилия Вашей супруги?

Б: Елена Александровна Околович.

Д: Околович?

Б: Околович, да. Берш-Околович.

Д: Берш? Это что же, еврейское?

Б: «Берш» — вроде такого, ну... вроде «фон» или «де» (*хмыкает*), французского «де» или «фон». К дворянству прибавлялось это. «Берш» — это не фамилия. Берш-Околович — это вот почему... Я хорошенько сейчас даже не помню... она была болгарского происхождения. Но это болгарское происхождение очень старое, а так и мать и отец были совершенно русские, совершенно русские.

Д: Да-а. Так, ну, значит, теперь я уловил. Москва была только местом приездов... А потом, значит, в 23-м году, переселились в Петроград? И там до 29-го года жили?

Б: И там до 29-го года жил.

Д: Вы... Я-то Вашу книжку помню, но... Вы не пользовались громкой известностью...

Б: Нет, я пользовался в очень узких кругах известностью только. Вокруг меня был круг, который называют сейчас «круг Бахтина»... Вот о нем последнее время часто пишут. Сюда включают прежде всего Пумпянского, Медведева Павла Николаевича [46], Волошинова. Кстати сказать, все они были и в Невеле, кроме, правда, Медведева.

Д: Медведев — это который потом о Блоке тоже писал, да?

Б: О Блоке писал, да. Его первая книжка такая была — «Творческий путь Блока» [47].

И вот все они трое были в Витебске, и там, в сущности, заложена основа вот этого круга, который потом в Ленинграде обосновался. Там я читал, вел такие, частные совершенно, у себя на дому... философский курс, по Канту сначала (я был таким заядлым кантианцем), а потом вообще более широкие темы у нас были [48].

Д: А в университете Петербургском, Ленинградском, Вы не преподавали?

Б: Я — нет, не преподавал, не успел. Должен был преподавать, но не успел.

Д: И вот с кругом Богатырева, Шкловского Вы не были, не совпадали?

Б: Нет-нет.

Д: И даже не соприкасались?

Б: Не соприкасался, по-моему, никак, никак не соприкасался. Да.

Д: Богатырев, Шкловский, Винокур, Якобсон...

Б: Да, но дело-то в том, что Винокур... Винокур? Да, Винокур был... Да, Винокура я знал.

Д: Это же все-таки все к ОПОЯЗу...

Б: Это — да, но Винокур к ОПОЯЗу не имел отношения, нет, никак, по-моему, не имел...

Д: Винокур вообще-то ученик Ушакова, а Ушаков — это ученик Фортунатова.

Б: Да-да, продолжатель знаменитого Фортунатова... Московской школы, а не Петербургской...

Д: А не Бодуэна де Куртенэ.

Б: ...Бодуэн де Куртенэ, да-да, вот.

Д: А Бодуэна де Куртенэ Вы не застали?

Б: Застал, ну как же, конечно, застал. Слушал его лекции.

Да, тут еще можно сказать вот о чем. Значит, я уехал из Петрограда, а вернулся я уже в Ленинград.

Д: Как же так? В 24-м уже? В 23-м еще был Петроград.

Б: Ну вот, да, а потом сразу стал Ленинград.

Д: Он стал Ленинградом в мае 24-го года.

Б: 24-го года, да-да. Ну, так или иначе, уже дальнейшая-то жизнь проходила у меня в Ленинграде. Ну и вот, тут было так... Были некоторые салоны... литературные. Ну вот, в частности, еще кончал свое существование салон Щепкиной-Куперник. В этом салоне я бывал в последние годы его существования [49].

Д: Что же, этот салон Щепкиной-Куперник был чем-нибудь интересным все-таки?

Б: Нет, мне там не очень нравилось. Там все такие... несколько допотопные фигуры были...

Д: Как она сама.

Б: Как она сама, да. Бывшего генералитета русского, из присяжных поверенных, старых таких ведущих, видных присяжных поверенных. И вот там в то время, собственно, салон был не столько Щепкиной-Куперник, сколько ее мужа, Полынова. Николай Борисович Полынов [50]. Это был брат академика Полынова. Он был видный присяжный поверенный... Очень милый, очень культурный человек. Он очень увлекался и философией, и эстетикой особенно, и искусством, поэзией. И вот там я тоже выступал, читал всякие такие лекции, сообщения и так далее.

Д: Ах Вы выступали?

Б: Тоже выступал.

Д: Все на философские темы?

Б: Да, на философские, на эстетические главным образом, на философско-эстетические.

Д: Как кантианец?

Б: Да.

Д: И Вы позволяли себе роскошь, так сказать, — я, конечно, говорю иронически, — позволяли себе роскошь в Ленинграде 24-го года выступать с философскими лекциями как кантианец?

Б: Как кантианец.

Д: Что Вас, очевидно, и привело потом в дальние края?

Б: Да, и привело. Тогда казалось... ничего страшного... Потом появилась статья... статья братьев Тур, безымянная...

Д: Безымянная?

Б: Да. То есть имена не назывались, авторов просто знали — братьев Тур, по материалам...

Д: Фельетон?

Б: По материалам... Да, вроде такой статейки... Фельетон...

Д: По материалам Вашего этого салона?

Б: Дела, да, этого... в МГБ.

Д: Ах это потом?

Б: В ГПУ. Нет, это сразу еще.

Д: Подождите, но ведь 24-й год еще пока только!

Б: Нет, это уже было, конечно, в 29-м или 30-м. В 29-м году. Вот. Мне прошлое вспоминали: что я читал кантианские лекции и так далее. Вот мне, собственно, и было вменено то, что я читал неофициально лекции такого идеалистического характера. Собственно говоря, ни в чем меня даже не обвиняя... допрос был один... Надо сказать, в то время ГПУ все-таки еще продолжало традиции Дзержинского, еще традиции Дзержинского держались. Поэтому я, например, не могу пожаловаться: обращение было самое, так сказать, корректное во всех отношениях.

Д: Вас не материли и не били?

Б: Нет-нет-нет! Нет-нет. Заведовал Вторым отделом тогда некий Иван Филиппович Петров — сам так, мелкий писатель был раньше. Вот. Он был очень корректен и с явным сочувствием относился ко мне как к литературоведу. А следователем был Стромин-Строев, тоже человек порядочный [51]. Потом оба были расстреляны, оба были расстреляны в связи с убийством Кирова, потому что они знали что-то, знали, и поэтому их надо было удалить — и их удалили, уничтожили.

Д: Понятно.

Б: Да, так вот, статья тогда появилась под названием «Пепел дубов».

Д: «Пепел дубов»?

Б: «Дубов», да. «Пепел дубов». «Дубы» — это Кант, это Владимир Соловьев и так далее, а мы...

ЧЕТВЕРТАЯ БЕСЕДА — 15 МАРТА 1973 ГОДА

Д: Ну, продолжим, Михаил Михайлович. Вот докончите то, на чем мы оборвали в прошлый раз: относительно какой-то статьи.

Б: Да. В это время в вечерней «Красной газете», которую тогда называли все «Биржевка», потому что она действительно была похожа на старую дореволюционную газету «Биржевые ведомости», была опубликована статья братьев Тур под названием «Пепел дубов» [1]. В этой статье характеризовались лица... круг людей, которые в то время подвергались... репрессиям со стороны ГПУ. В эту группу входили представители разных поколений и, в сущности, разных групп. Но эта статья, она охватывала, так сказать, все эти группы. Правда, там указывалось — вот были такие, такие и такие, но имен не называлось. Имелись в виду прежде всего представители старшего поколения: это академик Платонов [2]...

Д: Платонов? Тот самый, который потом упоминался в процессе Промпартии... как потенциальный министр иностранных дел.

Б: Министр, да-да. Да.

Д (*усмехаясь*): Но это было назначено, по-моему, даже без его ведома. Может быть, он об этом и не знал.

Б: Вообще чепуха и вздор! Ну какой-то там, я не знаю, в пьяном виде в каком-нибудь парижском кабаке вздумал составлять список, если, в случае чего, большевики падут, то какого б можно было бы назначить... Ну просто так, ну мало ли что!

Д: Нет-нет. Это... Что вот эта самая Промпартия, рамзинская...

Б: Да, я знаю.

Д: Вот так было по газетам — намечала кабинет. Это не эмигранты. И там, значит, по-моему (я ошибся), премьером, кажется, должен был быть Платонов,

Рамзин — еще кем-то, а Тарле — министром иностранных дел.

Б: Да-да. Но дело в том, что первоначально это все подносилось совершенно иначе: что будто бы это в эмиграции составили этот список, в эмиграции. А уж Рамзин, так сказать, оттуда это якобы взял.

Д: Может, и так, это я не знаю...

Б: Да ну, Бог с ним, это неважно в конце концов.

Д: Это сюда прямого отношения не имеет.

Б: Выдумка совершенно вздорная. И конечно, ни Тарле, ни Платонов об этих своих министерских постах представления не имели. Да, там еще фигурировал и председатель Религиозно-философского общества Карташев в качестве министра культов. Он действительно был министром культов в правительстве...

Д: ...Керенского...

Б: Да-да. В одном из первых, Временном правительстве, да-да. Я еще в Религиозно-философском обществе был на последнем заседании этого общества. Там он выступал уже как министр, а не как председатель общества.

Д: Ну так договорите об этой статье.

Б: Да! Так вот. В этой статье указывалось, что существуют представители интеллигенции советской, которые тем не менее продолжают старые, дореволюционные традиции, традиции таких людей, таких... ученых, как Кант, как Гегель, как... Владимир Соловьев и другие.

Д: Одним словом, продолжают утверждать философский идеализм.

Б: Философский идеализм, религиозное мракобесие и так далее и так далее. Но что они, конечно, уже лишены почвы. Почвы нет для них. Кант и прочие — это были дубы, а вот эти люди — это только пепел дубов, потому что, кроме пепла, ничего и не могло остаться от этих людей: почвы, на которой росли эти дубы, уже давным-давно нет. Вот примерно смысл этой статьи.

Д: Собственно, пепел — это уже идеи?

Б: Это... Да, идеи. Но вот они хотели сказать, что и идеи... собственно говоря, тоже уже лишены всякой почвы, всякой почвы. И поэтому люди, исповедующие эти идеи, уже не дубы, а всего только пепел дубов. Вот.

Д: И это писали братья Тур?

Б: Братья Тур писали, да, братья Тур. Они до сих пор еще, по-моему, живы, и время от времени как-то их имена встречаются. Они вовсе не братья, а может, и братья какие-нибудь, но, одним словом, один из них — Тубельский, а другой — Рыжей. Тубельский — Ту. Ту. А другой — Рыжей.

Д: Ах, вот это я не знал. Это как Кукрыниксы?

Б: Вот как Кукрыниксы, да. Они одесситы. Но тогда они были уже, конечно, не одесситами, а петроградцами и были связаны с ГПУ. И еще у них есть статьи, по материалам ГПУ написанные. ГПУ, так сказать, охотно тогда открывало кое-что из своих дел вот таким «передовым», «прогрессивным» журналистам (*усмехается*), как братья Тур. Вот это.

После этого, следовательно, целый ряд лиц, в том числе и я, уехали... были высланы... были сосланы.

Д: То есть все, кто там... Опять же никто не был упомянут... Но люди, которые подозревались, к моменту появления статьи уже были арестованы?

Б: Уже были арестованы и даже уже, по-моему, уехали частью.

Д: Приговорены.

Б: Да, приговорены и даже уже и уехали по приговору.

Д: И значит, что же — сидели долго здесь? Сидели на Лубянке долго?

Б: Нет, не на Лубянке. Это в ДПЗ — Дом предварительного заключения. В Ленинграде, на Шпалерной. На Шпалерной находился Дом предварительного заключения, а на Гороховой находилось МГБ само.

Д: То есть ГПУ.

Б: Да-да, то есть ГПУ. Да-да, на Гороховой. Ну вот. Должен сказать, что обращение с нами, в частности со мною, в МГБ было очень хорошее. Кстати, анекдот (*смеется*), но это записывать не надо. Там, одним словом, какая-то женщина, прислуга говорит: «Барина? Барина нету. Барин все время в Америку ездит: то в ЧЕКАгу, а то в ГПУгу» — и так далее, то есть (*смеется*) барина все время сажают. Да...

Д: Ну, Бог с ним, с анекдотом. Продолжайте.

Б: Да... Так обращение было вполне корректным: никаких методов принуждения не применялось. Люди были воспитанные вполне, и люди были компетент-

ные, в частности в области литературы. (*Пауза.*) Называть не будем их.

Д: Это было?... Давайте. Почему? Можно. Это было еще при Дзержинском?

Б: Нет, это было уже при Менжинском, но держались еще традиции Дзержинского, который, как Вы знаете, не допускал грубого обращения с заключенными. Был вообще человек очень вежливый, очень вежливый.

Д: И значит, какие же вы получили приговоры?

Б: Приговоры разные были... Самые главные...

Д: Вообще, кто был? Перечислите вот эту компанию, «пепел» этот. Кто попал сюда? И действительно ли это был кружок? Нет?

Б: Нет, кружка этого не было. Были кружки, были просто так... Одним словом, организации никакой не было [3], и... ГПУ не установило наличия организации, иначе и приговоры были бы другие. Тогда очень большое значение придавалось тому, была ли организация или нет. Никакой организации не нашли. А были кружки, были просто связи, дружеские связи. Потом — читались лекции на дому, в частности, я, например, очень много делал докладов на дому.

Д: И кто же, значит? Вы назвали Тарле, Платонова...

Б: Тарле, Платонов, затем... Игорь Евгеньевич Аничков, затем...

Д: Карташев?

Б: Нет, Карташева не было. Карташев был уже за границей. Затем... Комарович [4].

Д: Он кто был, историк?

Б: Он был... нет, он был литературовед, литературовед. Он был — нет, он был человек очень талантливый, очень талантливый. Он написал книгу на немецком языке — «Urgeschichte der "Brüder Karamasoff"» — «Истоки "Братьев Карамазовых"» [5]. Это большой труд, который был издан в Германии. Кроме того, он написал и у нас издал тоже очень хорошую книгу — «Легенда о граде Китеже» [6]. Это он исследовал подробно историю возникновения и, так сказать, различные варианты легенды о Китеже. Затем у него статьи, очень ценные статьи о Достоевском в сборниках того времени о Достоевском, издаваемых Долининым. В частности, у него статья о

«Подростке» — «Композиция романа Достоевского "Подросток"» [7].

Д: А, это я знаю.

Б: Вы, вероятно, знаете, конечно. Он потом вернулся, и вернулся рано; кажется, ему дали только три года, и отправили его на эти три года в Горький, тогда еще назывался... Нижний. А там у него как раз был отец видным врачом горьковским, так что он, собственно (*усмехается*), домой поехал. А потом он вернулся и продолжал работать, и работать в исследовательском институте. Издал несколько статей. У меня даже есть — какая-то добрая рука прислала мне вот эти работы, оттиски работ его, и библиографию всех его работ. Я даже не знаю кто, из Ленинграда мне прислали, давно это было, когда еще атмосфера была другая. Ну вот. А потом он умер во время... блокады, как и Энгельгардт, тоже умер во время блокады.

Д: И Энгельгардт тоже входил?..

Б: Нет, Энгельгардт не входил в эту группу. Энгельгардт был несколько позже репрессирован [8].

Д: Ах он был тоже репрессирован?

Б: Тоже репрессирован, да, и его арест был связан с ужасным событием: его жена, Энгельгардта, была урожденная... Гаршина. Она была Гаршина.

Д: Что, дочь? Племянница?

Б: По-моему, племянница была, племянница была. Но тоже Гаршина. И она была... страдала той же болезнью, что и Гаршин: время от времени с ней бывали припадки, она была невменяема. И вот когда его уводили — они жили на пятом этаже, по-моему, лестница была одна только, так как тогда в домах главные, парадные лестницы все были аннулированы, вот, — и вот она с пятого этажа, вслед ему, когда его сводили вниз, — она бросилась и разбилась насмерть. Так что когда он спустился со своими провожатыми, то они нашли ее изуродованный труп внизу.

Д: Кошмар какой!

Б: Была ужасная, кошмарная история. Ну, потом, когда Энгельгардт вернулся, он нашел другую жену, из своих бывших студенток, а затем во время блокады он тоже умер.

Д: Так... Ну, и еще там, значит, Платонов, Тарле... Комарович, Аничков... А вот эти... Хотя это москвичи все... Ну вот, никто не входил туда, в этот «пепел

дубов», не имелись в виду вот философы-идеалисты... Или они уже высланы тогда были? Франк, Ильин...

Б: Нет, потому что они уже находились за границей.

Д: Их выслали, значит, за год до этого, собственно, в 23-м году [9].

Б: За год, да, в 23-м году. Нет, не за год, что Вы! Ведь это мы не в 24-м году, а это было в 28-м году.

Д: Ах да, ну да, да-да!

Б: Так что они уже давно осели за границей.

Д: Значит, в 23-м году... применялась еще такая мера, как высылка за границу. А тут были уже или высылка, или... что, и концлагерь? Или Соловки?

Б: Для нашей группы были, значит, Соловки... Соловки, Кемь, Казахстан — такие вот места. Я попал в Казахстан северный, скажем, Тарле попал в южный Казахстан [10]. А Андреевский и... Да, Андреевский в Соловки попал [11], в Соловки, кто-то еще из этой группы, из моих друзей попал в Соловки, да.

Д: И значит, все это произошло в конце 28-го года.

Б: В конце 28-го — в начале 29-го года [12].

Д: Теперь вернемся к нашей основной, так сказать, программе.

Б: Да.

Д: Значит... Вы вернулись в Петроград в 24-м году. До смерти Ленина или после смерти?

Б: После смерти. Он же умер в самом начале, в январе...

Д: В январе 24-го.

Б: Да, а мы приехали весною ранней.

Д: То есть Вы там в марте-апреле?

Б: В апреле примерно. По-моему, в апреле.

Д: Так, в апреле. Значит, с апреля 24-го года по декабрь 28-го Вы жили уже в советском... Ленинграде. Уже в Ленинград только что переименовали Петроград.

Б: Да, Петроград только что переименовали.

Д: Только что переименовали в 24-м году. Вы приехали уже в Ленинград.

Б: В Ленинград, уже в Ленинград, по-моему, приехал.

Д: Да. Еще слово звучало неожиданно и свежо. И здесь попали в какую-то литературную среду, участвовали в литературной жизни, начали свои первые

труды, знакомились с рядом крупных... в то время даже, может быть, не крупных, а потом себя проявивших людей и поэтов, как вот эти обэриуты, Константин Вагинов, вот, может быть, о Заболоцком что помните. Ну, одним словом, тут я больше дробиться на вопросы не буду. Предоставляю Вам слово, чтобы Вы об этом пятилетии, почти полные пять лет, мне сегодня и рассказали. Мы Вас слушаем.

Б: Да... В Ленинграде я встречался с некоторыми представителями старшего поколения, в частности, — с Федором Сологубом. В то время Федор Сологуб был председателем Ленинградского отделения Союза писателей.

Д: А не Союза поэтов?

Б: Нет, писателей, писателей.

Д: Был такой.

Б: Да-да, был такой... в нем и прозаики были, и сам Сологуб был уже больше прозаик, чем поэт.

Сологуб человек был — тогда — довольно тяжелый, можно сказать. Тяжелый. И в нем чувствовалась озлобленность, озлобленность больше на личной почве. Не на политической, не на... Это нет. Но он потерял свою жену. Как известно, она утопилась, бросилась...

Д: Вы не знаете, с чем это связано? Это было психическое расстройство или...

Б: Вероятно. Во всяком случае, она... Нет, она не была сумасшедшей, отнюдь нет, но обстоятельства сложились чрезвычайно неблагоприятные — и она бросилась... Притом труп ее долго не был найден. А потом его выбросило водой... куда-то его прибило, этот труп. Ну, одним словом, он ездил опознавать ее, опознал. Он был очень тесно с ней связан, очень любил ее, по-видимому...

Д: Это Чеботаревская?

Б: Чеботаревская, да.

Д: И она в Неву бросилась?

Б: В Неву, по-моему, да, в Неву [13]. И у него было такое озлобленное настроение. Ну, кроме того, как известно, он был пессимист, певец смерти, Смертяшкин, как его охарактеризовал...

Д: ...Горький.

Б: Горький, да-да. Но тем не менее он собирал вокруг себя молодых писателей, литературоведов. Неко-

торые даже на его квартире читали свои доклады, например, вот мой друг Пумпянский прочитал, кажется, два или три доклада на его квартире. Я помню, ему очень понравился доклад о трех «Памятниках». Это доклад Льва Васильевича, он не был опубликован [14]. Три «Памятника» — это Гораций, Державин и Пушкин, сопоставление такое историко-литературное.

А... в то же время, несмотря на свое такое тяжелое пессимистическое настроение, он, например, был очень неравнодушен к молодым и хорошеньким женщинам. Может, об этом не записывать?

Д: Равнодушен или нет?

Б: Неравнодушен. Все еще неравнодушен. И несмотря на то что он был певцом смерти, умирать он не хотел, умирать не хотел.

Д: Но как раз вскоре и умер.

Б: Вскоре и умер, да.

Д: В 27-м году.

Б: Да-да, очень скоро умер. Как председатель Союза он держался очень независимо, очень независимо; в то время, когда стали подавать и вступать в Союз представители вот такой критики — уже коммунистической, марксистской... Такой был Горбачев, в то время очень популярный критик [15].

Д: Он уже в то время существовал? РАПП?

Б: Да, уже существовал. Да. Вот я помню то, как принимали в Союз Горбачева. Притом так — к своим членам правления он обращался дружески, почтительно: «Товарищи, товарищи...» — а про Горбачева: «А вот тут господин Горбачев, господин Горбачев (*с оттенком пренебрежения*) подал заявление. Как вот, как товарищи?..» — вот так вот, в таком стиле он держался, очень независимо.

Д: Это уже вызов. Почти провокация. (*Смеется.*)

Б: Да. (*Усмехается.*) Но...

Д: А Горбачев как на это реагировал?

Б: А Горбачева при этом не было. При этом не было Горбачева, нет-нет. Он подал заявление и так как-то... рассматривали это заявление... Потом, очевидно, когда если б приняли бы, то его бы вызвали. И вот он так держался очень независимо. Его не трогали, конечно. И в то время с такими считались, таких не трогали. Хотя и знали об его настроениях, но, вероятно, знали больше: знали, что он аполитичен, в

сущности, совершенно, что это так — он срывал свое раздражение, но политически он был совершенно равнодушен, нейтрален. Тогда устраивался открытый вечер его, еще на котором выступал Волынский.

Д: Еще был жив?

Б: Был жив еще Волынский, я его знал.

Д: Аким Волынский?

Б: Да, Аким Волынский [16]. Встречал его, да, в одном из салонов. Вот он там выступал с вступительным словом, в котором, я помню, он так там: что вот «Федор Тетерников, когда был учитель, учителишка, — ходил в замызганном сюртуке...» [17]

Д: Это Аким Волынский так говорил?

Б: Да, что вот, дескать, а теперь он вот кто такой... А... этот... бросил реплику, правда, так сказать, не в публику, а за кулисами (я там тоже находился). Реплика такая (*шепотом*): «Когда я ходил в замызганном сюртуке?! Что он врет?! Я всегда очень аккуратно и хорошо одевался». (*Смеются.*) А тот это запустил... для того чтобы, так сказать, демократизм (*смеясь*) показать свой. Аким Волынский, он под конец был глубокий старик, ему было очень тяжело. Он все жаловался: «Я не могу работать без крепкого чая, а к крепкому чаю нужен сахар, а сахара нет». Вот так примерно. (*Усмехается.*) Это Волынский. И так он старался немножко, чуть-чуть подладиться, подладиться чуть-чуть.

Д: Что же, Аким Волынский написал книжку о балете в это время [18].

Б: Да, но я не знаю, что он тогда писал.

Д: А у Сологуба на это время падает несколько книг: «Чародейная чаша»... «Одна любовь»... [19]

Б: Да-да. Потом он писал еще стихи, которые вот теперь только известны в рукописях, но тогда не были опубликованы...

Д: А Вы не знаете, правда, или неправда, или это ложный слух, что якобы Сологуб как раз вот в 26 — 27-м году, перед смертью, просился... выехать за границу, просил разрешения выехать?

Б: Да, видите, по-моему, он просил разрешения выехать за границу раньше, до смерти жены. И вот отказ, или, вернее, волынка как раз была одной из причин смерти жены [20].

Д: Ах, она очень хотела уехать?

Б: Она очень хотела уехать, да. Это была одна из причин смерти жены. Но потом — я не знаю, не думаю. Не думаю, я не слышал об этом, что он просился.

Д: Значит, он умер в 27-м, а жена умерла года за два...

Б: Во всяком случае, это было не при мне. Я уже познакомился с ним, первый раз его видел, когда жены уже не было в живых.

Д: А Вы познакомились с ним в 24-м?

Б: Нет, позже несколько.

Д: Значит, в 25—26-м?

Б: Да, так примерно в 26-м...

Д: Я встречался с сестрой его жены. Она потом была в Доме литераторов, библиотекой заведовала, — тоже Чеботаревская... только не Анастасия, а, кажется, Анна, я не помню ее имени [21].

Так. Значит, вот из стариков... Вы очень хорошо говорили обо всех, интересно... Ну, а Ваше резюме по Сологубу как человеку и поэту?..

Б: По Сологубу? Ну, видите, я всегда считал Сологуба исключительно талантливым поэтом, очень высоко ценил его поэзию. Более того, я считаю из его романов вот такой роман, как «Мелкий бес», одним из лучших романов XX века. Это прекрасный роман, очень глубокий, очень интересный и такой... почти пророческий... [22]

Д: Но уж очень противный...

Б: Н-да, да... Но вот гораздо хуже, по-моему, противнее — это «Навьи чары», последний [23].

Д: Да, это уж совсем...

Б: Первый роман, «Тяжелые сны», — это неплохой роман, неплохой. Но «Мелкий бес» — очень хороший. И образ Передонова — это один из замечательнейших образов нашей литературы.

Д: Да, надо перечитать тогда. Это идет... как Вы считаете? — ну, с одной стороны, конечно, от Достоевского, но вместе с тем и от Щедрина тоже.

Б: Может быть, немножко от Щедрина.

Д: Вот от Иудушки.

Б: Да, от Иудушки. Но тут, я бы сказал... Все-таки Иудушка — человек совсем другой эпохи. А Передоновых сейчас — хоть пруд пруди ими. Вот... И тоже учителями... Почти каждый наш учитель средней шко-

лы недавно еще был Передоновым, и еще очень много остается Передоновых. Передоновщина стала как-то вот атмосферой... Правда, Передонов как исключение еще изображался, и директор Хрипач его, так сказать, очень не любил и прочее и хотел от него избавиться поскорей. Вот. А у нас Передоновы очень высоко стали цениться, чрезвычайно высоко, и задавать тон в школьных коллективах, особенно провинциальных, да и в Москве, и в Ленинграде...

Д: Да, надо перечитать эту вещь. Ну видите, но сама по себе позиция авторская-то... Ведь Передонов, так сказать, — это ж все-таки образ, в одном смысле, правда, Иудушка Головлев, а в другом — он пакостник.

Б: Пакостник ужасающий. И как пакостника его изображал и Сологуб.

Д: И Сологуб в какой-то степени им любуется.

Б: Нет. Видите, Сологуб знал эту среду очень хорошо, потому что он сам был преподавателем, учителем, притом учителем... ремесленного училища — кажется, ремесленного училища, в Ленинграде он был. Он инспектором одно время был...

Д: Он в Великих Луках, по-моему, был.

Б: Начинал, а потом он был уже в Петербурге. И тогда уже он был известным поэтом. Известные дни были у него, кажется, среда, когда собирались у него писатели, поэты, театральные деятели, в частности Мейерхольд, и так далее. Вот. Это было уже потом, но еще до революции. И он знал эту среду очень хорошо, принадлежал к ней и в какой-то степени, может быть, был немножко сам заражен этой средой, но Передоновым он, конечно, не был. Он просто был человеком с тяжелым характером, это да, непривлекательным был человеком, нет, хотя все чувствовали его ум, его талант и какое-то превосходство над другими. Обывателем его назвать никак нельзя, но умным и значительным, безусловно, можно. И мы чувствовали, подходя к нему, его значительность. Хотя и не влек он к себе, нет. Тяжелый был человек. Это Сологуб. Но держался он независимо, как я сказал, и это вызывало уважение к нему, конечно. Потом, стихи он писал великолепные, великолепные. Он был замечательным мастером стиха, это Вы знаете, конечно. Вот это о Сологубе.

Д:

Мой старый друг, мой верный Дьявол
Пропел мне песенку одну:
«Всю ночь моряк в пустыне плавал,
А на заре пошел ко дну.

Пред ним вставали волны серы —
Вставали, пенились у ног.
Пред ним неслась, белее пены,
Его великая любовь.

Он слышал зов, когда он плавал:
«О, верь мне, я не обману».
Но помни, — молвил умный Дьявол, —
Он на заре пошел ко дну».

Вот это Сологуб [24].

Б: Да, и это:

О смерть, я твой. Повсюду вижу
Тебя одну. И ненавижу
Очарования земли...

Тоже великолепное, очень сильное стихотворение. Кончается так:

Не мне (что-то такое)... овеянному тайной
Твоей красы необычайной,
Не мне к ногам ее упасть.

«К ногам жизни»... Вот.

Когда на них уже упала,
Прозрачней чистого кристалла,
Твоя холодная слеза [25].

Прекрасные стихи. Очень мрачные, прекрасные.

Или вот это стихотворение про смерть, о которой, по-видимому, когда-то сам мечтал... о самоубийстве. Вот это:

С водой смешаю кровь
Устам, запекшимся от жажды.
Что было, будет вновь.
Что было, будет не однажды...

И потом такие места:

А потом затопят печь,
И тихо сядешь ждать у ванной...

И потом:

И томная войдет в мои пустеющие вены...

И кончается опять тем же:

> Что было, будет вновь.
> Что было, будет не однажды... [26]

Прекрасное тоже стихотворение, но очень мрачное, конечно.

Д: Вы знаете, вот, собственно, Сологуб — это наиболее концентрированное выражение — в применении к искусству, конечно, — понятия «декадентство».

Б: Да. Видите ли, вот это понятие-то вообще... Он не считал себя декадентом, нет.

Д: Но кто же тогда?!

Б: Как человек это был менее всего декадент. Это был человек, можно сказать, очень солидный: ну, учитель, инспектор школы большой очень, которая была, в сущности, в его распоряжении. Он даже в этой школе, чуть ли не в зале актовом этой школы, проводил кружковые занятия, то есть собирал у себя гостей и прочее. Это еще было до Чеботаревской.

Д: Нет, ну вот образ поэта Сологуба... Собственно, с него слово «декадентство» на все переходит. Потому что ни о ком это нельзя сказать с такой определенностью.

Б: Одним словом, так я бы сказал, что из всех поэтов, декадентов и символистов своего времени, включая таких, как Брюсов, как Вячеслав Иванов, наименее декадентом, а самым солидным человеком был Сологуб. Ну что вы хотите? От него нельзя было ждать никаких декадентских выходок, от него было нельзя ждать никаких, конечно, эпатирований и так далее и так далее. Это был солидный человек.

Д: Ну это другое дело, понимаете...

Б: Ну, а поэзия его была — это была поэзия, она была именно чистая поэзия. И нельзя сказать, чтоб это было декадентство, нет.

Д: То есть, ну, декаданс... скажем, по-французски. Именно по-французски это был настоящий декаданс...

Б: Н-да...

Д: ...то есть поэзия, поэзия падения, исчезновения, умирания. «Декаданс» — ведь это... ну что же, все-таки... это термин...

Б: Это... вообще, нужно сказать так: я как теоретик, как историк, — я этот термин не признаю. Этот термин и выдвинули, и носились с ним предста-

вители не больших поэтов, а так, мелких поэтиков, которые самое слово «декаданс» понимали именно как определенная поза, очень выгодная, интересная и так далее, которые ходили непременно в черном и так далее. Скажем, какой-нибудь Добролюбов, который был тогда тоже очень ярким представителем... [27]

Д: Александр?

Б: Ну да, конечно, этот... поэт.

Д: Да-да.

Б: Который всегда приходил в черных перчатках непременно. И не снимал их — сидя в гостиной, он не снимал черных перчаток, так вот.

Д: Вот это я, не помню откуда, слышал, мне кто-то рассказывал.

Б: Да-да, это известно... поражало это. Вот это были декаденты, это были декаденты. А большие поэты в этом отношении декадентами никакими не были, не были. К ним неприменим этот термин, который пахнет вот этой позой, черными перчатками, вот этим всем. Этого не было!

Д: Это очень интересный вопрос. Видите, в слове этом есть два... Оно вошло в язык.

Б: Вошло в язык, да.

Д: Ну, модернизм — это вообще, так сказать, больше стилистическое.

Б: Это уж совсем... Термин вообще неприемлем этот. Ведь мы модернистами называем... Для нас это бранное слово — «модернист», бранное слово. «Модернист» — это как раз должен быть бы для нас, наоборот, похвалой...

Д: Нет, ну вот возьмем слово «декадент». Если взять вот так... вот что Вы сейчас говорите... и вспомнить слова Чехова... Вы помните? У Бунина, кажется: «Антон Павлович, как Вы относитесь к декадентам?» — «К декадентам? Да какие они декаденты?! Они здоровые мужики. Их бы в арестантские роты» [28].

Б: Ну, это, знаете...

Д: То есть это личная оценка...

Б: Да...

Д: ...то есть декадентство воспринимается как чистая поза. Это, скажем, можно применить, ну, к... Мережковскому. Как?

Б: Тоже с натяжкой.

Д: Вот. Ну, по Вашей же характеристике, — к мадам Гиппиус.

Б: Ну вот она, пожалуй, да...

Д: К Добролюбову, может быть.

Б: К Добролюбову, да. Потом-то он как раз менее всего декадентом был, он религиозным искателем был.

Д: А с другой стороны, можно в слово «декадент» вставлять более серьезный, мировоззренческий смысл, то есть, так сказать, близкий к слову «трагический», но не совпадающий с ним; то есть вот то, что идет в литературе от Минского, от, так сказать, небытия, распадения, то есть известную философическую... не теорию, но известную эмоцию.

Б: Мировоззрение, да, но, видите ли, тогда не подойдут сюда... или очень многие подойдут сюда, потому что, действительно, мрачного такого, пессимистического мировоззрения — разложение, конец и так далее — придерживались очень многие великие поэты прошлого. Может быть, Леопарди — вот он действительно тогда будет самый яркий декадент. Декадентом будет Байрон, самым ярким декадентом даже станет Байрон...

Д: Ну, а так здесь, в XX веке, его ведут, конечно, от «Цветов зла» Бодлера.

Б: Тоже неверно. Ну, тут еще можно, потому что у Бодлера, наряду с тем, что это был действительно великий поэт, замечательный поэт, — в нем немножко был элемент позы, как вообще во всем этом течении, круге, к которому принадлежал в то время Бодлер. Но к этому же кругу принадлежал и Теофиль Готье, которого нельзя назвать декадентом, хотя последние годы своей жизни Тео, как его называли в этих кругах, был необычайно мрачен, пессимист был чистой воды. Но никто ж его декадентом не назовет. Это другое дело!

Д: На русской почве, вот если уж этим словом пользоваться... Хотя, с другой стороны, оно, конечно, есть почти во всех представителях поэзии этой эпохи. И у, скажем, Блока, Вы помните, есть, кажется, в письме к Белому, а может быть, в дневниках — я забыл, — есть замечательная фраза: «Ненавижу свое декадентство и бичую его в других... бичую его в

других, которые, может быть, менее повинны в нем, чем я» [29]. Но там это...

Б: Да, но тут Блок... ну, отчасти имеет в виду и декадентов, вот поэтов его времени, а потом, он этот употребляет термин, который тогда вошел в язык, но в другом несколько смысле, — это Ницше. Ницше, который все время говорил о декадансе, который все время разоблачал декадентов, считал отрицательным явлением, противопоставлял им подлинного будущего сверхчеловека декадентам. Он, как Вы знаете, и Вагнера называл декадентом, особенно за «Парсифаля» и так далее, — декадент. Он в себе обличал декадента, вот, и старался именно в себе победить декадента, победить декадента. Он воспевал вот именно совершенно безграничную радость жизни, приятие бытия, вот. И «вечное возвращение» же, собственно говоря, имеет прежде всего эмоциональный смысл: принимаю все и готов переживать свою жизнь сколько угодно раз. Вот это декадентство, но, опять же, это же тоже совершенно другое. Это декаданс. Сам Ницше, конечно, имел в виду — он-то классик, — имел в виду эпоху декаданса античного, прежде всего римского декаданса. Между прочим, вот это стихотворение (*вспоминая, нервничает*)... черт знает что такое... Анненского:

Я — бледный римлянин эпохи Апостата.
Покуда портик мой от гула бойни тих,
Я стилем медленным слагаю акростих,
Где умирает блеск последнего заката.
Уже не розами, а скукой грудь объята... [30] —

и так далее.

Вот это — представление об упадке, о декадансе, которое имел в виду и Ницше, и так далее. Это именно — да... Вот. Но какое это имеет отношение к Александру Добролюбову? Какое это имеет отношение к Сологубу и так далее? Нет. Мировоззрение у него было очень пессимистическое — это другое дело, другое дело, но этот пессимизм был другой... Это был поэтический и отчасти философский пессимизм. Вот. Поэтический. А ведь нужно прямо сказать, как... кто это сказал из наших композиторов: «Знаете ли Вы веселую музыку? Я не знаю веселой музыки». Чуть ли не Чайковский это сказал. Ну вот. И если хотите, веселой поэзии, в сущности, нет и не может быть. Если нет элемента вот чего-то от конца, от смерти, какой-

то формы, какого-то предчувствия, то нет и поэзии, потому что поэзия — все-таки это в какой-то мере... Иначе это не поэзия, иначе это будет глупый телячий восторг, а этого в поэзии нет и быть не может...

Например, Блок. Он отлично понимал, что такое восторг, но не телячий восторг.

Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан...

Но дальше: «Радость — страданье — одно...» и так далее. Гибель, гибель, и дальше — гибель. И — «Все равно: принимаю тебя».

За паденье, за гибель, я знаю,
Все равно — принимаю тебя [31].

Это его стихотворение знаменитое «О весна, без конца и без края...». Ну что это — декадентство?!

Д (*подхватывая*):

...Без конца и без края весна! [32]

Б: Декадентство?

Д:

Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита!

Б: Да. Это поэзия! И вся поэзия, если хотите, такова в разных формах. Она принимает жизнь, но не как теленок, а как люди, знающие и понимающие, что жизнь все-таки включает в себя смерть как необходимый элемент и что конец, без конца, конец, конец — это очень важно. Вот.

«Respice finem», как говорили римляне. «Уважай конец», «смотри на конец». «Конец — делу венец» — по-русски так говорят. Вот. Так что этот элемент есть. В этом отношении вся поэзия как таковая, как и вся музыка, — это...

Д: То есть, Вы хотите сказать, все искусства?

Б: Да, декадентство... Пожалуй, все искусства, да. Пожалуй, все искусства. Да в конце концов они в какой-то мере, во всяком случае, насколько мы знаем, — искусства всегда были связаны все-таки с памятью о предках, об умерших, с могилой, вот, с заплачкой и так далее и так далее. Потому что нужно закреплять то, что еще живет, но... он не нуждается

в памяти, в закреплении, его не надо воспевать. Воспевать будем тогда, когда это уйдет.

Чтобы вечным быть для песнопенья,
Надо в жизни этой пасть...

Это Жуковский. Жуковский. Это из его перевода «Боги Греции» [33]. Ну, у Шиллера несколько иначе, но это все равно.

Д: Михаил Михайлович, но ведь и обратно... Вы очень глубоко веруете, я понимаю...

Б: Да.

Д: Но ведь и обратно... Вы хотите сказать, что если нет оглядки на могилы...

Б: Да.

Д: ...то нет искусства. Так?

Б: Да, если хотите, да. Только не в таком примитивном смысле.

Д: Да, но и обратное не надо принимать примитивно — как телячий восторг. Я не соглашусь, что не может быть веселой поэзии. Понимаете... Есть, конечно, — ну не знаю, — ну есть, ну просто неталантливые вещи... какое-то там, допустим... есть у Василия Каменского поэма с пародийным названием — «Непромокаемый оптимизм». Это вообще автопародия. Но и, скажем:

Я земной шар чуть не весь обошел —
И жизнь хороша, и жить хорошо!

И это написал человек, который все время думал о смерти, — то это поэзия, в которой для читателя... остается больше ее результат...

Б: Утверждающая...

Д: Да, результат, понимаете... Как Маяковский очень хорошо в другом месте сказал: «Вечный спор оптимиста и пессимиста — зал наполовину пуст или он наполовину полон».

Б: Да, это очень хорошо сказано.

Д: Так вот и искусство, в том числе и трагическое искусство, большое, оно все-таки всегда говорит, что он «наполовину полон», что жизнь продолжается, так сказать... В том, что Вы говорили сейчас, как-то забыто то... в чем Вы специалист...

Б: Нет.

Д: ...и амбивалентность, и катарсис. Вот, по-моему, декадентство — это трагедия без катарсиса.

Б: Да.

Д: В Блоке еще катарсис кое-где есть, а кое-где нет...

Б: Конечно! Но все-таки катарсис...

Д: ...есть... а вот у Сологуба (я его, может, хуже знаю) я его как-то совсем не вижу, потому что там, где есть опустошенность, — там нет уже силы.

Б: Да... Вот этого нельзя сказать. Там, где есть опустошенность и нет силы, — там не может быть и сколько-нибудь настоящих стихов. Что касается до такого оптимизма, как вот в этих стихах Маяковского, которые Вы привели: «И жизнь хороша, и жить хорошо» и так далее, «А в нашей буче»... какой-то там... «кипучей — и того лучше», — то здесь много казенного, фальши. Много! Все-таки в Маяковском... все-таки пессимизм преобладал. Вот. Но последний период, конечно, вот тогда, когда он стал... прославителем... И вот здесь, конечно, фальшь... Строка-то вот эта: «Моя милиция меня стережет», кажется, так?

Д: Простите-простите, а здесь карнавальность есть!

Б: Нет, «моя милиция меня стережет» — никакой карнавальности нет. Очень хорошо...

Д: «Бережет...», «Улица — моя, дома — мои...».

Б: «Мои дома». Что ж это он не мог получить квартиры порядочной в своих домах и своим друзьям так и не мог дать квартиры... (*Смеется.*)

Д: Так и не получил!

Б: Так и не получил, да...

Д: Так это и значит, что он как раз не фальшивил. Потому что, если бы он фальшивил, он бы все это получил. В этой среде... Ведь как раз все было бы наоборот.

Б: Да, но говорит-то он здесь все-таки фальшиво. Но его фальши не чувствовали, и все-таки он не был свой человек, не был свой человек для власть имущих, вот которые действительно (*усмехаясь*) могут про себя сказать: «Это — мои дома. Правда, они чужие, но они мои...»

Вот. «Моя милиция меня стережет...» Ну что это такое?! Это очень хорошо Ахматова сказала: «Да вот, скажем, возьмите вы, — говорит, — Тютчева. Уж, кажется, более монархиста, чем он, трудно найти, а

ведь он никогда бы не сказал, что "царская полиция меня стережет"».

Д: «Бережет...»

Б: Да... Никогда бы не сказал. Не повернулся бы у него язык это сказать [34]. А здесь это — нет. Нет, здесь это, если хотите, — может быть, есть тут элемент иронии, но эта ирония, как часто у...

Д: Там и дальше ирония идет... там...

> За городом поле, в полях — деревеньки.
> В деревнях — крестьяне, бороды — веники.
> Сидят папаши. Каждый хитр.
> Землю попашут — попишут стихи.

Это ж не всерьез!

Б: Это не всерьез, конечно. Видите, вообще говоря, у Маяковского много карнавального, очень много. Причем как раз никогда не показывалось тогда и не оттенялось это наиболее сильное в нем — карнавальная стихия. Она проявлялась, конечно, прежде всего в ранний период его, футуристический период.

Д: И до самого конца, всюду!

Б: До самого конца, да. Все это было. Но в то же время вот он отравил себя... Почему он это сделал? Почему ему вдруг захотелось быть казенным поэтом, казенным законодателем, вот, и так далее и так далее?!

Как и несчастному Мейерхольду, который даже, кажется, готов был арестовывать своих идеологических противников по театру. Мне кажется, он даже угрожал кому-то, не помню кому: «Я Вас арестую, потому что Вы против советской власти!» А на самом деле не против советской власти, а против его теорий. Вот. А уж чего был более карнавальный человек!

Д: Но в Мейерхольде было больше... понимаете ли... больше утонченно-декадентского... У Маяковского другие слабости. Там у него, может, культуры не хватало, но вот фальши у него никогда...

Б: Но вот все-таки было... вот в этой позиции... Ведь он же не мог не понимать всего того, что происходит, не мог не понимать. Он не мог не понимать того, что, во всяком случае, безоговорочно все это принимать нельзя.

Д: А вот тут-то и есть поэтичность, та, которая роднит Маяковского, скажем, с Цветаевой: «Что мне де-

лать с этой, — помните у нее, — безмерностью в мире мер?!» Он, конечно, не мог полу... Вы правы... Так сказать, он как поэт, он сказал: «Моя революция» — и принимал это полностью.

Б: Да, он принимал это полностью — это я понимаю.

Д: Он принимал это полностью. Это общее уже, так сказать... общефилософский грех, в этом смысле, — то есть цель оправдывает средства. Это то, в чем он разделяет грех с очень многими большими людьми мира.

Б: Да.

Д: Ну и, естественно, и конец его, конечно...

Б: Нужно сказать, что вот та революция, которую он знал, когда он писал это, говорил это — «Моя революция»... Тут было много карнавального, действительно. И он это услышал. Но когда...

Д: Величие-то ведь было!

Б: Было, да, и оно было в какой-то мере...

Д: И он стал сгустком этого величия и этой буффонады. И он из этой буффонады извлек и поэзию... И действительно играл... и тогда, когда он играл словом, и когда он говорил: «Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме, как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации». Почему? Потому что, мол, поэзия — обработка слова, и на любом материале может быть поэзия, на любом! Вот это позиция, доведенная до...

Б: ...до конца. Да-да.

Д: ...до конца. И остановиться где-то на три четверти он не мог, поэтому так оскорбительны были для него все рассуждения о том: «Нет, вот, видите ли...», что, мол, «вступил в РАПП — тогда и застрелился». Потому что они обсуждали: «У него был путь пролетарской поэзии. Вот он стал пролетарским поэтом или не стал? На две трети, на три четверти...» У него этого не могло быть. Он был личностью; как личность он был очень многогранен и сложен. Как поэт он не мог... Он не был поэтом полутонов.

А я вот никак не могу согласиться с таким выражением, что не может быть веселой поэзии, ну насчет музыки я не знаю...

Б: Да, но веселая... веселая... Да... но поэзия... все-таки... но просто веселая — не может быть... Что вот здесь вот это — «холодная слеза»...

Д:

Когда гремел мазурки гром,
В огромном зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы.
Теперь не то. И мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в деревнях, по городам
Еще мазурка сохранила
Ветхозаветные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Все те же. Их не изменила
Лихая мода — наш тиран,
Недуг новейших россиян [35].

По-моему, это веселая поэзия!

Б: Да, но только веселая поэзия... Это — элементы...

Д: Это поэзия, это веселая поэзия.

Б: Элементы! Да-да. Но не веселая... Ведь веселая...

Д: Разве это не поэзия? Поэзия! Разве это не весело? Весело!

Б: Очень веселые стихи — может быть, да. Но поэзия как таковая, в целом ее, и творчество поэта, опять-таки в целом, не может не включать в себя вот эту...

Д: А!!! Это-то! Ну вот мы и договорились.

Б: А мало ли что, ведь в конце концов...

Д: Тогда мы договорились. Тогда я Вам отвечаю Маяковским же:

Уходите, мысли, восвояси,
Обнимись, души и моря глубь!
Тот, кто постоянно ясен, —
Тот, по-моему, просто глуп.

Это да. Тогда мы пришли к какой-то в этом смысле общей платформе.

Б: Да-да.

Д: Как раз пора переворачивать... А мы поговорили только об одном Сологубе.

(*Перерыв в записи.*)

Д: ...О Блоке Вы говорите?

Б: Да. Этот человек... сделан не из общего теста, из совсем другого. Мы все сделаны из теста совсем не блоковского. А Блок — это исключение. И вот просто когда он выходил — наружность его, чтение стихов, которое с точки зрения декламации было слабым, декламации не было, — но во всем этом чувствовалось что-то особое, нездешнее, так сказать. Нездешнее — в смысле том, что... Одним словом, мы все маленькие люди, а это вот человек совсем другой — большой, сделанный из другого теста, обладающий другим совсем голосом, чем мы. Могущий произносить те же слова, что мы их произносим, но они у него будут звучать совсем по-другому и значить по-другому. Вот такое впечатление он на меня произвел. Но вот дальше я, так сказать, познакомиться с ним не успел. Меня уже не было тогда... Вот в те годы, когда я приехал на постоянное жительство в Ленинград...

Д: Его уже не было.

Б: ...его уже не было. Я только вот что еще помню. Тогда в Витебске до нас дошли сведения о том, что материальное положение Блока ужасно. Ну действительно, в какой-то мере все-таки его заморили голодом. Ну как не могли накормить такого человека?! Что за вздор! Что за вздор! Когда все в Кремле объедались и так далее. И не только в Кремле — да и всюду. Вот, помню, в самом Витебске, где я жил, — никто там не голодал. Все были сыты вполне, никто не голодал.

Д: Ну, в Витебске-то жили...

Б: Ну так ведь неужели нельзя было помочь хотя бы таким людям, как Блок?! И страшное было равнодушие какое-то, непонимание, равнодушие, и со стороны товарищей, и со стороны властей прежде всего, прежде всего.

И вот до нас дошли слухи... и тогда мы устроили вечер в пользу Блока. Вот. Выступал на этом вечере приехавший из Петербурга, из Петрограда... журналист... такой довольно крупный, известный... Он потом оказался в числе высланных, вскоре после этого... Сейчас я Вам скажу...

Д: Дореволюционный журналист?

Б: Еще дореволюционный, да-да, дореволюционный. Он был человеком пожилым... Ну и вот он выступал. Потом выступал Медведев, Павел Николаевич...

Д: Этот журналист, он кто был? Он не писал в советских газетах?

Б: Нет, писал, писал.

Д: Писал?

Б: Писал, да-да. Он был связан и с Союзом писателей.

Д: Ольшевский?

Б: Нет-нет.

Д: Был Ольшевский, был Тугендхольд, был... из старых...

Б: Да-да, нет. Это был более такого все-таки молодого поколения, но начавший и приобретший имя еще до революции...

Умер он (Блок. — *Ред.*) от сердечного заболевания. Это сердечное заболевание приняло острые формы на почве цинги. А цинга, как известно, результат плохого питания.

Д: А где-нибудь зафиксировано, что он умер от цинги?

Б: От цинги? Что у него цинга? Это зафиксировано, по-моему, всюду.

Д: Я не встречал.

Б: Да? По-моему, даже в дневниках своих он упоминает о цинге — цинготность и так далее.

Д: Цинга имеет свои точные клинические признаки.

Б: Да. И вот, по-видимому, это у него было все. Да. И вот тогда, когда дошел до нас этот слух, значит, был устроен вечер.

Д: До вас в Витебск, да?

Б: Да, в Витебске. Зал был полон, собрали много и должны были отправить Блоку эти деньги. Но даже, кажется, так: решили закупить всевозможные продукты в Витебске, а в Витебске все, что угодно, можно было достать. Кроме того, все-таки — еврейский город. А евреи ухитрялись в самое трудное время благодаря своим постоянным связям, благодаря своей деловитости, благодаря своей настойчивости — умели всегда все достать. И вот, значит, было решено послать ему. И в это время было получено известие об его смерти. Опоздали! Не послали.

Д: И куда же дели эти все продукты?

Б: А я уже не помню, куда дели. Послали, вероятно, семье, ей послали, Любовь Дмитриевне, вероятно. Это я уже не интересовался.

Я выступал на этом вечере с чтением стихов... Или нет, я с докладом выступал... кажется, доклад у меня был маленький о «Соловьином саде», про «Соловьиный сад» я что-то говорил. И потом читал его стихи... вот эти... [36] Сейчас я Вам скажу...

Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой и тоскою,
Когда под гробовой доскою
Все, что тебя пленяло, спит... —

и так далее. Прекрасные стихи!

Д: «Тогда ты можешь гордиться счастием своим...» [37] Это здесь, да?

Б: Нет. Нет-нет, это не то. Значит, так:

Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой и тоскою;
Когда под гробовой доскою
Все, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
И моросит ресницы иней,
Тогда — остановись на миг,
Послушай тишину ночную:
Услышишь... жизнь иную,
Которой раньше не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым, запушенным садом,
И небо — книгу между книг;
Найдешь в душе опустошенной
Вновь образ матери склоненной,
И в этот незабвенный миг —
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь —
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем quantum satis Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда [38].

Прекрасное стихотворение! Замечательное...

Д: Прекрасное. И Вы прекрасно его прочли.

Б: Ну, я читать... Я когда-то хорошо читал стихи, а сейчас я не могу. И голоса нет, и грудь...

Д: Все равно интонации у Вас... хорошие.

Б: Ну вот, вот это стихотворение я, помню, тогда прочел.

Д: Это Вы забыли сказать, когда о Витебске говорили.

Б: Да. Теперь так, относительно Блока. Мой друг, тоже ближайший, Павел Николаевич Медведев, — он почти сейчас же после этого вернулся тоже в Ленинград. Он раньше меня вернулся. Он и Пумпянский, в известной степени они подготовили наше возвращение сюда. Вот. И он сблизился с женою покойного Блока. Ну, видите ли, сплетня говорит, что он ее любовник. Более того, тут я даже недавно услышал, что будто бы...

Д: Кто, Медведев?

Б: Медведев, да. Что будто бы он даже был мужем ее официально. Это чепуха. Я очень хорошо Медведева знал, очень хорошо знал. Ну, относительно там грехов его с нею — это я, конечно, не знаю, не ручаюсь, но мужем ее он не был. Ну и она его допустила в свой архив Блока. Он первый, который занимался архивом Блока. Записные книжки Блока, дневники Блока были изданы им, он первый издал — несовершенно, правильно, несовершенно [39].

Д: Да, очень небрежно.

Б: Очень небрежно, да, но тем не менее он их издал. И вот он написал книжку о Блоке, которая называлась «Творческий путь Блока». Пустяковая книжка.

Д: Пустяковая.

Б: Барахольная, да. Чепуха. Но тут вот что интересно. Вот этот спор относительно креста на могиле Блока. Вы слышали об этом?

Д: Этого я не знаю.

Б: Да... Сейчас никакого креста на могиле Блока нет. Но, правда, эта могила перенесена, как известно. А вот на той могиле, которая до переноса, до эксгумации была, был там крест или нет?

Д: Не знаю. А когда перенесена, почему?

Б: Перенесли же Блока на Мостки писателей, литераторов.

Д: На Волковом кладбище.

Б: Да-да. Его туда перенесли.

Д: А был он похоронен?..

Б: На Смоленском кладбище, на Смоленском.

Д: В Петрограде, но на другом кладбище?

Б: На другом кладбище, да. И главное, не в литературных кругах там, а в случайном окружении других могил. Ну и вот по этому поводу существует спор, но он за рубежом, у нас, конечно, — нет: был ли крест на могиле Блока? [40] Потому что у нас, например, считают, что Блок был чуть ли не атеистом. Вот. Но другие утверждают, что — нет, Блок атеистом никогда не был. Что он богоборцем был, что нет такого поэта в мире большого, который бы не был бы богоборцем и который был бы чистым, да еще естественно-научным атеистом. Это же, конечно, вздор! Ну вот... И доказывают, что Блок, конечно, умирая, все-таки не был атеистом, и что на могиле его был крест, и что этот крест поставлен по его завещанию предсмертному. Насколько кто прав — я не знаю. Вот мне интересно проверить. Павел Николаевич Медведев был на старой могиле Блока. Он, как приехал в Ленинград, прежде всего пошел на эту могилу и сфотографировал ее. И в эту книгу свою «Творческий путь Блока»... там есть и фотография могилы Блока. Но вот я не помню, есть там крест или нет. По-моему, есть, но я не уверен в этом [41].

Д: Но если есть фотография, так о чем может быть спор?

Б: Так ведь книгу-то эту все забыли, она же вздорная.

(*Перерыв в записи.*)

Д: Михаил Михайлович, ну, Блок у нас уже был и в прошлый раз. А, значит, мы сегодня продвинули новую тему: Сологуба и все вокруг него. Ну вот, какие еще из больших литературных впечатлений Вы можете сейчас осветить в пределах нашего времени?

Б: Прежде чем говорить о моих литературных встречах в этот период, я хочу сказать несколько слов о том, где именно эти встречи происходили. Несколько таких было... точек, что ли. Во-первых, были салоны, или кружки. Конечно, салоны в строгом смысле этого слова уже в ту эпоху не существовали и существовать не могли, но ту же почти функцию

выполняли вот такие кружки, связанные общностью взглядов, общностью интересов, личными знакомствами и так далее. И вот какие салоны-кружки я посещал в то время и где я встречался с представителями литературы?

Ну, во-первых, это кружок Ругевичей. Вот. Сама хозяйка, Анна Сергеевна Ругевич [42], не была литератором, она была врачом, но она была очень тесно связана с литературными, художественными и особенно с музыкальными кругами, так как она была внучкой и одной из наследниц покойного Антона Рубинштейна. Когда «Демон» шел, то она всегда получала какую-то сумму. Вообще, в России она была единственной представительницей наследников Рубинштейна.

Ее муж, Ругевич, был по профессии инженер, тоже человек очень образованный, культурный. Отец его был что-то вроде заместителя... министра финансов тогда еще, до революции. Ругевич. Он был поляк и уехал потом в Польшу, где занял ту же самую должность, уже в Польской республике.

Вот у них собирался кружок людей, связанных и с литературой, и с музыкой, и с другими искусствами. И здесь я встречался прежде всего с такими поэтами, как Клюев.

Клюев. Вот. Вначале он произвел на меня сильное, очень хорошее впечатление. В первый раз, впрочем, я его услышал еще в 16-м... нет, в 17-м году, после Февральской революции, но еще до Октябрьской революции, в Религиозно-философском обществе, где он выступал после доклада Андрея Белого. И он тогда читал свою «Русскую азбуку» — истолкование различных букв, поэтические метафоры к каждой букве. Тогда он мне не понравился, не понравился. Он был слишком уж стилизован: крашен, напомажен в буквальном смысле этого слова, так что неприятное впечатление... А потом, когда я с ним встретился уже в других условиях, много лет спустя, то он мне очень понравился. Во-первых, он великолепно читал свои стихи, читал стихи прекраснейшие.

Д: Уже «Медный кит» был выпущен? Или до? «Медный кит» — его книжка [43].

Б: А-а... Это было после, пожалуй. «Медный...» — как, простите?

Д: «Медный кит» у него книга.

Б: Да. Вот я сейчас даже и не помню этой книги. Ну, что мне нравилось? Его поэма, вот в ту эпоху... была выпущена поэма — «Ангел простых человеческих дел»:

Ангел простых человеческих дел
В избу мою жаворонком влетел... [44]

Дальше просто идет вот такая русская изба, избяная Русь, со всеми ее, так сказать, обычными представлениями о такой неумирающей русской деревенской жизни. Между прочим, в этом отношении такие писатели, как Белов, современный писатель...

Д: А, это который про старую крепость?

Б: Нет, вологодский писатель. Белов [45]. Крестьянский писатель. Я не помню, как даже называются его произведения...

Д: А, это я путаю с Беляевым. А Белов...

Б: Нет, Белов. Ну вот... Целый ряд других стихотворений, и стихотворений, посвященных Февральской революции. Посвященных Октябрьской революции он не писал.

А сердце — бубенец
под свадебной дугой —
Глотает птичий грай... грай
и... воздух золотой... —

и так далее [46].

И уже после Октября, после Октябрьской революции — такое произведение: «Пришел караван с востока...» «Пришел караван с востока...» Забыл... «С бирюзой...» «Ступает по нашим ранам...» [47] — этот караван... Забыл...

Он великолепно читал свои стихи. Нужно сказать, когда я потом читал их, напечатанные стихи на меня не производили такого впечатления, как тогда, когда я слышал его.

Д: Вот видите, то же самое говорят о Маяковском: когда он читает... Но там обратное: если читаешь глазами — непривычно, ничего не понятно, нелепо. Слышат — впечатление. Но если вернешься после чтения, то такого, чтоб поблекло раз услышанное, я ни от кого не слышал, и сам... я как раз... еще не знал, не любил Маяковского и слышал от него вот... «Тамара и Демон», и потом стал читать в журнале — и сразу

мне раскрылось. А таких стихов, которые в чтении поэта...

Б: ...хороши, а потом оказываются плохими?

Д: Да.

Б: То есть не плохими, но блекнут как-то...

Д: ...в то время писали очень много.

Б: Очень много, да. И вот, я бы сказал, Клюев был таков. Но все-таки это поэт был настоящий. Поэт был настоящий. Хотя у него много было и фальши, стилизации...

Д: Вот именно последнее.

Б: ...ломания было много. Он, например, изображал из себя в тот последний период, когда я его знал, — изображал из себя человека, якобы совершенно чуждого городской интеллигентской культуре. Например, скажем, подойдя к шкафу, к книжному: «А это на каком языке у тебя книги-то?» Вот. Это были книги на немецком языке. А он по-немецки великолепно читал. Он, правда, плохо произносил — другое дело, но читать он читал и понимал, а изображал из себя человека, который даже не может узнать, на каком языке напечатана эта книга. Это он врал, конечно [48].

Д: Врал, конечно.

Б: Врал, врал.

Д: И Блок его всерьез воспринимал как крестьянина.

Б: Да. На самом деле, конечно, он...

Д: Конечно!

Б: ...таковым не был, таковым он не был, да. Он был в достаточной степени и интеллигентным, и... начитанным человеком, начитанным.

Д: Он такой был мужичок-начетчик, который, уже став интеллигентом, пытался сохранить эту старую форму.

Б: Да, старую форму.

Д: Я один раз его видел.

Б: Но он искренне верил, что эта форма настоящая вообще-то была, а что вот то, что сейчас, — это не настоящее, это что-то надуманное, наносное и скоропреходящее. Он в этом был искренне убежден. Вот. Но что можно вернуться к тому, что он называл подлинной Русью, избяной Русью и так далее, что к этому можно вернуться, — я не думаю, чтоб он в это верил. Он думал — что-то другое будет, но близкое

больше вот к этой старой, исконной Руси, но не к тому интеллигентскому месиву, которым являлась современная жизнь для него.

Ну, кроме того, у него были очень сильные пристрастия и антипатии. Брюсова он ненавидел...

Д: Брюсова ненавидел?

Б: Брюсова ненавидел. «Грозится Брюсов изнасилованным пером». Вот как он о Брюсове.

Д: Блока любил.

Б: Блока — да, любил. Ну, как известно, есть переписка, очень много писем было, не знаю сколько, но много. Одно время Блок увлекался вот этой народностью, когда он обдумывал, а потом писал свою работу «Интеллигенция и народ», вот. И Клюев казался ему представителем народа. И потом он вскоре сам понял это, Блок. Сам это понял.

Д: Да. Маяковского Клюев тоже ненавидел.

Б: Маяковского Клюев тоже, конечно, ненавидел, да. У него много было...

Д: Значит, Клычкова Вы около него видели? Нет?

Б: Клычкова он, по-моему, знал, но как он к нему относился, я не знаю.

Д: Ведь это ж одна была... Помните есенинское стихотворение: «И выбрал кличку Клюев, смиренный Миколай...» [49]

Б: Ну да. Но я так не говорил с ним о Клычкове.

Д: А Вы Клычкова не встречали?

Б: Нет, Клычкова я не помню.

Д: Разве это не одна компания была?

Б: По-моему, были. Во всяком случае, они были — ну, близки. Но я его не помню.

Д: Вы их вместе не помните?

Б: Вместе я их не помню. Во всяком случае, вот там, где бывал...

Д: Вот в этом самом кружке Ругевича... бывал Клюев, а... Клычкова не было.

Б: Да. Вот у него такие были симпатии и антипатии.

Д: Значит, это был такой кружок, в общем, благообразный, без богемы?

Б: Благообразный, без богемы, совершенно без богемы. И вот, в частности, Клюев был замечательный мастер рассказывать народные сказки, такие, которые нигде не были записаны никем и не были опубликованы... Услышав нечто подобное там у себя, в Оло-

нецкой губернии, он, так сказать, сам потом воссоздал. И нужно сказать, замечательно рассказывал сказки. Да, замечательно! Тут уже было нечто подлинное, гораздо более подлинное, чем его...

Д: Стихи.

Б: ...стихи, да. Но они были только устные, вот он их рассказывал, садился и начинал рассказывать. И рассказывал замечательно.

Д: Ну, родился он действительно в зажиточной крестьянской семье?..

Б: Да. Да-да.

Д: А где-нибудь учился, не знаете?

Б: Не знаю. Он так это все, подделывался под простого крестьянина, он на эти темы, по-моему, даже и не разговаривал. Я спросил его, он сказал: «Нигде не учился. У народа учился, по книгам учился». Вот он мне так сказал.

Д: Кто же еще там был?

Б: Да, теперь еще про него... я только доскажу. Значит, великолепно рассказывал...

Д: Это факт.

Б: Да, и потом он однажды в салоне Ругевичей рассказал такую сказку, крайне непристойную. Великолепно рассказал, но крайне непристойная сказка была.

Д: Расскажите!

Б: И после этого его перестали приглашать. Это было не совсем справедливо, вот.

Д: А сказка была действительно хорошая?

Б: Очень хорошая была.

Д: Как сказка.

Б: Да.

Д: Ну расскажите ее.

Б: Ну вот я не помню сейчас в том виде... Он читал так это, что если передать, так сказать, в своем пересказе, не тем языком, то ничего не получится. Тем более, что он там как-то и свистел, когда нужно, и звуки издавал такие всевозможные, особенно когда дело шло о каких-нибудь леших и так далее, русалках...

Д: Ой как интересно!

Б: Все это было — да, замечательно. Замечательно. Вот. И его перестали приглашать.

Теперь второй салон, где опять-таки я тоже встречался с ним, откуда его уж, конечно, — нет, отнюдь

не изгоняли [50]. Да и там его не изгнали, а просто перестали приглашать. Ну, если там с ним входили в эту компанию дамы, которые, конечно, никак не могли переварить такого рода выступления... (*Усмехается.*)

Д: Это была такая сугубо кирши-даниловская похабщина, да?

Б: Д-да... Теперь: второй тоже вот такой кружок-салон — это у Медведева, Павла Николаевича, о котором я Вам говорил неоднократно. Там собиралась группа писателей, писателей, в сущности, незначительных. Бывал там и Клюев. Там он читал тоже свои стихи — вновь написанные стихи. Я помню великолепное его чтение... вот это... на смерть Есенина:

Помяни, чертушко, Есенина
Кутьей из омылок банных...

Помните, вероятно? Тут какое-то слово я пропускаю... [51]

Д: Кутьей?..

Б: «...из омылок банных».

Д: «...из омылок банных...» Омылки... Ага. Значит, из банных обмылок сделана кутья, которой нужно помянуть... черт будет поминать Есенина?

Б: Есенина, да.

Д: А вообще это крепко!

Б: Крепко, крепко. И дальше очень крепкие вещи. У него есть очень лиричные вещи.

Д: А как он выглядел? Внешность его.

Б: Он носил что-то вроде поддевки. В пиджаке и так далее, с воротничком я его никогда не видел. Он, вероятно, не одевался так никогда. Он так под мужика, но в то же время это не мужицкая одежда.

Д: Волосы в кружок были острижены?

Б: Волосы были в кружок острижены, да, в кружок были острижены, но уже не были квасом напомажены, а более или менее так благообразно были причесаны.

Д: Но... он лысый уже был, нет?

Б: Пожалуй, последнее время у него лысина была.

Д: Вы, значит, встречались с ним до самого конца? До 29-го года?

Б: Да. До самого конца.

Д: А его при Вас... или позже Вас?..

Б: Выслали?

Д: Да.

Б: По-моему, несколько позже выслали. Выслали.

Д: Он, вообще, погиб?..

Б: Он погиб там, да.

Д: Он не вернулся, да?

Б: Не вернулся, да-да.

Д: А реабилитирован он, не знаете?

Б: Вот не могу даже сказать. Вероятно, реабилитирован. И сослали его даже не по политическому делу, а вот, знаете, тогда начали преследовать гомосексуалистов.

Д: А он имел к этому отношение?

Б: Имел, да. Большое отношение.

Д: Это уже в 30-х годах.

Б: Да, и не скрывал этого, так же как, скажем... замечательный поэт...

Д: Зубакин?

Б: Нет.

Д: Кто там еще этим славился?..

Б: Ну что Вы, Зубакин — маленький очень поэт, а это очень большой поэт.

Д: Ах Кузмин!

Б: Кузмин, конечно. Вот. Кузмин. Также и Клюев этого не скрывал даже, откровенно. Не говорил об этом, конечно, на каждом шагу, но и тайн из этого не делал. Я помню, тогда приезжал как раз в Россию специалист по этому вопросу, забыл фамилию, — немец, очень серьезный немец, который сам этим же страдал. Ну, он написал огромный том, который я просматривал, зная вот об этом...

Д: Что Вы говорите...

Б: ...об этих извращениях. И его точка зрения была такая, что этого нельзя никак приравнивать к какому-то преступлению, что это совершенно нечто законное, что, в сущности говоря, нет таких норм половой жизни, которые могли бы быть запрещены, подвергнуты преследованию. Ну, скажем, если изнасилование и так далее — все это нет...

Д: Что, и изнасилование тоже не подлежит преследованию?

Б: Нет, это да, таких — это преследуют правильно. А вот это — нет, не подлежит преследованию. Он это обосновывал научно, огромный там материал, на-

чиная с античности и до наших дней. Там такими вот, гомосексуалистами, оказывались очень многие деятели в культуре, и в поэзии, и в музыке.

Д: В музыке с Чайковского начиная.

Б: Ну и Чайковский там был, конечно. Он дал этот обзор, очень большой, по-немецки...

Д: С немецкой тщательностью.

Б: Тщательно и так далее. Вот он приезжал. Конечно, его познакомили с...

Д: ...Клюевым.

Б: С Клюевым, да. Они собирались вместе. Я на этих собраниях, конечно, не был, но мне передавали, как они беседовали друг с другом. Как Клюев, например, говорил, что «ведь и Господь наш, Христос, ведь тоже был гомосексуалистом».

Д: Да что Вы?!

Б: Да. «...Он был связан с апостолом Иоанном, своим любимым учеником, женственным человеком». Вот. Дальше он говорил...

Д: Неужели Клюев... человек, так сказать, выдающий себя...

Б: ...за христианина...

Д: ...за христианина, за православного...

Б: Да.

Д: ...за крестьянина, кроме того... вот такое...

Б: За крестьянина, да... Вот тем не менее такие вещи говорил.

Д: Я не знал, что...

Б: Ну, Вы, вероятно, читали этого... Кузмина — «Крылья»? [52]

Д: Да, но плохо помню.

Б: Это вообще в художественном отношении...

Д: У меня нет книжки.

Б: ...очень интересное в художественном отношении, незаурядное произведение. Но тоже ведь очень откровенное, абсолютно откровенное с этой точки зрения, совершенно откровенное...

Д: Я ее плохо помню.

Б: Ну и вот тогда кончилось тем, что очень многих — Кузмина уже не было в живых [53], — очень многие уехали за это, и уехали далеко. В том числе за это уехал и Клюев, но, разумеется, в этом его официально обвинили, по этой статье его сослали, но, конечно, знали его общее настроение, его отношение к

советской власти, и, может быть, это главная была причина его ссылки.

Д: Так, это об этих двух кружках. И кто же еще крупный был в этих кружках?

Б: Крупных? Особенно крупных, пожалуй что, и не было. Вот только надо вспомнить. У Павла Николаевича были писатели, которые потом были забыты. Ну вот, например, такой, как Козаков, Михаил Козаков.

Д: Помню. Крупный был прозаик, известный.

Б: Известный прозаик, да. Он тоже кончил тем, что его сослали [54]. Он вернулся после реабилитации, но прожил уже очень недолго и, по-моему, ничего уже не написал. Это был, между прочим, близкий друг тоже Медведева, близкий друг. Правда, потом, под конец, была какая-то история, которая их разъединила. Н-да...

Потом был такой писатель, в свое время довольно известный... Вылетело из головы... Что Вы хотите... Потом я вспомню его.

Здесь были поэты. Главным поэтом в круге Медведева был Всеволод Рождественский, совсем еще молодой тогда. Он только что кончил военную службу, которую отбывал на флоте. Он был подводником, подводником, да, конечно, нижним чином, подводником. Вот. И пользовался тогда большим успехом. Тогда же говорили, что существует официально так называемая ленинградская школа поэтов.

Д: Да!

Б: И во главе ее ставили обычно...

Д: Всеволода Рождественского, правильно, да.

Б: В эту школу входили прежде всего Тихонов Николай... сюда входил одно время и Вагинов, о котором дальше я буду говорить, и еще другие.

Д: Гитович.

Б: А, Гитович, да-да.

Д: Прокофьев, Саянов...

Б: Прокофьев, Саянов — все это, да, эта школа. Вот.

Д: Но их Вы не знали? Прокофьева, Саянова, Гитовича?

Б: Нет, я их не знал. Нет-нет.

Д: А Всеволода Рождественского Вы знали?

Б: Знал очень хорошо.

Д: Он и сейчас жив.

Б: Он и сейчас жив, я знаю. Вот тогда он часто выступал там, у Павла Николаевича Медведева, потом он выступал, по-моему, даже еще в салоне Щепкиной-Куперник, если память мне не изменяет. Он и там выступал с чтением своих стихов. И вот те стихи, которые он читал, — они были тогда очень хороши. Это была чистая лирика, чистая лирика! Никаких там, так сказать, гражданских мотивов почти вовсе не было. И опять — он великолепно их читал. Великолепно читал! Когда потом те же стихи я читал в напечатанном виде, они не произвели на меня такого впечатления.

Д: Не помните ничего из его стихов?

Б: Из ранних его стихов? Нет, знаете... Он не такого калибра все-таки поэт. Я помню вот такие стихотворения его: «На смерть Блока», например. Очень хорошее стихотворение.

Д: Ну, а как он себя держал? О нем самом что-нибудь у Вас есть, какое-нибудь интересное воспоминание? Вы часто его встречали в кружке у Медведева?

Б: У Медведева, да. Он принимал там участие в литературной борьбе своего времени. Сегодня уже, конечно, не удастся вспомнить кое-что из его стихов. У него был сборник, кажется, «Большая Медведица» называлось [55]. Да, там, кажется, отдельные стихи о России, где говорится: «Вот была такая большая...» — будут говорить на Западе —

Была такая большая глупая страна,
Но петь, как порой она певала,
Вам не удастся никогда! [56]

Хорошие, сильные стихи.

Д: «Была такая большая глупая страна, но петь, как она певала...»

Б: «...как порой она певала...»

Д: «Вам не удастся никогда». Это адресовано к Западу, да?

Б: Ну конечно, да-да-да. Или вот такое стихотворение... Сейчас я вспомню...

На полях, согретых звездным светом,
Горестно и трудно мы поем.
Оттого-то на пути земном
Ангелы приставлены к поэтам.
Водят, как слепых или детей,

И, неутомимые скитальцы,
Слышим мы внимательные пальцы
Милых спутников в руке своей.

Это очень хорошо.

Д: Да.

Б:

Ангел мой, такой простой,
Никогда не знающий, что надо,
Знаю: будешь ты моей женой,
Легкой девушкой земного сада.

Для земных неповторимых дней
Покидая... звуки клавиш,
В бестолковой комнате моей
Пыль сотрешь и вещи переставишь.

А когда... — (что-то такое) —
Станешь человеческою лирой... [57]

Вот видите, уже сбился.

Д: Ну, понятно.

Б: Я, между прочим, читал немножко в его стиле, чуть-чуть, с его интонацией по возможности, конечно, сейчас я уже не могу...

Д: Здесь немножко есть и Пастернак, и Есенин.

Б: Да, есть немножко и того и другого. Ну и Блок здесь есть тоже, и Блок есть...

Д: Вообще, он при Блоке еще начинал.

Б: При Блоке начинал...

Д: У него воспоминания есть...

Б: Конечно, при Блоке он начинал, да.

Д: Надо его разыскать. Он жив, не знаете?

Б: Жив, жив. Он пушкинист, работает над Пушкиным, да.

Д: Он там...

Б: Да, в Ленинграде, как и был.

Д: Остался?

Б: Да.

Д: Вот видите, какое тут богатство у Вас.

Б: Н-да... Что ж тут еще... какие... Ну, о Блоке, я помню...

...В первый раз... такой России...
Полустанками, телеграфистами, ночью,
Рудниками и зарей...
Первый раз...

Что-то такое:

Ночью...
Ты была его подругою...
Непутевой ночью...
Без креста
Первый раз... (какой-то) вьюгою...
Навсегда поцеловать в уста...

Тоже очень хорошо.

Д: Это Рождественский о Блоке?

Б: О Блоке, да-да. Это вот стихи. И кончается, кажется, так: «Навсегда поцеловать в уста». А потом: «Трех свечей глаза мутно-зеленые...» Что-то такое: «Словно крылья сломанные, руки в этом черном сюртуке...» [58] — и так далее. Вот — это очень хорошие стихи такие были, прекрасные.

Д: Вот в этих кружках, значит, там что же — просто собирались и читали стихи?

Б: Читали стихи. Ну как же — у Павла Николаевича пили чай, иногда и вино пили, закусывали и так далее.

Д: А доклады читали?

Б: Иногда и доклады читали.

Д: Вы там что делали? Стихи читали?

Б: Я там — нет, я там больше был в качестве... У Павла Николаевича Медведева — там докладов мало читали. Там читали стихи и прозаики читали свои рассказы. А потом беседовали.

Д: И Вы просто принимали в обсуждении...

Б: Я принимал участие, только, и очень мало говорил, я больше слушал. Вот у Ругевича — там я был более активен.

Д: А у Ругевича читали доклады?

Б: Там я читал доклады, да. Читали доклады. Затем... Всеволод Рождественский... Его стихи. Там же вот и Вагинов выступал.

Д: Вот расскажите о Вагинове, и им кончим тогда.

Б: Потом, между прочим, тогда же существовал тоже вроде салон — Марии Вениаминовны Юдиной, где и Всеволод Рождественский выступал, и Вагинов выступал, и... Волошинов Валентин Николаевич, вот, — поэт, который тогда печатал стихи, но потом он забросил совсем, понял, что он поэт слишком маленький, и не захотел продолжать эту деятельность, тем более что он был еще и музыкант, композитор. А нужно Вам сказать, что вот в то время у Марии Ве-

ниаминовны, конечно, было много музыки. Она сама играла, иногда всю ночь напролет. Играла так, как я никогда не слышал ее в концертах!

Д: Ну, о Марии Вениаминовне сейчас не говорите, это в следующий раз. А вот Вагинов...

Б: А вот о Вагинове — да, но о нем я, пожалуй, тоже в следующий раз. А то сейчас придет Галина Тимофеевна [59]. И (*смеется*) вот...

Д: У Вас о Вагинове есть что-то, так сказать...

Б: Ну, немножко, да, я расскажу о нем, подробнее несколько, потому что его совсем забыли, совершенно несправедливо. В энциклопедию его не включили. Ничего...

Д: Совсем? В Литературную?

Б: Совсем. В Литературную энциклопедию его не включили.

Д: Да, это несправедливо.

Б: Да, совершенно несправедливо.

Д: А Рождественский... Я просто хотел у Вас спросить... поскольку Вы его видели, скажите немножко о его внешности, его образ...

Б: Видите ли, он был довольно такой высокий, довольно стройный человек, я бы сказал даже — довольно красивый, но было что-то в его чертах лица, да как и в его поэзии отчасти, что-то, ну, какое-то расплывчатое... Твердости не было никакой. Не было. Одним словом, вот, говоря словами евангельскими, — «трость, колеблемая ветром». Да, это в нем было. И в его, так сказать, отношении к литературной борьбе тоже: он так это увиливал, вилял, скользил, шатался — одним словом, твердости не было и, по-моему, не было совершенно смелости.

Д: Смелости?

Б: Смелости не было никакой. Никакой. Многим он был очень мил, особенно когда читал стихи, и читал их прекрасно. Я слушал его всегда с глубочайшим вниманием и с удовольствием. Но, когда я читал его стихи потом в напечатанном виде, они не производили на меня такого впечатления, хотя и не могу признать их плохими...

Д: Ну, а, скажем, он и Антокольский... Кого Вы считаете крупнее?

Б: Очень трудно сказать. Видите, Антокольский культурнее гораздо, шире.

Д: Рождественского?

Б: Да, культурнее. Антокольский — культурный человек. А тот — надо сказать, у него культура была невысокая. Он был лирик. А вот когда он перешел к темам таким... гражданским, политическим, отчасти философским, то он перестал быть как следует поэтом.

Д: Так что по типу своему он ближе к Есенину.

Б: Он ближе к Есенину, да-да-да.

Д: Как поэтическая личность.

Б: Как поэтическая личность, да.

Д: А по стилевому... Правильно ли сказать, что вот по стилевому направлению вот эта школа... группа ленинградских поэтов во главе с Всеволодом Рождественским более всего училась у акмеистов?

Б: У акмеистов, да.

Д: Верно?

Б: И отчасти у Блока.

Д: Это мои собственные домыслы.

Б: Да-да. Нет, это верно, что более всего, пожалуй, именно у акмеистов.

Д: Вот — у Гумилева, у Ахматовой...

Б: Да-да.

Д: И у второстепенных акмеистов там, сравнительно. Этих вот Вы знали, скажем: Лозинского, Шервинского, Зенкевича?

Б: Ну конечно, это петербургская группа была, да.

Д: А Константина Вагинова Вы выводите из них за скобки как более крупного?

Б: Не как более крупного... Может быть, и более крупного, но не как... — как поэт тоже он был крупный, — но как прозаика.

Д: Как прозаика?

Б: Да. Потом — совершенно незаслуженно забытого. Как прозаик он был замечателен, очень интересен. Новатор. И до сих пор совершенно непонятый и неоцененный. Как поэта его на Западе тогда же еще оценили. Еще и говорили, что вот, такой уникальный поэт в Советском Союзе, что его не поймут и не оценят.

Д: Так. Значит, у нас остается теперь Вагинов. Затем... Я все-таки жду... Ведь у Вас какое-то было соприкосновение с обэриутами. Об обэриутах Вы будете рассказывать?

Б: Нет-нет. Я о них очень мало знаю. Я, собственно, только Вагинова и знаю. Вагинова только.

Д: А Заболоцкого Вы не знали, да?

Б: Заболоцкого — нет. Заболоцкого я знал уже после его возвращения из ссылки, и то очень мало знал. Он жил тогда рядом с Марией Вениаминовной, в этих коттеджах на Беговой улице.

Д: Да-да, знаю, на Хорошевском шоссе. Ну, сегодня у нас, правда, получились даже не столько мемуары, сколько разговор. Но очень уж интересно.

Б: Да-да-да.

Д: Устали, Михаил Михайлович?

Б: Нет, я не устал нисколько.

Д: Ну, большое Вам спасибо, Михаил Михайлович.

Б: Пожалуйста, пожалуйста.

Д: Сейчас я уж на этом выключу... не доводя до самого конца...

Б: И потом у нас останется только Мария Вениаминовна.

Д: Нет, нам останется все-таки еще... Вагинов, Заболоцкий, включая и позднего, что помните об обэриутах и как Вы к ним относитесь. И потом отдельно — Мария Вениаминовна. Ну, на этом выключаю.

ПЯТАЯ БЕСЕДА — 22 МАРТА 1973 ГОДА

Д: Михаил Михайлович, ну что ж, приступаем к нашей пятой, надо полагать, уж последней беседе.

Б: Последней, последней, конечно, хорошо.

Д (*смеясь*): Видите, Вы думали, что у Вас на часок. Я уж знаю по опыту, что у Вас много должно быть. Значит, мы с Вами условились, что заканчивать мы будем воспоминаниями о Юдиной, а сейчас вот доскажите, что бы Вы могли еще сказать...

Б: ...о Вагинове.

Д: ...о ленинградских поэтах и писателях 24—29-го годов.

...Константин Вагинов. Я тоже эту фамилию помню, книжечка «Козлиная песнь», помнится, у меня была, но, честно говоря, у меня никакого образа этого поэта нет.

Б: Нет. Да. Ну вот. Одним из наиболее интересных и выдающихся представителей ленинградской школы поэтов был Константин Константинович Вагинов. Он был тогда очень молод еще, только что закончил Ленинградский университет. Был филологом, человеком очень начитанным, страстным библиофилом. У него была очень интересная библиотека, которую он собирал, — главным образом итальянских поэтов XVII века.

Д: О-о-о!

Б: Вообще он очень любил... во-первых, эпоху не классической Греции, а эллинизма, эллинизма. У него даже есть стихотворение «Эллинисты», вот такое: «Мы эллинисты...» — и так далее [1]. И затем XVII век, барокко, итальянское барокко — Сальватор Роза и другие. У него были и книги XVII века этих авторов. Это очень ценная и редкая вещь...

(*Перерыв в записи. Помехи.*)

Д: Пожалуйста.

Б: Это записано?

Д: Нет. Про меценатство...

Б: Да. Ну вот... значит, некие меценаты, которые приглашали его на обед.

Д: Были у него меценаты?

Б: Да-да. Все были тогда... меценаты... Вот... Илья Груздев... [2]

Д: Биограф Горького, да?

Б: Биограф Горького, да-да. Он работал в ГИЗе в то время, в Ленгизе — Ленинградском отделении Государственного издательства, много писал. Вот его статья об авторских масках, очень интересная статья, в свое время новаторская... в литературоведении. Это был человек... такой очень осанистый, очень хорошо умевший устраиваться, и в то же время он оказывал помощь молодым и голодающим писателям, а таких было много. Молодые голодающие писатели — это довольно типичная фигура для того времени. Они обычно в ГИЗе бывали, собирались там, друг к другу ходили. У кого-нибудь есть помидоры: «У меня есть — приходите есть помидоры!» — шли есть помидоры. И это было уже лакомство, потому что у многих и помидор не было. Нужно сказать, таким же, в сущности, но только не столь голодным был и Николай... э-э...

Д: Тихонов?

Б: Тихонов, да. Ходил он в старой солдатской шинели своей... жил он так это... самым богемным образом. Был у него чайник, из которого он поил чаем, иногда с хлебом, а иногда — без хлеба, своих товарищей по перу и так далее.

Но Вагинов, как я говорил уже, был довольно одинок. Он не был тесно связан со всеми этими писателями. Зарабатывал он, печатая свои стихи, а затем — помогая молодым писателям: редактируя их книги, консультируя их. Печатать ему удавалось и стихи, и мелкие заметки в журнале, который назывался «Записки передвижного театра».

Передвижной театр пользовался в то время довольно широким успехом. Его, значит, директор и основатель — Гайдебуров... и Скарская. Ну, Гайдебуров был артист, и довольно известный в свое время артист. Ну, а Скарская тоже была артистка. Она была сестра Веры Федоровны Комиссаржевской [3].

Д: Вот как! Родная сестра?

Б: По-моему, родная. Скарская — это ее, по-моему, сценическая фамилия. А Вы знали об этом театре?

Д: Нет.

Б: Да. Его, театр, как-то забыли совершенно, а в свое время он пользовался довольно широким успехом.

Д: Петербургский, значит...

Б: Петербургский, да, передвижной театр.

Д: А куда он передвигался?

Б: А вот, видите ли, это название передвижного театра и идея, конечно, заимствованы у передвижных художников, которые передвигали свою выставку по провинции. Так обслуживали, будучи, так сказать... художниками московскими и петербургскими, обслуживали тем не менее, как теперь называют, периферию. И вот театр Гайдебурова — тоже. Его главная цель была: будучи, так сказать, театром столичным, в то же время обслуживать провинцию, знакомить провинцию с наиболее новым в театральной жизни. И это им в какой-то мере удавалось.

Д: Ну, а что это за театр был по своей стилевой направленности? Это был сколок с Малого театра, с Художественного?..

Б: Да, это было... Да, но только там преобладали все же такие более... ну, левые течения: символисты там ставили свои пьесы, потом они выбирали пьесы малоизвестные. Например, очень много у них шло пьес скандинавских драматургов.

Д: Это тогда было очень модно. После Ибсена пошло.

Б: Вот! После Ибсена пошло, да. Ну конечно, и Ибсена они тоже ставили. Но главным образом они ставили таких драматургов, которые были мало известны. Театр был, конечно, неплохой для того времени, неплохой театр. И театр очень живой, потому что и сам Гайдебуров был очень живой человек, да и Скарская тоже. И вот они издавали свой журнал, который назывался «Записки Передвижного театра». Редактором этого журнала был Павел Николаевич Медведев. Это один из моих ближа-айших друзей, того времени.

Д: Ну, да-да. Вы о нем говорили.

Б: Он редактировал этот журнал. Он был человек очень... умелый, он умел как-то обходить всевозмож-

ные рифы, которых и тогда уже было очень много в литературе и в искусстве, и был человеком в достаточной мере смелым и инициативным. И вот он печатал Вагинова. Другие журналы Вагинова не печатали. Он печатал там стихотворения такие, которые — даже трудно сейчас представить себе, что их можно было публиковать в то время. Вот одно из стихотворений, которое было напечатано, — стихотворение Вагинова, как раз автобиографическое...

Живу отшельником — Екатерининский канал, 105...
(точный адрес).
За окнами растет ромашка, клевер дикий,
Из-за разбитых каменных ворот
Я слышу Грузии, Азербейджана крики.
Телесный храм разрушен.
В степи поет орда,
За красным знаменем бежит она послушно...
...летит она послушно...
Сегодня ты смердишь напропалую, Русь,
В Кремле твой Магомет по ступеням восходит.
По ступеням восходит Магомет Ульян:
«Или-или, или-или Рахман!»
И строятся полки и скачут...
...Зовут Китай поднять лихой кумач...
...и мчатся вскачь,
Зовут Китай поднять лихой кумач.

Теперь дальше... Видите, какие стихи... Это было напечатано в журнале [4].

Д: В двадцать... каком году?

Б: Это было примерно в двадцать... так...

Д: В 23-м, наверное?

Б: Нет.

Д: Ульян-то вспоминается как живой. При жизни еще?..

Б: Нет, это было после его смерти.

Д: А почему же он восходит по ступеням? Или это ступени мавзолея?

Б: Да... Нет, пожалуй, это было еще при его жизни. Это было примерно в 24-м году, в год нашего приезда.

Д: Да!.. Ну, неудивительно, что его, так сказать...

Б: Да. Потом:

Молод я и жив своей душою беспокойной.
И вот гляжу закат, в котором жизнь моя,
Империи великой и просторной...

Это вообще одна из его основных тем — закат великой империи.

Д: «...в котором жизнь моя...» — что? «Отразилась»? Или как?

Б: Просто жизнь его в этом. Нет, тут глагол не нужен.

> И вот гляжу закат, в котором жизнь моя,
> Империи великой и просторной...

Стихи, как видите, очень оригинальные, очень своеобразные. Адрес — ведь адрес совершенно точный. Действительно, он жил...

Д: Ну, это уже было.

Б: Потом эти специфические тоже черты Ленинграда того времени: разбитые каменные ворота, крик грузин, азербайджан, вообще все это... представители меньшинств, которые в то время буквально наводняли Петербург.

Д: Почему?

Б: Ну вот потому что для них там было раздольно. Они умели там действовать. Русские приспособлялись гораздо хуже к существующим условиям. Не говоря уже о том, что для этих меньшинств существовали всевозможные привилегии и прочее.

Потом — вот, действительно, росла ромашка и «клевер дикий». Я бывал у него много раз и действительно могу засвидетельствовать, что...

Д: Ну, это опять Ленинград, то есть Петербург, эпохи разрухи. А вот нэпа я здесь не чувствую.

Б: Нэпа здесь, собственно, еще и не было. То есть нэп-то был, но пока он еще не чувствовался [5].

Д: Совсем не чувствуется... А прием этот уже был. Во-первых, Маяковский его употреблял, и после Маяковского его использовали: «Я живу на Большой Пресне, 24. Место спокойненькое. Тихонькое. Ну?..»

Б: Да, это вообще — да. Но, по-моему, это было после Вагинова.

Д: Ну что Вы! Задолго...

Б: Да-да, правильно, правильно. Правильно.

Д: Это было еще в начале войны [6].

Б: В начале войны было, да-да.

Д: И потом у других. Позднее повторял Луговской, еще кто-то.

Б: Да. Вот, это главный момент...

Д: Ну, а кроме вот этого, прямо надо сказать, действительно махрово контрреволюционного стихотворения, у него что-нибудь было такое более нейтральное? Ведь он жил, его все-таки печатали.

Б: Да. Видите ли, вполне нейтрального не было, потому что жизнь не была нейтральной, и нейтрального уголка, собственно, почти не оставалось. Вот. Вообще-то он был одинокий человек, это был глубоко нейтральный человек сам по себе, как человек, но жизнь-то не была нейтральной.

Ну вот, что еще из его значительных произведений?..

Д: Не помните наизусть? Интересно было бы...

Б: Вот, например, начало одного стихотворения. Сейчас, сейчас, сейчас...

О, сделай статуей звенящей
Мою оболочку!
Чтоб после разверстого плена
Стояла и пела она
О жизни своей ненаглядной,
О дикой подруге своей
У врат Вавилонской стены... [7]

Между прочим, у него очень много таких мифологических реминисценций, реминисценций, которые...

Д: Это реминисценции реминисценций.

Б: Да. Это...

Д: Брюсов тут чувствуется.

Б: Нет, Брюсов тут не чувствуется. Это скорее уж Вячеслав Иванов. Здесь имеется в виду статуя Мемнона.

Д: Нет, я имею в виду не конкретные ссылки, а общий такой...

Б: Общий тон, да.

Д: Да, общий тон. Брюсовский. Только Брюсов это поворачивал в сторону революции, а здесь наоборот.

Б: А здесь — да.

Д: А еще, кроме этой книжки, «Козлиная песнь», у него есть еще что-нибудь?

Б: Это не «Козлиная песнь», это стихи его. У него было два сборника. Вот я даже не помню, как они назывались... [8]

Д: Но в Литературную энциклопедию, в современную краткую, он не попал?

Б: Не попал совершенно. Непонятно, почему он не попал. Забыли его совершенно [9]. Это его стихи.

Д: А проза?

Б: Вот проза у него гораздо значительнее. Хотя и стихи у него значительные, значительные и своеобразные. А проза у него... Он написал два романа, довольно больших. Первый называется «Козлиная песнь», а второй — «Жизнь и труды Свистонова» [10].

Д: Простите, а «Козлиная песнь» — это не сборник стихов?

Б: Нет-нет, это роман. Роман.

Д: А как сборник стихов назывался?

Б: Вот я не помню названия.

Д: Ни тот ни другой не помните?

Б: Ни тот ни другой не помню. Ни тот ни другой.

Д: А роман «Козлиная песнь» — это что же, история тоже?

Б: Нет, это совсем не история. Видите ли, самое название «Козлиная песнь» — это дословный перевод древнегреческого названия «трагедия». То есть песня козла, козла. И героем этого романа является необычный, своеобразный человек Тептелкин. Тептелкин. Вообще Тептелкин и в поэзии его встречается и так далее. Да, это из фамилий так — выбрана им она.

Д: Трагический герой Тептелкин.

Б: Трагический герой Тептелкин.

Д: Это уже указывает на какую-то стилевую...

Б: Да. Трагический герой, который... и трагичен и не трагичен — и смешон, и чудаковат, и нелеп — и в то же время глубоко трагичен. Это Тептелкин.

Вот этот Тептелкин в этом романе наделен такой биографией. Но уже биографией начиная, конечно, не с детства, не с юности, а с Октябрьской революции. Этот Тептелкин чрезвычайно ученый человек, погруженный в науку человек. Вот он во время голода уезжает в провинцию, — изображает его провинциальную деятельность. Это ученый, который абсолютно не знает и не понимает окружающую его жизнь, энтузиаст. Потом изображается его жизнь уже в Ленинграде. Тут он дает уроки, у него весь день расписан, он почти не спит, а работает сам и дает уроки. Уроки он дает бесплатные, дает по разным специальностям, по иностранным языкам: по итальянскому языку, по

испанскому языку, — больше того, он дает уроки по... египетскому, древнеегипетскому языку. Всякий, кто желает изучать эти языки, — пожалуйста, милости просим, бесплатные уроки он дает, с целью как-то все-таки удержать русскую культуру, филологическую культуру на высоте, не дать ей совсем захиреть и упасть. Потом, ему совершенно...

Д: Не лишенный актуальности.

Б: ...непонятен и неприятен, неприятен и непонятен вот этот современный техницизм, современная деловитость и так далее.

Д: Ему, Тептелкину?

Б: Тептелкину, да. Ему совершенно это чуждо. Он живет вот в таком мире, в мире филолога, отрешенного от жизни. Затем, значит, что еще? Изображаются его попытки печататься, литературной деятельности. Ему не удается печататься, потому что никто его не понимает и не хочет признавать вот такого направления. Дальше. Брак его изображается. Женщина, которая его неспособна понять и так далее. При этом Тептелкин, с одной стороны, человек очень значительный, серьезный и трагический, потому что жизнь никак, так сказать, не давала ему ходу...

Д: Не приемлет.

Б: Не приемлет его жизнь. И он этой жизни, которая его окружает, не приемлет. Но только он очень добродушно относится к этой жизни, очень добродушно, — не осуждает, ему совершенно чужд пафос критический, — нет.

Дальше изображаются его чудачества всевозможные. Например, он живет на башне. Деревянная башня в старых Петергофских дачах. Вот он эту башню, нежилую совершенно, снял и там живет, и подымается каждый день на эту башню. Там у него такая комнатушка башенная, где он работает. Нужно сказать так: что этот Тептелкин — лицо, имеющее... э-э... прототип.

Д: Ну, очевидно, сам автор, это автобиографически.

Б: Нет, совсем не автор. Не автор, а совершенно реальное лицо, которое тогда жило в Петербурге и события жизни которого довольно точно — и привычки и так далее — переданы в романе. Это Лев Васильевич Пумпянский. Вы его знаете, конечно.

Д: Я его знаю понаслышке и от Вас.

Б: Понаслышке, да. Ну вот его статьи — у него же много литературоведческих статей... Это был человек действительно огромной, огромной, почти, так сказать, сверхъестественной эрудиции. Он очень много знал, и языков очень много знал; и вот все это — и его бесплатные уроки, это стремление его поддержать филологическую культуру в самых неподходящих условиях для развития этой культуры. Затем быт его. Он вечно нуждался, конечно, вечно голодал, несмотря на то что он, так сказать, был ученым человеком, — поддержки ему не оказывали. Его окружали всевозможные лица, образы которых у Вагинова даны очень хорошо. Среди них тоже были лица, которые жили в то время в Ленинграде...

Да, вот тут есть и автобиографическое лицо — это неизвестный поэт. Он фигурирует все время в романе, неизвестный поэт — это друг Тептелкина. Затем еще — Костя Ротиков. Это отчасти как раз... прототипом послужил Павел Николаевич Медведев, который изучал Блока, у него есть несколько книг о Блоке: это «Творческий путь Блока»...

Д: Она у меня есть. Не очень самостоятельная и малозначительная книжка.

Б: Вообще книжка совсем незначительная. Просто плохая книжка.

Д: Он вообще как-то очень исписался, этот Медведев. Он начал интересно, а потом... У него о Брюсове была интересная книжка. Собственно, первая связная книга о Брюсове.

Б: О Брюсове? Я сейчас даже не помню.

Д: Вот... А о Блоке — это уже слабее. Я его так и воспринимал как специалиста по Брюсову, указывал его книгу... По Брюсову ничего у нас не было...

Б: Он был теоретиком литературы.

Д: Да, немножко и теоретиком.

Б: Ну и вот, он изучал Блока и действительно был знаком с женой Блока, был ее любовником, по-видимому.

Д: Любовь Дмитриевны?

Б: Да. Любовь Дмитриевны.

Д: Уже после смерти Блока?

Б: Ну конечно. И она раскрыла ему архив Блока. И вот он поэтому мог издавать. Издавал и дневники

Блока, записные книжки Блока издавал. Потом фрагменты, оставшиеся из его недописанных, незаконченных драм. Довольно много публиковал из наследия Блока.

И вот там этот Костя Ротиков изображается, который изучает какого-то поэта (и под этим поэтом, которого он изучает, подразумевается Гумилев) и пытается выяснить всех любовниц этого поэта и непременно с каждой любовницей, так сказать, иметь связь [11]. Он считал, что для понимания этого поэта, его биографии и вообще для того, чтобы душа раскрылась, ему нужно, так сказать, всех любовниц узнать самым ближайшим образом. И своеобразный такой образ, я бы сказал, типичный такой.

Д: Это Костя Ротиков.

Б: Костя Ротиков, да.

Д: Это его прообраз — Медведев?

Б: Медведев, да.

Д: А Пумпянский — прообраз?..

Б: Тептелкина.

Д: Самого Тептелкина. А автобиографичен кто? А автобиографичен неизвестный поэт.

Б: Неизвестный поэт, да. Там все так, там все связано с определенными лицами, с определенной действительностью. И вот так, как я сказал, уже раскрывается очень яркое своеобразие Вагинова: с одной стороны — детализация мелкая, тончайшие оттенки, а с другой стороны — необычайная широта горизонта, почти космическая [неразборч.]. И вот это своеобразие раскрывается и в Тептелкине. Начинается изображением [неразборч.] Ленинграда. «В это время в городе жило странное существо по имени Тептелкин» [12]. Странное существо. И дальше идет рассказ о быте этого Тептелкина: его комната, его одеяло, которым была накрыта его постель, точно соответствует одеялу... Так как я был близким другом Пумпянского, то и одеяло мне это было хорошо известно, и вообще все это было известно, и все это довольно точно воспроизведено. И в то же время сила, глубина и трагизм Пумпянского нашли отражение.

Вообще это совершенно своеобразная, я бы сказал, в литературе трагедия, трагедия — вот можно так это назвать — трагедия смешного человека. Смешного человека. Трагедия чудака, но только не в стиле

Достоевского, а в ином стиле несколько. Вообще очень интересная, очень любопытная судьба.

Д: У меня эта книжка была, кажется.

Б: Да, ее достать можно.

«Жизнь и труды Свистонова» — это другой роман. Здесь как раз Свистонов — это отчасти сам Вагинов, более автобиографический роман в этом отношении. Ну, здесь изображаются тоже представители того времени, характерные очень. Такая фигура там главная — Куку.

Ну, нужно сказать, что этот Куку — это такое своеобразное порождение эпохи — человек, который, так сказать, ничего не имеет своего собственного. Что у него было, все у него было отнято временем — не в смысле материальном. В конце концов, ему осталось только одно — воспроизводить жизнь других людей, разыгрывать их, быть чем-то. Одевается он, как люди пушкинских времен. Так что, когда он выходит, например, гулять в парк, то мальчишки кричат: «О, тут будет съемка, тут будет съемка!» Значит, кино, киносъемка будет, потому что фигура эта совершенно в духе 20 — начала 30-х годов прошлого века.

И вообще так это все у него сделанное. Это пустота, но пустота, которая в то же время притянула к себе различные силы, различные эпохи, различные интересы. Мечтает он о том, чтобы войти в литературу, но сам он ничего написать не может, потому что у него ничего нету. Он может только стилизовать. В конце концов он попадает в роман вот в этот самый — «Жизнь и труды Свистонова». Сначала он в восторге, что его наконец изобразят в романе, он войдет в историю; а потом, когда он этот роман прочитывает, он приходит в ужас и убегает из города, потому что ему уже теперь стыдно показаться где-либо, когда вот его изобразили так.

Опять все это написано в совершенно своеобразном стиле, вагиновском исключительно. Я бы сказал, Вагинов в этом отношении — совершенно уникальная фигура в мировой литературе, уникальная фигура. И вот очень жаль, что его не знают, что его забыли.

А когда я уезжал, Вагинов уже был болен: у него начинался туберкулез. И вскоре после моего отъезда он и умер от туберкулеза, поддержки он не получал почти никакой.

Хотя, я помню, было собрание ленинградских писателей, посвященное его поэзии [13]. С докладом о его поэзии выступал Бенедикт Лившиц. Такой он восторженный доклад прочитал о поэзии Вагинова. Выступал, между прочим, Медведев, который тоже его очень хвалил, его поэзию, дал анализ его особенностей. Выступали поэты, которых я даже и не знаю, поэты какие-то очень странные, которые нападали на Вагинова за его индивидуализм и так далее. И наконец, председатель на этом собрании был Федин. И вот Федин выступил с заключительным словом. И в этом заключительном слове он тоже Вагинова хвалил, поддержал.

Д: А когда же этот вечер состоялся, Вы не помните? В каком году?

Б: Году в 25-м, вероятно.

Д: Ну, кто там был, кто выступал? Шенгели был?

Б: Был, по-моему, был Шенгели, тоже выступал, что-то говорил. Выступал Пумпянский тоже о его поэзии.

Д: И вот, собственно, этим вечером и кончилась его литератур... Она как, оборвалась или постепенно?.. Его что, арестовали?

Б: Он уже тогда был болен. Затем, значит, я уехал. И дальше, значит, так: пробиться ему все-таки не удалось, его не печатали, печатали очень мало. Он очень нуждался, в сущности, голодал. Кроме того, 30-е годы начались, и уже вот в эту эпоху ему жить никак нельзя было. Ничего у него не получалось. И даже Федин, который выступал тогда с его, я бы сказал, горячей защитой, от него отвернулся. Мне передавали слова Федина, что он будто бы «отстал от жизни, не хочет идти в ногу с жизнью — что же можно с ним поделать». Ну, в то время, конечно, вот эти слова: «отстал от жизни», «идет не в ногу с жизнью» — были очень распространены. А под «жизнью» понималось, конечно, то официальное направление, которое в то время насаждалось всеми средствами.

Д: Так. Ну что ж, Вагинов... Вы довольно полно сказали... Ну, из поэтов тех времен, может, еще кого вспомните?

Б: Да нет, сейчас я просто никого что-то не помню...

Д: Ни Маршака, ни Есенина, ни...

Б: Нет-нет, нет-нет, их я не знал, конечно, то есть, лично не знал. Я видел всех: и Есенина, и...

Д: А Ваши отношения с Антокольским закрепились и развивались?

Б: Нет. Нет-нет, с Антокольским я познакомился уж совсем недавно, летом прошлым, в Переделкино.

Д: А Анна Андреевна принимала активное участие... в этой жизни?

Б: Нет, не принимала, не принимала совершенно. Она уже была в стороне. Ну, а Гумилев — Гумилев же погиб.

Д: Это-то я знаю.

Б: Но Вагинов вот был в его кружке, работал тогда, очень его уважал, ценил.

Д: В кружке Гумилева?

Б: Да. Он же руководил кружком.

Д: Так. Михаил Михайлович, я Вам тогда подброшу еще одну тему. Театр петербургский того времени Вы посещали?

Б: Посещал, но мало, потому что, кажется, театр того времени, по-моему, не блистал.

Д: Почему? Вторая половина 20-х годов — еще очень блистал.

Б: Да, но, видите... Я посещал, конечно. Пожалуй, наибольшее впечатление на меня производили постановки Мейерхольда. Мейерхольд, да. Он меня очень заинтересовал. Я видел ряд его спектаклей. Особенно, помню, мне понравился его «Ревизор», а затем «Лес». «Ревизор» был очень интересен. Ну, потом еще из постановок того времени я очень хорошо запомнил... «Ревизора». В главной роли Хлестакова... Чехова, Михаила Чехова.

Д: Ах, Вы видели Чехова — Хлестакова?!

Б: Видел, Михаила Чехова. Я видел...

Д: Ну! Вот сейчас вышла книжка Громова о нем. Но она как-то вяло написана.

Б: Нет, замечательный был актер. Огромное впечатление на меня произвел «Ревизор» — в его главной роли. А потом больше я в театре его не видел, а только на экране. Ну, «Человек из ресторана», где он играл тоже заглавную роль. А недавно совсем я видел его в американском фильме, уже глубоким стариком, он там маленькую роль играл, директора консервато-

рии. Это вот, да... Он оставил... очень сильное впечатление.

А потом гастролеры некоторые, и в частности я видел — вот это тоже было потрясающее нечто для меня — Сандро Моисси. Когда он приезжал, да.

Д: Это 27 — 28-й год.

Б: Да-да-да, вот эти годы. Это был изумительный актер, совершенно исключительный.

Д: Это трагический актер... На каком языке он играл?

Б: На немецком. Он на немецком — только. А остальные... Так как он был один, то остальные все играли по-русски, это актеры Александринского театра. Вот как-то создавало какой-то особый фон: что это какой-то совершенно человек из другого мира, настоящего, большого мира, а остальные все так — пигмеи какие-то, пигмеи и дикари. Такое впечатление создавалось.

Видел я его еще раньше. Первый раз я познакомился с Моисси очень давно, когда он приезжал с театром Рейнгардта, Рейнгардтовский театр, и они ставили «Царя Эдипа» в цирке. Ставили, так сказать, совершенно так, как он...

Д: Я пытался на него попасть. В театр на «Царя Эдипа».

Б: А когда Вы... могли его, так сказать?..

Д: Не его. Я имею в виду... вот сами эти постановки классические потом шли в Зале Чайковского в постановках греческого театра.

Б: А! Ну да, но это другое совсем. А Рейнгардтовский театр — у него были специфические постановки. Ну вот, и он в цирке давал представления. И вот тогда-то я видел Моисси уже в окружении только актеров Рейнгардтовского театра, только. Все читали по-немецки, только. И там я видел первый раз Моисси...

Д: Он кто сам-то по национальности?

Б: По национальности он... по-моему... не то... из Югославии он... не то хорват, не то что-то еще... [14]

Д: Сандро Моисси.

Б: Не то венгр... Сандро Моисси, да. Он маленький, невысокого росточка, довольно щуплый, лицо у него обезьянье почти что, но необычайно живое. Но, конечно, когда он играл, то это совершенно... Он на-

столько, так сказать, подавлял своей душою, своим характером, подавлял и свою наружность, и свой рост и так далее и так далее. Вы видели настоящего большого героя, который казался выше всех, его окружающих, хотя он был по росту ниже всех окружающих. Нет, вообще замечательный, это один из величайших актеров, которых я видел. У нас не было таких... У нас таких актеров не было.

Д: Я афиши только помню. Я, конечно, сам не видел. Афиши помню в Москве — «Сандро Моисси»...

Б: Вот это театр, который я посещал. Ну, я и в Передвижном театре бывал довольно часто, но это не оставило во мне особенно больших впечатлений, нет.

Д: Ведь столицей театральной в эти годы была Москва, конечно.

Б: Москва была, конечно, да. И вот когда Мейерхольда я видел — он же приезжал...

Д: А что Вы у Мейерхольда видели?

Б: «Лес» видел... А потом видел этого... «Ревизора», Хлестакова. Да...

Д: Это что же, Мейерхольд приезжал туда, да?

Б: Приезжал. Наезжал. Ну, он довольно часто наезжал. Я помню, так раза, вероятно, два или три он наезжал.

Ну, вот Сандро Моисси — тогда он был только один раз, один раз. А это я раньше его видел, еще совсем почти мальчиком, первый раз — в «Эдипе». Молодого еще Моисси.

Д: Простите, он немецкий актер?

Б: Немецкий актер, да.

Д: Тогдашней веймарской Германии?

Б: Да-да. Веймарской Германии тогдашней, да. Но он начал еще, по-моему, в кайзеровской Германии, — Рейнгардта театр.

Д: А Кайзера в театре Вы не знали?

Б: Это драматурга Кайзера?

Д: Да.

Б: Я что-то его видел. Это не его было — «Эуген Несчастный»?

Д: Я это не помню; я знаю, что о нем тоже были споры большие. Хотел узнать, что это такое.

Б: Да, было много споров. Тогда эти германские драматурги... все это были экспрессионисты... Вот Верфель... Кайзера ставили... Он тоже был...

Д: Тот же Толлер.

Б: ...экспрессионист. И вот я видел пьесу. По-моему, это именно Кайзера была — «Эуген Несчастный»... [15]

Д: Помню название, но я все это, к сожалению, больше помню на афишах, чем...

Б: Я помню, конечно, и пьесу его помню. Она была очень эффектна, очень сценична, была довольно своеобразная. Это трагедия человека, утратившего на войне, так сказать, свою мужскую половую силу и поэтому чувствующего в мире — а мир сплошь, так сказать, сексуально полный [неразборч.]... и все живут только, так сказать, своей сексуальностью и прочее, — а он, этот Эуген Несчастный, он не может к этой жизни приобщиться и так далее и так далее.

Своеобразная пьеса, своеобразно сделанная. Это «Эуген Несчастный» — о ней были дискуссии, я помню. В большинстве случаев дискуссии были довольно жалкими, по-настоящему никто не понимал этой пьесы. В то время, конечно, на этот счет неправильные знания были, психоанализа почти не знали, хотя он издавался в то время. Как раз в эту эпоху, в 20-е годы, произведения самого Фрейда и его учеников выходили у нас.

Д: Ведь действительно они были какие-то очень вульгарные... Вот я помню — или, может быть, это как-то иначе я воспринял — какую-то лекцию об этом профессора Ермакова.

Б: А! Ну так это — да, я знаю. У него есть несколько книжек. Есть книжка...

Д: О Гоголе, в частности, писал...

Б: Да, о Гоголе есть, в частности о «Носе» [16]. Потом есть у него книжка о... «Домик в Коломне», где он расшифровывает: «Дом мой — колом мне» [17]. Вот. (*Смеется.*) Ну нет, Ермаков — это, конечно, почти пародия на Фрейда.

Д: Но, к сожалению, я тогда серьезно в это не входил... только с этого вот конца...

Б: Да... Видите ли, тогда издавалось Полное собрание сочинений Фрейда...

Д: У нас?

Б: Да, у нас. То есть именно полное в то время, когда Фрейд еще продолжал свою, конечно, деятельность. Но нужно сказать так, что у нас этот фрейдизм

не привился, нет. Настоящих, действительно серьезных продолжателей фрейдизма у нас на русской почве не было, не было.

Д: А Вы как относитесь к фрейдизму?

Б: Ну видите ли, ну как я к нему отношусь? Во всяком случае, это один из величайших представителей XX века был, конечно, гениальный открыватель. Его можно поставить рядом — ну с кем?.. ну, с... Господи Боже мой!.. с Эйнштейном. Обычно так его и ставят. Да... Фигура грандиозная. Другое дело — можно не соглашаться с его направлением, но то, что ему удалось раскрыть нечто, чего до него не видели и не знали, — это не подлежит никакому сомнению. Это именно открыватель, и великий открыватель.

Д: Но все-таки... в Вашей позиции, в основе которой, так сказать, как я понял, ну, какое-то более уже в XX веке видоизмененное кантианство...

Б: Кантианство, да.

Д: Он все-таки Вам...

Б: Он в этом-то отношении мне чужд, конечно.

Д: Чужд?

Б: Да.

Д: Вот я поэтому и спросил.

Б: И поэтому влияния на меня он не оказывал такого прямого, его взгляды. Но тем не менее... все же в нем очень много такого, что не непосредственным образом, но как-то вообще, как всякое открытие чего-то нового, хотя бы вы и, так сказать, не занялись бы им, этим новым, но все равно оно как-то уже расширило мир, обогатило чем-то мир [18].

Д: Интересно. Так. Ну, что ж еще у Вас есть по части мемуарной? Осталось еще до перерыва нашего... После перерыва мы займемся Юдиной. Что-то еще я хотел спросить...

Б: Пожалуйста. Мемуарного такого ничего нет.

Д: Я Вас просил перед Юдиной еще о ком-то рассказать... О Вагинове — было...

Б: Да. О Вагинове, может быть. Так других поэтов — я бы не сказал... писателей.

Д: Да. Ну, вот кого еще Вы из других поэтов?.. Ну вот Вы, действительно, расскажите хоть то немногое, что Вас связывало с Заболоцким.

Б: Ничего. Я его читал просто, его произведения, до его ссылки... и до моей ссылки, и все. А потом я

видел его несколько раз, очень мало беседовал, очень мало его слышал... И чтение его стихов слышал... У Марии Вениаминовны, у нее в этом коттедже. Вот и все. Притом у него так: он ведь человек был весьма пьющий...

Д: Да?

Б: ...и у Марии Вениаминовны стояла «водка Заболоцкого». У нее вообще... сама она, конечно (*усмехаясь*), водки не пила, и из знакомых, близких, посещавших ее, никто водки не пил. Я, например, тоже, конечно, не пил водки. Поэтому водка у нее держалась только для Заболоцкого: если он заглянет, так вот, чтобы... «Водка Заболоцкого» — так она и называлась. (*Усмехаются оба.*)

Д: Так, Михаил Михайлович, ну, давайте теперь быстреньким таким конспектом...

Б: Да?

Д: Я хочу представить себе дальнейшую вашу судьбу. Значит, в 28-м году, в декабре, Вас арестовали... И вскоре Вы уехали, да?

Б: Нет, не так вскоре я уехал. Арестовали меня, потом выпустили...

Д: Выпустили?

Б: Выпустили, да, но я находился под следствием. Выпустили меня по болезни. Я лежал в больнице [19].

Д: У Вас нога еще была?

Б: Нога у меня еще была, еще не была отрезана, но она уже была больная. Кроме того, у меня был еще в другой ноге какой-то процесс, по-видимому, в суставе тазобедренном.

Д: Так, значит, Вас просто по болезни, так сказать, гуманно выпустили?

Б: Гуманно выпустили. Тогда вообще все было гуманно. Кроме того, тогда существовал Политический Красный Крест, который возглавлялся...

Д: Пешковой.

Б: Винавером, да, и Пешковой [20].

Д: Так. Ну, а потом Вам что же, предложили выехать просто?

Б: Предложили выехать просто, да.

Д: Куда?

Б: В Кустанай.

Д: Кустанай. Это Казахстан. Это южный Казахстан, да?

Б: Нет, это северный. Северный Казахстан [21].

Д: Там же, где... в тех краях, где Актюбинск?

Б: Где Актюбинск. Даже к Актюбинской области нас... Тогда Кустанай был просто районным центром, районным.

Д: Теперь это все как-то иначе называется.

Б: К Актюбинской области. Да, теперь иначе. Тогда, конечно, никакой целины еще и не было. Кустанай — это был, действительно, такой угол совершенно темный.

Д: В пустой степи?

Б: Степь кругом, степь, деревьев там очень мало. Голая степь... Климат там был тяжелый, тяжелый: зимой очень сильные морозы, а летом совершенно изводили пыльные бураны. Ветры, которые поднимали пыль, буквально невозможно было ходить — задыхаешься...

Д: Чем же Вы там жили?

Б: Служил.

Д: Кем?

Б: Экономистом [22]. Все время. Тогда это обычно: ссыльные где-то вот в таких... вроде Кустаная...

Д: В исполкоме?

Б: Нет, я в торговой организации служил экономистом.

Д: И дали Вам сколько? Пять лет?

Б: Пять лет дали, да.

Д: Значит, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й... В 33-м Ваш срок кончился, да?

Б: Да. Срок в 33-м, пожалуй, кончился. Я сейчас точно не помню. Но я не уехал тогда.

Д: Некуда было ехать?

Б: Некуда было ехать, потому что «минус» был, притом такой «минус»: такие же дыры, как Кустанай [23]. Ну... А настоящий... ни один областной город, ни один вообще город, где было какое-нибудь высшее учебное заведение, — ничего туда не входило. Ну вот.

Д: И жена с Вами была в ссылке?

Б: Да, со мной была.

Д: У Вас детей не было?

Б: Детей не было.

Д: Жена тоже работала?

Б: Жена вначале работала в библиотеке, а потом нет, потом я уже один работал.

Д: Так что, можно сказать, хлебнули... Ну, а потом куда же? Остались в Кустанае?..

Б: Да... Нужно сказать так, что в то время, когда я был в Кустанае... Кустанай — это вообще город, где и в прежнее время, в царское время, было место ссылки [24]. Да... И там население привыкло к ссыльным относиться хорошо. И это, как это ни странно, но и... оставалось. Традиция эта оставалась. Относились к нам там очень хорошо — вначале, вначале во всяком случае. Я даже удивился. Как-то в то время было уже очень голодно, все выдавалось по карточкам, но нам всегда прибавляли еще, прибавляли. Придешь в магазин — дает четверку чаю или там даже осьмерку чая. Попросишь — дадут две, три и так далее. Очень хорошо относились в торговых организациях...

Д: А педагогическую работу Вы никакую не вели?

Б: Нет, вел, вел педагогическую работу, особенно в последний год. Там был... пед...

Д: Педтехникум?

Б: Педтехникум, да. Вот там я немножко работал. А потом я на всевозможных курсах читал — вот для торговых работников... Одним словом, по экономическим вопросам [25].

Д: Что, Вы их — эллинизму обучали? (*Смеется.*)

Б: Нет, экономическим. Я там приобрел знания, конечно, очень быстро. Знаете, это же область такая...

Д: Да. Ну так что — оттуда Вы перекочевали в Саранск?

Б: Да. Оттуда я перекочевал в Саранск. А получилось это вот как.

Д: Это уже после 34-го года?

Б: Да, я...

Д: А 34-й год, убийство Кирова не отразилось на судьбе ссыльных там?

Б: На судьбе ссыльных, там? Немножко отразилось... Вообще немножко даже раньше... Да-да, отразилось. Прежде всего целая новая волна ссыльных. Ссыльных уже, главным образом...

Д: ...коммунистов.

Б: Да, коммунистов. И вообще тут все изменилось. Все эти привилегии и льготы, которые были у нас, ссыльных, — как это ни странно, у нас были привилегии и льготы, например, скажем, на заем никому

не приходило в голову предложить нам подписываться. Вот. Затем — зарплата. Так как ссыльные — в большинстве случаев это были люди образованные, квалифицированные, а таких там было очень мало, никого, собственно, не было из местного населения, то нам совершенно другую зарплату давали. Скажем, зарплата — полтораста рублей, а нам давали двести пятьдесят — триста, только за то, что мы — ссыльные. Ну, мы, конечно, как-то оправдывали эту зарплату. И в этом отношении все понимали, что так, как мы работаем, никто там работать не умел и не мог. Все же это были очень малокультурные люди, хотя и умные, и способные, но малокультурные люди.

Д: Так. А Саранск — это где?

Б: Саранск — это недалеко сравнительно от Москвы: двадцать часов езды.

Д: Это где, Горьковская область?

Б: Это — да, по соседству. Это Мордовия, Мордовская автономная республика.

Д: Это на юг, значит, вниз по Волге?

Б: Это не по Волге, нет. Это до Волги.

Д: Это не на реке разве?

Б: Нет. Там, видите, как раз...

Д: Ну и когда ж Вы попали в этот Саранск? До войны?

Б: До войны. До войны попал, да.

Д: Значит, самые трудные годы: 36-й, 37-й, 38-й— Вы жили в этом самом Саранске. И Вас никто второй раз не трогал, второго срока Вам не навернули?

Б: Нет. Нет... Это было... Позвольте, Саранск... Я уже начинаю путать. Ну да, значит, я поехал в Саранск, совершенно верно... Но эти трудные годы я был не в Саранске.

Д: А где?

Б: Дело в том, что они начались, начались... Я был в Саранске в 36-м году, в 37-м году, в начале еще... И вот там жить стало уже абсолютно невозможно. Кругом людей арестовывали, схватывали и так далее и так далее. Было вообще просто ужасно, непонятно.

Д: Ну, это везде было.

Б: Непонятно совершенно.

Д: И Вы уехали оттуда?

Б: И я оттуда успел уехать вовремя.

Д: Куда?

Б: Уехал в Москву, в Ленинград. Жил то в Москве, то в Ленинграде.

Д: Без прописки?

Б: Без прописки. У меня в Ленинграде была семья: мать, сестры. А в Москве была сестра замужняя [26]. Вот. И потом, друзья были, в Ленинграде были друзья.

Д: Так что Вы, можно сказать, перешли на нелегальное положение.

Б: На нелегальное положение, да.

Д: Вы сбежали из своей ссылки.

Б: Да.

Д: Это Вас спасло, потому что...

Б: Это меня спасло, да. Но, по-видимому, меня никто не искал. Ведь тогда очень были странные вещи: вот человека хватали и так далее, но, если он почему-то уходил из данного места, его никто не преследовал, никто его не искал.

Д: Да, потому что он уже выпадал из плана местных органов. У них тоже план был.

Б: Да, да-да. Да, у них тоже был план, конечно. Ну и вот, значит, я там жил вот так вот.

Д: Я-то Вас видел в Институте мировой литературы в 39-м, что ли, году, что-то в этом роде...

Б: А, ну, тогда уже я... Да, я тогда продолжал жить...

Д: Ну и что же, Вас Институт мировой литературы допускал доклады читать, не поинтересовавшись, как Вы в Москве?.. [27]

Б: У-гу. Сейчас, значит, так: вот тогда я уехал из Саранска, сбежал, можно сказать... Ну, так, не в буквальном смысле, а спокойно сел в поезд и так далее...

Д: А у Вас явки ежемесячной не было?

Б: В Саранске?

Д: Да.

Б: В Саранске — нет, не было.

Д: Но Вы уже свой срок-то отбыли?

Б: Я свой срок отбыл, поэтому явки у меня не было.

Д: Вы были просто «в минусе».

Б: Я был «в минусе», да. И в Кустанае последний год я был уже «в минусе». Потому что мне предложили: пожалуйста, можете ехать, вот Вам список городов, где Вы не можете жить. Так я подумал, что в конце концов в Кустанае я уже живу, чего мне менять один Кустанай на другой Кустанай? И я остался

там на год. А вот в последний-то год я получил письмо от Павла Николаевича Медведева. Медведев побывал в Саранске. Он попросту ездил туда халтурить. Там был большой пединститут, в Саранске, и вот... там деканом был его ученик. И вот он туда поехал халтурить. Там ему понравилось; понравилось в том смысле, что было так спокойно, тихо, все хорошо. В то время еще... И он посоветовал мне поехать в Саранск.

Д: Вернуться?

Б: Нет, не вернуться, а поехать в него. Впервые. Я тогда был в Кустанае еще... Да. И он сказал там, в институте, что вот есть такой Бахтин...

Д: Ну и что же Вы?.. В Саранске Вы...

Б: Был один год, два семестра там провел, два семестра.

Д: И Вы там преподавали?

Б: Преподавал, да, вот в институте [28].

Д: Это то, о чем Вы мне рассказывали без магнитофона, что это очень скучно?

Б: ...было, да.

Д: ...преподавать там?

Б: Да, преподавать там, потому что были очень темные: студенты были темные, преподаватели были темные. Но там платили хорошо. Ведь дело в том, что тогда еще была почасовая оплата. И очень много... Я оттуда привез тысяч десять, хотя только два семестра поработал. Вот когда я удрал, то я удрал с десятью тысячами в кармане. (*Усмехается.*)

Д: Хм... Ну, это возможно.

Б: Да... И вот так, значит, мы жили... [29]

Д: И Вы с женой где-то тут скитались?

Б: То в Ленинграде, то в Москве жили, и притом и там и тут по возможности старались ночевать не в одной квартире, а в разных квартирах. Всюду были друзья, и много друзей, и можно было ночевать...

Д: Но все-таки хорошо... тогда ведь люди очень боялись, не пускали к себе непрописанных.

Б: Да, и тем не менее...

Д: А прописка у Вас была саранская?

Б: А прописка у меня была саранская, и паспорт у меня был саранский.

Д: На мордовском языке паспорт?

Б: Паспорт был... Нет, простите...

Д: На русском, на эрзе или?..

Б: Нет, простите, паспорт у меня еще был тогда...

Д: На казахском? (*Усмехается.*)

Б: На казахском языке, да-да. На казахском языке был паспорт.

Д: Ну и здесь Вы не могли, так сказать, включаться в научную жизнь, поскольку Вы были таким...

Б: Ну да, я жил так это...

Д: Ну, а Вы работали в то время так, серьезно — свое?

Б: Ну да, я писал, работал много, читал.

Д: Что ж Вы тогда писали? Вот когда Вы «Рабле» начали делать?

Б: «Рабле» начал я еще в Кустанае. В Кустанае, а потом продолжал...

Д: Ведь тогда ж книг не было!

Б: Да, вот я сейчас об этом расскажу. В Ленинграде у меня был друг, очень близкий мне, единственный из моих старых друзей, который до сих пор жив. Он даже на год старше меня. Он жив и работает. Это профессор Канаев Иван Иванович.

Д: Канаев? Никогда не слышал.

Б: У него много работ. Он биолог. Был генетиком, вот, поэтому так это...

Д: Пострадал при Лысенке...

Б: Ну конечно. Про него говорили — «окопавшийся морганист» (*усмехаясь*), «окопавшийся морганист Канаев».

Д: И он Вам книжки доставал?

Б: Дело в том, что у него был... директор Библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (бывшая Государственная библиотека) был его родственник близкий. И вообще у него родство было в этом мире довольно большое.

Д: И он Вам доставал книжки?

Б: Он мне доставал любые книги. Из любого фонда.

Д: И попадали они к Вам в Саранск?

Б: И попадали они ко мне в Саранск, а потом...

Д: Этот факт радостный. Люди везде есть!

Б: Да. Притом так: был ящик, ящик, на одной стороне крышки был написан мой адрес, а на другой — адрес Канаева. И вот я переворачивал только крышку. Значит, он мне пришлет — я крышку снимал, пользовался книгами, а потом отправлял их назад, перевернув крышку [30]. Вот. Все.

Д: И он уже там сдавал и получал? Брал на свое имя?

Б: Он там сдавал, получал... На свое имя брал, конечно.

Д: Ведь Вам же такая редкая литература была нужна для...

Б: Очень редкая была. Но дело в том, что даже рукописи он мне мог присылать. Ну, одним словом, у него была там своя самая сильная рука в библиотеке. Вот поэтому он мог мне...

Д: Так что вот эта Ваша замечательная книжка о Рабле начала писаться еще в Кустанае?

Б: Да. Но основная работа, конечно, произошла уже позже. Значит, в Москве я жил же непрописанный и так далее, а потом я переехал из Москвы и Ленинграда на более постоянное место жительства — это в Савелово.

Д: Вам разрешили?

Б: В Савелово, под Москвой. Я уж никакого разрешения в то время не спрашивал. Вот. Ну, я был «в минусе», но Савелово — это же просто... районный центр.

Д: Ну да, это уже больше ста километров от Москвы...

Б: Больше, сто тридцать километров.

Д: Да, и не областной центр.

Б: Да, и поэтому — да, там прописывали, прописывали всех [31].

Д: Конечный пункт Савеловской железной дороги.

Б: Да, вот-вот-вот. И это самое ближайшее место на Волге от Москвы. Там Волга была. Ну и вот. А ссыльных там было очень мало, очень мало было ссыльных. Я, собственно, там почти никого и не знал из ссыльных.

Д: Значит, Вы, собственно, были уже не ссыльный, а высланный.

Б: Высланный, да-да. «Минусник», как тогда говорили, «минусник» был, высланный. Да. Нужно сказать так: в это же время там жил... Господи Боже мой... поэт... поэт... поэт... поэт... но оттуда он еще уехал благополучно...

Ну, одним словом, сегодня что-то мне совсем плохо... Совсем плохо у меня... Память, вообще все, и

язык заплетается... Вот не знаю, почему это: погода, что ли...

Мандельштам! Да, да.

Д: Ах Мандельштам! Ах в Савелове, ну, правда...

Б: Да, он там жил, недолго, правда.

Д: А Вы не познакомились с ним? И с Надеждой Яковлевной, и...

Б: Нет. Я узнал о том, что он там жил, уж после того, как он уехал. Так что я не познакомился.

Д: Вот его и дернуло приехать в Москву, потом его...

Б: Да-а. Вот-вот. Сначала он, кажется, в Александров приехал — это еще за пределами черты... Да, а потом он, да, в Москву...

Д: Так. А когда же Вы... Вы легализовались окончательно только после смерти Сталина?

Б: После смерти Сталина, да.

Д: Из Савелова Вы приехали в Москву?

Б: Да, живя в Савелове, сто тридцать километров, я очень часто приезжал в Москву и живал там, и живал очень часто.

Д: А когда Вы ноги-то лишились?

Б: Ноги я лишился... да, в Савелове еще.

Д: Вам там и операцию делали?

Б: Там и операцию делали [32].

Д: Ой как страшно.

Б: Да.

Д: Вам предложили, чтобы спасти вторую, да?

Б: Да. Вот там сделали. Нужно сказать, там хирург был великолепный, великолепный был хирург. Пожилой, уже, собственно, почти старый...

Д: А Вы не хлопотали о снятии «минуса»? Или...

Б: Нет, не хлопотал нисколько. Это было в то время абсолютно бесполезно. Вообще я враг вот этой всякой...

Д: Активности...

Б: ...активности — и переписки, бумажной активности. Да и реабилитации я не получал. Я не подавал на реабилитацию.

Д: Да что Вы?!

Б: С какой стати? Я считал, что вообще я, собственно, под судом и следствием и не был, потому что нельзя было назвать ни следствием, ни судом то, что проделывали тогда. Вот. Все ж было так...

Д: Нет, ну все-таки Вам надо было добиться отмены решения...

Б: Не-ет, ну зачем мне это было — добиваться? Зачем я буду добиваться? Почти все, которые были арестованы вот вместе со мной, по моему делу, — все они были реабилитированы, а я не подавал [33]. Мне это и не нужно совершенно. Абсолютно. Для чего это?

Д: И вернулись Вы из Савелова?..

Б: Из Савелова я вернулся в Саранск.

Д: Опять в Саранск?

Б: Опять в Саранск! Вот.

Д: И уже туда к Вам паломники начали ездить?

Б: И туда уже начали...

Д: Вот Вадим Кожинов мне рассказывал, что он ездил.

Б: Да, он ездил, он несколько раз был у меня. Потом... этот... Владимир Николаевич Турбин очень часто приезжал ко мне.

Д: Знаю.

Б: С Лялечкой [34]. Он привозил Лялечку с собой. Она была в то время его аспиранткой. Да.

Д: А что это за Лялечка? Это вот которая теперь за Вами...?

Б: Вот-вот-вот, она самая...

Д: Должен сказать, что к Турбину я отношусь несколько иронически.

Б: Да... Почему?

Д: Да какой-то непредстави... И книжка его «Товарищ время и товарищ искусство»... [35]

Б: Да... Но эта книжка очень старая, давно изданная, когда он был еще очень молод, когда он увлекался техницизмом и так далее.

Д: И просто из общения и разговоров он как-то производил... Нет, более поздних вещей я просто не знаю, так что, может, это и несправедливо. Я не настаиваю, но у меня было впечатление, что он какой-то очень верхоглядствующий и претенциозный был молодой человек.

Б: Да, был, но сейчас это не так. Сейчас это не так. Нужно сказать, его книга «Товарищ время и товарищ искусство» — ведь все-таки она была для своего времени...

Д: Ну, она была живой.

Б: Свежей, оригинальной, живой, написанной прекрасным языком, стилем.

Д: Но это все-таки трепотня.

Б: Да, но ведь он же в этой книге, в предисловии, называет себя не ученым, не исследователем, а журналистом. Это книга журналистского типа. Ну вот. Да, но в то же время он ученый человек. Он преподает уже лет пятнадцать.

Д: Я знаю. Я его еще аспирантом помню.

Б: Ну вот. Его знаменитый лермонтовский кружок существовал в течение всего времени, очень долго. У него уже из его кружка, члены его кружка, они время от времени собираются, среди них есть уже и кандидаты наук, и доценты и так далее.

Д: Ну, может. Я отстал потом. Очень он был такой... С одной стороны, вроде как фрондирующий, с другой стороны — очень... так, в поведении своем, очень... ортодоксальный. Понимаете... Он из очень интеллигентной семьи. Я мамашу его даже немножко знаю. Она на Девичьем Поле у нас группу ребятишек пасла с французским языком.

Б: А-га... Нет, он из интеллигентной семьи. Отец его был инженер. Более того, вот... он считает, что Турбин — фамилия эта взята от его отца... Булгаковым, что действительно отец его в то время был в Киеве, командовал каким-то инженерным отрядом большим... И вот с ним случились истории, очень похожие на те, которые изображал Булгаков, Булгаков это от него знал.

Д: Так. Значит, Ваше жизнеописание, так сказать, в общем, подошло к концу.

Б: К концу, да.

Д: После этого Вы приехали... Ну, вот пожили в...

Б: ...в Саранске, вернулся...

Д: А зачем Вы туда вернулись?

Б: А куда мне было еще ехать? Некуда!

Д: И там Вы жили?

Б: Да, до Хрущева. Это было еще при Сталине.

Д: После войны?

Б: Да, после войны.

Д: В 48 — 53-м?

Б: Да. Все это было еще в ту эпоху. Ехать в Москву и в Ленинград нечего было и думать. Я туда ездил постоянно, но жить там, прописываться там я не

мог. Вот я пошел тогда... в Министерство просвещения, как оно называлось тогда...

Д: Вузов?

Б: Да. Чтобы получить какое-нибудь назначение опять в какой-нибудь провинциальный вуз. И там как раз я нашел заведующего отделом пединститутов, моего... декана по Саранску, бывшего декана. Он меня увидел: «Возвращайтесь в Саранск. Я Вас сейчас же туда направлю, напишу директору. Вам будет обеспечено все, что нужно. Поезжайте лучше всего в Саранск». Ну, я и поехал туда [36].

Д: И еще несколько лет там пробыли?

Б: И там пробыл... да, много я там пробыл, довольно много... Пробыл я... почти вот до того, как я сюда переселился.

Д: Но Вы еще... Ну да, одно лето в Переделкино, и в Дом инвалидов Вас селили с женой...

Б: Да-да-да, было одно время в Доме инвалидов, да [37]. Да, до этого... Да...

Д: И только вот уже к семидесятипятилетию Вы получили московскую квартиру?

Б: Нет. Я московскую прописку получил только вот в конце прошлого года, вернее, даже в этом году. А так нет. Тогда в больнице не прописывали, в этом Доме тоже не прописывали. Так там... о прописке вообще не ставили вопрос.

Д: Ну, я думаю, что Вы слишком уж пассивно себя держали. Вам, конечно, надо было реабилитироваться в 57-м году...

Б: Ну для чего это...

Д: ...и дали бы Вам квартирку...

Б: Да... Да нет... да... Не знаю...

Д: Тут уж все-таки другое время.

Б: Да, но там, в Саранске, мне было хорошо — так, в материальном отношении. Квартира у меня там была хорошая. Мне дали квартиру, отдельная у нас была. Мы вдвоем жили с женой, больше никого не было. Вот. Нам дали отдельную квартиру, две комнаты [38]. Квартира была больше, чем эта: комнаты были больше, потолки были высокие, одним словом, такой был дом еще, знаете, постройки более старой, очень хороший дом, в самом центре. Против нас находилось все правительство: Дом правительства и... Саранского обкома. Теперь — в университете тоже ко мне от-

ношение было... Правда, так сказать, менялись директора — менялось и отношение, но потом опять восстанавливалось. Знаете, в общем, ничего. Ничего. Чтоб меня там травили — этого я сказать не могу. Не могу.

Д: Никто Вас там не обижал?

Б: Не обижал, нет, не обижал.

Д: А «Достоевского» Вы написали ведь в первый раз перед арестом?

Б: Еще перед арестом, да.

Д: В 28-м году?

Б: Да.

Д: Так что Вы уехали уже человеком с именем. Эта книжка, вообще говоря, была замечена.

Б: Замечена была книжка, да, замечена.

Д: О ней писали. А второе издание делали, сидя в Саранске?

Б: Второе издание я делал, сидя в Саранске, да-да. Ко мне туда приезжали Кожинов, редактором моим был... Сергей Георгиевич Бочаров. Вот.

Д: А! Сережа Бочаров!

Б: Тоже... друг, и он тоже приезжал ко мне в Саранск.

Д: Вот это хороший парень...

Б: Очень хороший. Замечательный.

Д: А Вадим Кожинов — это мой ученик, и близкий ученик, но я должен все-таки сказать — Васька Буслаев: «Размахнись, плечо!» Опираться на него трудно. Он, правда... должен сказать, что я от него услышал... Я не знал, где Вы, что Вы... и какой Вы... Он очень способный человек.

Б: Он очень способный человек.

Д: Очень способный... но довольно беспринципный. К сожалению. Вот не знаю... Он очень всегда подчеркивал, что он мой ученик и так далее, а потом фьють — и исчез. Как-то стало немножечко неприятно...

Б: Ах, Вы думаете, что в связи вот с этой Вашей историей?

Д: Да! [39]

Б: Нет, что Вы! Вы не знаете Кожинова! Для него этого не существует совершенно. Он человек абсолютно бесстрашный. Нет-нет, что Вы! А его отношение ко мне? Я был тогда еще, собственно, «минус-

ник», никому не известен. Книжку эту забыли — «Достоевского»... Он все это сделал. Ведь если бы не он...

Д: Он продвинул Вам книжку?

Б: Только! Только! Только. Я и не собирался.

Д: Да что Вы!

Б: Да, и не собирался. И «Рабле» у меня лежал в столе готовый, но я и не думал его публиковать и считал, что это невозможно и так далее. А вот он явился — и все сделал.

Д: И прошибал все?

Б: Прошибал все это! Прошибал, и гениально прошибал.

Д: Ну, это, конечно... Вадиму, конечно, большая честь, если так это.

Б: Да. И вообще, я-то его знаю хорошо уже, и достаточно хорошо, — нет, это бесстрашный человек. Нет-нет, что Вы! Это даже и речи об этом быть не может, что он испугался Вашей репутации. Да нисколько! Он все время связан с людьми с очень такой репутацией неофициальной (*усмехается*) и так далее.

Д: Выступает он иногда очень...

Б: Выступает он — да-а, он...

Д: Сейчас он, так сказать, один из лидеров так называемых почвенников.

Б: Почвенников, да-да, почвенников, да, или неославянофилов.

Д: Да, загибает тут... и антисемитские...

Б: Да, но видите... Он человек... да... нет-нет, он не антисемит, не антисемит. Это так у него, недоразумение. А видите ли, в чем дело... Он человек очень деятельный. Его не удовлетворяет писание только. Ему хочется действовать, играть какую-то роль в жизни. Не карьеру делать, нет, он не карьерист совсем! Он — ему деятельность, деятельность ему нужна.

Д: Мне очень приятно слышать хорошее о людях, с которыми я был связан и в которых я усомнился.

Б: Да нет, напрасно. Во всяком случае, вот то, что вы говорите, — это исключено совершенно. Это никакого влияния на него оказать не могло. Скорее наоборот, скорее наоборот.

Д: Ну, может, ему просто неинтересно стало.

Б: Он почувствовал бы еще большую симпатию и так далее. Если бы можно было бы, то, вероятно, ока-

зал бы Вам всякую возможную помощь. Да... Нет-нет. Не такой просто...

Д: Тут у меня в это время очень по-разному люди проявлялись, и я был, конечно, естественно, в этом смысле настороже.

Б: Нет!

Д: Ну, дай Бог. Видите, у нас с Вами сколько переплетений. Кстати сказать, фамилия Ваша распространенная?

Б: Нет, очень нераспространенная.

Д: Однофамильцев у Вас много, нет?

Б: По-моему, нет. Я знал только...

Д: Дело в том, что у меня среди свояков, так сказать, моей жены Бахтины есть. Моя жена — Веселовская [40].

Б: Да, Вы мне говорили, да.

Д: Я заинтересовался этим вопросом о родстве (*усмехаясь*) в связи с тем, что Вы говорили вначале, что Ваш род — это род древний...

Б: Древний, да.

Д: ...и что у Вас есть, значит, какие-то разветвленные сведения о Вашей генеалогии.

Б: Есть. То есть у меня самого нету, потому что я этим не интересовался, а брат интересовался. Знал генеалогию...

Д: И у Вас дворянский род?

Б: Дворянский род, конечно.

Д: Орловский?

Б: Орловский, да. Ну, вот этот род имел ветвь московскую. В этой ветви был известный так довольно... литератор-то был мелкий, но большой чиновник (он был одно время статс-секретарем при Александре II) — Бахтин. Вот. Он довольно часто встречается, вот этот московский род, встречается и в биографии Пушкина, и в биографии Лермонтова и так далее — Бахтины. Девушки они были, знакомы с Лермонтовым, и даже чуть ли не ухаживал за одной из них, Лермонтов. Но это, так сказать, ветвь была. Так что это того же рода, но не родственники. (*Усмехается.*) Вот. А родственники — они все орловские, где-то преимущественно все военные, генералы. Как и вот один из, так сказать, наиболее крупных — это основатель одного из первых в России кадетских корпусов...

Д: О котором Вы рассказывали?

Б: Да, вот-вот, в Орле.

Д: Это Ваш дед?

Б: Это мой прадед, да...

Д: Интересно. Ну вот, сейчас мы сделаем перерывчик, надо Вам пообедать, потом мы будем говорить о Юдиной.

Да, я хотел Вас, между прочим, спросить... Вот меня просто очень заинтересовало... Я, может быть, действительно тут ошибаюсь. Несть пророка в своем отечестве. Вы что читали Юлиана Сергеевича? Этого моего кузена [41]. Вы сами читали или он Вам только вслух читал?

Б: И сам читал, и его слушал. И давно читал. Небольшие вот эти...

Д: Вот эти маленькие рассказики?

Б: Да-да. Вот вроде той мухи, о которой Вы знаете.

Д: Да. И Вы давно за этим следите?

Б: Давно, давно. Через Марию Вениаминовну познакомились, это было давным-давно.

Д: И Вы считаете, так сказать, что это значительно?

Б: Я считаю, что это, во всяком случае, очень интересно, очень тонко, и, в конце концов, считаю, что это и значительно. Это и значительно. Но этот стиль, этот характер в литературе, он у нас — его не знают. Не признают и так далее, и не понимают. Вот возьмите вы восточную литературу, например японскую...

Д: Там это есть.

Б: Есть. Там только один образ дается, самый маленький, деталь, деталь, и мельчайшая деталь — но тонкая. Вот. А у нас этого нет, а у него вот это есть.

Д: Дело в том, что я Вам прямо скажу, что... он чувствует себя гением, открывшим эру, и на меня обижается, что я этого, так сказать, не признаю. Не то что не признаю... Ну, походя он скажет: «Ну что ж, Баратынского тоже не слушали... вот... потом...» То есть он себя ощущает как новатора-открывателя.

Б: Да. В какой-то мере он прав. Видите ли, относительно гения... Тут это вообще же... это слово... Я считаю, что вообще говорить о гении можно только лет через сто после его смерти — ну, через пятьдесят лет по меньшей мере после его смерти. Пока время его, так сказать, проверит и отберет. Вот. Но что он, безусловно, новатор и что, безусловно, в литературе

это, конечно, линия определенная, которую он открывает своими работами, своими рассказами... И что очень жаль, что сейчас это не прививается, нет.

Д: Но почему не...

Б: Уж слишком это все не... несозвучно, вот.

Д: Видите, политического там ничего нет, а так... Ну почему? Ну, была Елена Гуро, такие импрессионистические штучки писала. Был Пришвин.

Б: М-м-м... Это другое все...

Д: В чем тут его специфика?

Б: Это другое.

Д: То, что Вы говорите, — с этим, собственно, спорить нечего. Да, конечно, это очень тонко, эта отдельная деталька... и поросеночек у него есть там...

Б: Да, есть. Больной поросеночек.

Д: Да, больной поросеночек. Это вот запоминается, все очень хорошо... Какая-нибудь вожатая, по прозванию Картошка, которая ведет трамвай... эпизод — это все хорошо. Но мне кажется, что когда читаешь произведение подлинно значительное, то, сколько бы раз ты к нему ни возвращался, ты в нем что-то новое находишь. А вот тут Ваше сравнение с какой-то вещичкой... Ну вот ведь Чехов говорил: можно писать обо всем, «хоть чернильницу напишу».

Б: Вот-вот-вот, он и писал...

Д: Вот он чернильницу, вот ручка, вот и все. В принципе что можно об этом обо всем... но это уже все-таки не им открыто; а то, что в этой чернильнице или ручке увидеть, так сказать, ну, грубо говоря, звездные миры... я не чувствую этого. Я очень много вначале его слушал, а потом мне стало скучно, тем более что он очень любит именно читать. Я послушал... Вот то, что Вы рассказывали о Рождественском: прочитал — да, интересно, потом возьмешь — ну дай, думаю, сам посмотрю, посмотришь — и становится менее интересно. Это, конечно, зависит и от степени восприимчивости... читающего, может быть, дело во мне, я ни на чем не настаиваю, но ведь... Я уверен в большом искусстве там, где я могу возвращаться...

Б: По многу раз.

Д: ...по многу раз, и каждый раз что-то открыть. Помните, мы с Вами по-разному это восприняли, но... для меня в Маяковском именно так. И в Пушкине так. И в Достоевском так... бывает... Хотя надо ска-

зать, что я его мало перечитывал. Вот сейчас в связи с Вашими книгами я принялся еще раз читать Достоевского. Некоторые вещи я совсем не читал. Я хочу от корки до корки... И с первого тома...

Вот... А... исполнение... Причем он придает очень большое значение вот этой своей исполнительской функции, то есть он это рассматривает как стихотворения в прозе.

Б: Ну, отчасти этот можно термин применить.

Д: Но мне кажется, что это неверно. Я лично вообще считаю, что стихи в прозе — это абсурд. Стихи... потому и стихи, что они стихи...

Б: Ну да.

Д: И что у них есть своя, ничем не заменимая специфика. Я вот, кстати, и «Стихотворения в прозе» Тургенева не люблю. В конце концов, маленькая какая-нибудь там [неразборч.] Тургенева — это ж тоже принято было... Так что сам по себе, после этих «Стихотворений в прозе» Тургенева, после Чехова, после Гуро, ну, в какой-то стороне, чисто формальной, — Розанов. Хотя я совершенно согласен, что Розанов — это совсем другая тональность.

Б: Совершенно другая тональность.

Д: Это парадоксалист...

Б: Да, и там не столько вещь, сколько совершенно специфическая мысль, специфическое переживание и так далее, а здесь у него — нет, другое: вещи, вещи. Вещи, явления природы.

Д: А тут вещи, понимаете ли... То есть что здесь все-таки: вещь или — если это стихотворение в прозе — так сказать, лирический герой? Если лирический герой, то я не чувствую...

Б: Это не лирический герой. Это не лирический герой вовсе. Это вещь, вещь, явление, феномен. Но только вещь, которая в литературе обычно изображается только как деталь, не имеющая самостоятельного значения, получающая его только от целого, от сюжета, в сюжете, для проблемы нужна она и так далее, для характера она нужна, вот. Это, одним словом, не самостоятельное нечто, а именно деталь, часть целого.

Д: Ну, а имеет она право на такое самостоятельное?..

Б: Имеет, имеет. Имеет полное право.

Д: А он ведь недаром стремится циклизовать свои вещи.

Б: Это другое дело. Циклы можно создать, но вообще каждая вещь сама себе довлеет — она сама по себе ценна.

Д: Но вот какие-нибудь записные книжки Чехова тоже можно ведь читать как литературу.

Б: Ну да, но это другое дело, это другое. Все-таки Чехов, для Чехова это все заготовки к будущим произведениям, чеховским произведениям, это заготовки все.

Д: Он, конечно, очень способный. Отец его тоже писал.

Б: Тоже писал?

Д: Тоже писал. Писал неплохие рассказики, был очень талантливым педагогом, очень талантливым педагогом и в этом себя и проявил. Ну, такого демократического, немножко даже нигилистического склада, и биолог. И сам Юлиан учился биологии, наблюдательности. Это, собственно, попутала его здесь Лидия Евлампиевна [42]: наставляла, подвинула на эту стезю писательскую. И так как он ей целиком отдаться не мог, то вот за сорок лет жизни... Вот он сейчас перескочил на... вот это писание о... Дионисии. Потом читал тут несколько раз. Он считает, что с успехом. Успеха, в сущности, настоящего не было, я спрашивал там. Ну, молчали: «Ну что там...» — но не обижали, то есть ощущали это как некое — может быть, и несправедливо, — некоторое дилетантство. Ну, наблюдательность, так сказать, там...

Б: Я думаю все-таки, что именно как дилетантство это воспринимали дилетанты. А по-моему, настоящий искусствовед все-таки оценит... это.

Д: Я не берусь, это я просто...

Б: Я тоже, конечно, не специалист по вот этой живописи: по фрескам, по иконам и так далее. Это другое дело. Но тем не менее я все-таки чувствую, что метод своеобразный у него, очень интересный и достигает своей цели. И вот мне все-таки кажется, что в конце концов он пробьет дорогу. Может быть, не при жизни, но, во всяком случае, потом. Так или иначе, он... им будут интересоваться.

Д: Дай Бог... Понимаете, ведь это мой брат, пусть двоюродный — у меня родного нет. И собственно, более близкого нет вообще.

У меня и брат всю жизнь писал стихи, но писал их явно в... таком эпигонски акмеистическом духе. «Но ты же не можешь... — я говорю, — ты же не пишешь стихи...» Я считаю, что человек, который понял, что ему писать стихи не нужно, лучше, чтобы этого не делал. Это было все практически, конечно, дилетанство... Он был математиком. Юлиан, конечно, талантливей его...

Б: Он талантлив, да.

Д: ...тоньше...

Б: Тоньше, конечно...

Д: Тоньше. <...> Но у него... тон общения бывает иногда совершенно невозможным...

Б: То есть?

Д: Ну, в смысле вот такого ощущения... просто, я бы сказал, мании величия. Совершенно... странно.

Б: Но... да... мания величия ведь... это вообще свойство некоторое эпохи. Вообще... как говорит вот этот самый следователь в «Преступлении и наказании»: «Ну кто ж в наше время не считает себя Наполеоном?!» Бывают эпохи, когда все считают себя... Вот тогда — Наполеоном. Вот когда начинался, возник декаданс, футуризм... все тоже считали себя гениями.

Тогда считалось, что даже и нельзя иначе. Как Брюсов назвал свой сборничек, довольно жалкий, — «Шедевры». И когда ему сказали: «Ну как же так? Нескромно называть...» — «Раз я это издаю, раз я печатаю, значит, я считаю это хорошим. Это же люди лгут, когда они говорят, что слабое произведение». Нет. Раз печатают, пишет и печатают, значит, он верит в то, что это гениально. Так он отвечал, когда назвал «Шедевры». Потом, конечно, он уже стал более зрелым, он уже, конечно, иначе говорил и вел, но вот... там все гении собирались, в этих самых кружках их, все были гении. И среди футуристов...

Д: Ну конечно... «Я гений, Игорь Северянин...»

Б: Ну вот, да!

Д: Но там это было все-таки в значительной степени игрово и эпатирующе. Так, в быту, Юлиан-то как будто очень скромный человек... он очень серьезно занимался биологией, такой узкой систематикой, по

каким-то клещам и так далее, — так ему дико не повезло. Его руководитель — он, собственно, был школьный учитель, который уже выбивался в вузовские, молодой человек, — утонул. Он остался в самый такой нужный момент, в девятнадцать лет, без всякой поддержки. Потом и отец у него уже умер... Он ходил в университет, не будучи принятым... ему, конечно, надо было учиться в университете...

Б: Ну конечно, да.

Д: А... университет, значит, он... он перестал добиваться и поступил в зоотехнический институт. А когда зоотехнический институт стали расформировывать на два, он попал в ветеринарный, чисто, собственно говоря, случайно. Ну, стал профессиональным, и очень, кажется, даже уважаемым ветеринарным врачом.

Б: Ему сколько сейчас лет?

Д: Он на два года меня моложе. Мне вот шестьдесят четыре стукнуло...

Б: А ему шестьдесят два.

Д: А ему шестьдесят два, да. Шестьдесят два. Мы очень друг к другу хорошо относимся, но только мне прямо бывает иногда страшновато.

Б: Нет, нет-нет, он, конечно, не графоман никакой... Я уверен, что он не графоман... Что это имеет смысл.

Д: Он имеет право на это?

Б: Имеет право, да, безусловно.

Д: Ну, это одно. Право имеет... писать, в конце концов, каждый, если у него есть хоть что-нибудь. Всякий грамотный человек... Я когда кончу записывать всех, стану немножко записывать себя. Пока я этого не делал. Мне есть что рассказать.

Я в его талантливости не сомневаюсь. Вы понимаете, если бы человеку было двадцать пять лет — и спросить, талантлив он или не талантлив: «Да, конечно, талантлив!»

Б: В двадцать пять лет талантливым быть легко.

Д: Да. Но когда человеку шестьдесят два года и сказать: «Талантлив, пиши!», то ведь это же — только убить. Это ж нельзя... Так сказать — сделал я что-то, оставил в мире? Итоги надо подводить. Понимаете? Вот Вы все-таки, я так Вас понимаю, голосуете за то, что итог у него...

Б: Будет. Я считаю так. Видите, тут, конечно, много таких привходящих обстоятельств. Может быть, итог этот будет очень поздно, много спустя после его смерти, может быть и так.

Д: Мне кажется, что если б сейчас вот он... Я думаю, что если он сейчас опубликует вещи... Я думаю, что опубликовать их ему в принципе, может, и можно...

Б: Да, конечно.

Д: ...но никто на это особенно не обратит внимания.

Б: Да. Да. Вполне понятно. У нас сейчас нет глаза и нет уха для этого всего. Вот.

Д: Ну, сейчас их уже много, попыток таких в этом направлении. Маленькие рассказики... том Литературной энциклопедии...

Б: Да, но это не рассказ только — это нечто другое. Да...

Д: Вот этот самый жанр миниатюр.

Б: Да. У него нет остроты. Это как раз, по-моему, неплохо. Но эта острота — она, конечно, раскрыла бы ему скорей двери для печатания и так далее.

Д: Ну простите, это уже за пределами нашей служебной, так сказать, встречи, но... для меня это очень волнительный разговор.

Б: Ну да, я понимаю.

Д: В данном случае я просто говорю о близком мне человеке, дорогом... Может быть, я действительно несправедлив...

ШЕСТАЯ БЕСЕДА — 23 МАРТА 1973 ГОДА

Д: Ну, давайте, Михаил Михайлович, приступим наконец к нашей финальной теме — Мария Вениаминовна Юдина.

Б: Да. Так вот, я познакомился с Марией Вениаминовной Юдиной, когда приехал в Невель к своему другу Льву Васильевичу Пумпянскому [1]. Лев Васильевич Пумпянский в Невеле жил уже два года, потому что он там отбывал воинскую повинность, то есть не отбывал воинскую повинность, а там стоял его полк [2]. И в то время, когда я к нему приехал, он уже был демобилизован. И вот. Он очень хорошо знал все местное невельское общество, в том числе знал семью доктора Юдина [3]. Это был самый такой уважаемый врач в Невеле — доктор Юдин. Более того, когда были выборы в Учредительное собрание, то он был выставлен в качестве одного из кандидатов.

Д: От какой партии?

Б: А вот тут как раз такая история с ним произошла... Он был всю жизнь кадетом. И вообще, конечно, так сказать, по своему стилю, по своему характеру, — солидный врач — кадетская партия. Но так как он рассчитал, что кадеты не пройдут, а пройдут более левые, то он вдруг стал ни с того ни с сего меньшевиком.

Д: Меньшевиком?

Б: Да. Буквально почти накануне выборов... И значит, его поставили по списку меньшевиков.

Д: И что же, выбрали?

Б: Нет, не выбрали. Не прошел и меньшевик. Ведь это же было по Витебской губернии. Там он не прошел. Их же много там было, список-то прошел, но, очевидно, до него-то не дошла очередь. И вообще, насколько я сейчас помню, там, в Витебске, меньшевики не имели большого успеха. Эсеры.

Д: Да вообще, конечно, лучше ему из кадетов в эсеры надо было подаваться! (*Смеется.*)

Б: Да, а вот он почему-то к меньшевикам примкнул. Ну вот... И вот одна из его дочерей... У него была семья большая.

Д: Большая?

Б: Да. У него было два сына, один из них недавно умер, был тоже очень видный врач, и... Нет, три сына, простите... (*Задумывается.*) Нет, два сына, два сына [4], и потом несколько дочерей. Их было много. Я знал только... Ну, я, собственно, почти всех, вероятно, знал, но уже забыл. Но так близко знал только Марию Вениаминовну Юдину и ее сестру [5].

Д: Отец был Вениамин?..

Б: Вениамин Гаврилович, по-моему, да. Вот. Я потом брата его узнал, адвоката витебского, Якова Гавриловича, — очень почтенный тоже был человек [6].

Д: Это была полностью, с обеих сторон, еврейская семья?

Б: Еврейская семья полностью. И мать была еврейка. Но она умерла. К тому времени, как я приехал, она недавно, кажется за год до этого, умерла [7]. Так что я знал только отца, братьев, сестер Марии Вениаминовны. А потом дядю ее узнал, уже потом, в Витебске.

Д: Они что же были — зажиточные люди, в общем?

Б: Они были зажиточные люди, но они не были богачами, потому что они не были ни торговцами, ни промышленниками. Он был врач, который очень хорошо зарабатывал, вот, а брат его — Яков Гаврилович Юдин — был адвокат, очень видный адвокат и тоже очень хорошо зарабатывал. Вот так. Ну, может быть, у них, как у очень многих евреев, маленький капитал и был, но в то время это уже не имело никакого значения: капитала, собственно, не было. У него был собственный дом. В центре города, с садом, прекрасный дом, где он жил со своей семьей. Большой дом был. Вот. Лев Васильевич с ним был, значит, давно знаком и давно знаком с его дочерью, младшей дочерью. Это — Мария Вениаминовна. Ей было тогда лет шестнадцать, когда я приехал [8].

Д: Это, значит, в 19-м году?

Б: Нет, в 18-м году это было.

Д: И ей было лет шестнадцать?

Б: Ей было лет шестнадцать, да. Ну, точно я не знаю... Она когда родилась?

Д: Я-то не помню год ее рождения, но мне казалось, что она раньше 900-го года родилась.

Б: Она была, по-моему, на четыре года моложе меня.

Д: А Вы какого года? Забыл.

Б: 95-го.

Д: 95-го! Ну тогда как же шестнадцать? Если 95-го, то, значит, она 99-го. И мне так помнится. А если 99-го, то в 18-м году ей было уже никак не меньше чем девятнадцать.

Б: Да нет, нет! Нет-нет. Ей было меньше. Ну, может, семнадцать лет, ну, может быть, максимум восемнадцать, ну, я точно не знаю года ее рождения, точно не знаю. Ну насколько — на четыре года я был ее старше, ну, может, на пять лет, но не меньше, во всяком случае, чем на четыре года. Она была еще, собственно, девушка такая, ну, не вполне зрелая, когда я с ней познакомился.

Я там читал небольшой курс лекций по философии. Местная интеллигенция проявляла большой интерес ко всему вообще, и особенно к философии. И вот, значит, небольшой курс я и читал по философии. И в числе моих слушателей была Мария Вениаминовна. Я на нее сразу обратил внимание: девушка, молодая очень, полная, правда, полная, большая, она была в совершенно черном платье. Вообще, вид у нее был тогда совершенно такой... монашеский, правда, контрастирующий с ее молодым лицом, молодыми глазами и так далее. Вот... Но она одевалась как монахиня почти что, то есть, конечно, не как монахиня, но под монахиню.

Д: А она что, уже тогда крестилась?

Б: Она уже тогда, по-моему, крестилась.

Д: Это не при Вас было?

Б: Не тогда, а до этого. Нет, это было не при мне. Она крестилась раньше [9].

Д: Значит, она выросла в еврейской семье и сама крестилась, так сказать, в раннем юношеском возрасте?

Б: Да, в раннем возрасте она крестилась.

Д: Индивидуально? Семья некрещеная?

Б: Индивидуально. Нет, семья не крестилась. Отец... это был, ну, врач... немножко у него было мировоззрение такое — чуть циническое... Он был очень умный человек, кстати сказать. Очень умный человек. Сильный человек. Незаурядный был человек. Но мировоззрение у него было несколько даже циническое. Ему было решительно все равно, приняла ли его дочь христианство, или магометанство, или все, что угодно, — одинаково было все. Ну вот. Она была на всех моих лекциях и прочее и прочее, внимательно следила...

Д: А Вы читали историю философии?

Б: Я читал введение в философию. Ну, так сказать, это была история, но больше не в порядке хронологическом, а в порядке проблемном, как обычно строится...

Д: Понятно.

Б: Да. Введение в философию. Ну, а уже внутри проблем — исторический порядок.

Д: Ну вот проблема познания...

Б: Вот, да-да.

Д: ...в античности и у... классиков...

Б: Вот так. Ну, главное внимание я в своих лекциях обращал на Канта и кантианство. Я это считал центральным в философии. Неокантианство. Да, неокантианство — это прежде всего, конечно, Герман Коген... Риккерт... Наторп, Кассирер.

Д: Риккерт и Кассирер — это я через Белого немножко помню, знаю.

Б: Ну, Вы знали, конечно. Помните знаменитый трехтомник Кассирера «Philosophie der symbolischen Formen» — это замечательная книга, до сих пор не устаревшая, до сих пор ее у нас цитируют [10]. Ну вот, это, так сказать, было главной такой темой моего философского курса.

Теперь: Мария Вениаминовна, когда я с ней познакомился, находилась под большим влиянием Льва Васильевича Пумпянского. Возможно, что и крещение ее произошло под влиянием Пумпянского [11]. Пумпянский тоже из еврейской семьи. Он был полукровка. Отец был еврей, а мать была чистокровная француженка [12], и поэтому он был (*усмехаясь*) наполовину еврей русский, западного края, а наполовину французом. Вот его двоюродные братья, родственники

по матери, — это были французы: один из них был французским офицером, а один из них даже — я сейчас не помню, — потом уже, был членом правительства французского. Вот. Кажется, он был так довольно правых взглядов.

Д: Но к ее семье это, собственно, не имело отношения?

Б: Не имело отношения, никакого. Ну вот, она находилась под сильным его влиянием, и философским. Он тоже философствовал. Философом он не был, но философствовал. А затем — литературное влияние [13]. Можно сказать, он был замечательный эрудит в области литературы, и в области иностранной литературы в особенности. Он знал много языков, читал необычайно быстро. Он умел большую монографию прочитать в один вечер и потом ее отреферировать/?/ с очень большою точностью и полнотой. В этом отношении у него способности были исключительные, у Льва Васильевича. Вообще, эти полукровки очень часто бывали необычайно способными. Чего в нем было больше — я не знаю: православного, русского... Он очень любил русскую культуру, православие, был православным, и ярым православным [14], но вот в то же время (*улыбается*) — католическая родня по матери. Ну вот.

И так как он был человек, конечно, очень незаурядный, то он оказал на Марию Вениаминовну подавляющее просто влияние. Она одно время — да и не только одно время, я бы сказал, это осталось, это влияние Льва Васильевича, до конца ее дней, до конца ее дней — кое-где, хотя они, так сказать, разошлись потом, и очень далеко были друг от друга, потому что Пумпянский в конце своей жизни ударился в марксизм и в коммунизм [15]. Ну, коммунистом он, конечно, не стал, да его и не приняли бы никогда в партию, но он стал заядлым марксистом и сталинистом, вот. Но Мария Вениаминовна, конечно, к этому относилась... я бы не сказал, отрицательно, нет, но, одним словом, не разделяла этого, не разделяла его взглядов.

Д: Отталкивалась.

Б: Отталкивалась, да. Ну и вот, следовательно, тогда-то вот это православие, славянофилы, которых он

знал хорошо и очень любил и так далее, — даже Хомяков, Хомяков, и не только его, конечно...

Д: Вот где точки соприкосновения с Лидией Евлампиевной-то! [16]

Б: Да, ну конечно же! Хомяков, которого он очень любил и ценил, и притом не только его богословские, философские работы, но даже его слабые стихи. Он же был поэт — Хомяков. И между прочим, как раз издали Хомякова — только его поэтические произведения, только теперь издали, недавно — в Библиотеке поэта. Да. Стихи у него слабые, но религиозные.

И вот под этим влиянием она и была. Настроение и даже мировоззрение, поскольку уже можно говорить у такого молодого человека о мировоззрении, у нее было такого вот православно-славянофильского склада.

Д: Уже тогда?

Б: Уже тогда.

Д: Она с этим и умерла, вообще-то.

Б: Она с этим и умерла. Она осталась в этом отношении верна до конца. Более того, по-видимому, в конце жизни, не знаю когда, она ведь приняла тайный постриг.

Д: Этого я не знал.

Б: Видите ли, я этого точно не знаю, мне она этого не говорила. Я этого никак точно не знаю.

Д: А есть такая форма?

Б: Есть. Есть форма.

Д: Тайный постриг?

Б: Тайный постриг, да-да. Человек остается в миру, и в то же время он постриженный. Да-да! И выполняет монашеские уставы, так сказать, конечно, соответствующим образом пересмотренные. Вот говорили.

Поразило вот что на похоронах: когда она умерла, когда она лежала в гробу, к ней приходил, к гробу, и сидел у ее изголовья очень долго какой-то епископ, один из главных церковников, что уже не может быть в отношении простого верующего. А потом тоже: на кладбище, у могилы, была панихида...

Д: Я был.

Б: Вы были? ...Панихида была, и пел, кажется, монашеский хор.

Д: Нет, это уже все преувеличено.

Б: Преувеличено?

Д: Да. Дело было так: когда, значит, сняли с... с автобуса, я пошел вместе с... Златой Константиновной Яшиной, которая с ней была в хороших отношениях... [17] Ведь автобусы внутрь к кладбищу не пускают... Значит, гроб несли на руках на довольно значительное расстояние, шагов пятьсот, не меньше...

Б: О-го!

Д: Причем как-то так эта дорожка шла вдоль... стены, снег уже был, и так очень трудно было идти...

Б: Да-да-да.

Д: ...и несли... и впереди шел лысенький такой старичок. Я потом спросил, кто это. И пел. И часть подхватывала...

Б: Подпевала.

Д: ...Подпевала. Вы говорите — монашеский хор. По-моему... Вы знаете, нет, я не смею отрицать. Я воспринял это как церковный хор той церкви Николы, вот в Кузнецах [18], из которой...

Б: Ну, может быть, это был и церковный хор.

Д: Да, в общем, это была молодежь... Это была зеленая молодежь, лохматая, ничем особенно не отличавшаяся по внешнему виду от теперешней, вообще лохматой... Хотя тогда еще было меньше. Они несли, дюжие парни, — и пели, временами останавливались, чтобы дать подтянуться...

Б: Отставшим.

Д: Оставшимся. И впереди нес крест такой — не церковный крест, а могильный крест, деревянный, — маленький лысый, немножко смешноватый старичок, который, когда хор замолкал, начинал снова. Причем это было уже в сумерках, кладбище было почти пустое. Подошли — смеркалось заметно. Стали опускать гроб в могилу. И тут произошло qui pro quo, так сказать, — оказалось, могила вырытая по длине мала. И гроб застрял. И пока возились с этим... Значит, там сначала пытались просто поднять... кончилось тем, что его вообще заело: ни туда ни сюда. В конце концов его выставили, поставили на край. Кто-то... И уже было совсем почти темно...

Спросили, у кого свечи есть. У кого были там огарки — дали. И несколько человек светило огарками...

Б: Угу, а другие подрывали.

Д: ...а двое, значит, эту могилу обтесывали, по длине, по-моему (в ширину она была достаточной). Я сто-

ял очень близко и, так сказать, с жадностью все наблюдал... свойственной моей профессии сейчас... так что это хорошо, что записывается... И... обтесали... Это продолжалось, наверное, целый час — возня...

Б: Да... Удлинять могилу — это ж, конечно, немалое дело.

Д: Да! Это не сразу стали. Сначала просто там: «Ты опусти... подыми...» — «Нет, ты опусти...» Вот... И старичок этот псаломщик... все время пел что-то. Иногда оставался один, продолжал петь один... Был там около меня, видимо, и священник, и его, кажется, хотели втянуть, но он, видимо, боялся.

Б: Да, потому что это запрещено же категорически патриархом: могила... на могиле молебен не служить, ни в коем... то есть панихиду не служить. Ни в коем случае!

Д: Так что, собственно, панихиды и не было. Я, правда, не знаю, конечно, текста православной панихиды, но, по-моему, без конца повторялись одни и те же псалмы: ну и «Святый Боже, святый крепкий...», и эти самые... «Со святыми упокой...». Так сказать, полного текста... Ну, я представляю себе все-таки немножко: моего отца хоронили... По-моему, такого связного текста панихиды не было, было просто... Можно было бы сказать так: самодеятельное церковное пение... которое возглавлялось этим псаломщиком...

Б: Псаломщиком, да.

Д: ...и пели какие-то... Даже — да, говорили, простите, — сейчас я вспомню, поправлю себя — что это не хор, что вот эти молодые люди, которые пели, — это ее студенты по какому-то из ее музыкальных училищ.

Б: Да, вероятно, из этого... Гнесина.

Д: Или гнесинские, или консерваторские — я не знаю. Вот. А вообще, гражданская панихида в вестибюле консерватории...

Б: Ну, это другое дело...

Д: ...была сама собой, до этого. Вот. Надо сказать, что эти похороны были очень впечатляющие. И... мороз был, я успел замерзнуть — такой морозный день... По-моему, это было 30 ноября или что-то в этом роде... В конце ноября 70-го года, да-да. Ну, потом еще

повезли всех желающих, так сказать, на поминки в нескольких автобусах...

Б: Народу было много?

Д: Народу было много, но на поминки все-таки приехало человек шестьдесят.

Б: О!

Д: И происходили они... в мастерской художника Ефимова, вот который зверей делал [19]. Он уже сам умер. Это, значит, организовал его сын, которого я так знал в лицо [20]. Ну, тут мы уже со Златой Константиновной разлучились. Она была очень дружна с Марией Вениаминовной. Она сама, кажется, человек не церковный, но... во всяком... Да, она, вообще, член партии, Яшина, да. Кстати, завтра вечер его памяти. Но она такая... Она дружит с моей женой и с Марией Вениаминовной, вот. Так что то, что это была панихида, — это не совсем точно.

Б: Верно, да, это. Но, может быть, Вы правы, и панихида могла быть, так сказать, как тайная (*усмехаясь*), как спектакль тайная панихида могла быть...

Д: Я не берусь, конечно, это...

Б: Я тоже этого не знаю.

Д: Может, тот, кто... участвовал в этом, это знает, конечно (*усмехаясь*), лучше. Я был в положении, так сказать, зрителя.

Б: Похоронили ее рядом с матерью ее жениха.

Д: Да. Продолжайте, простите, теперь вернемся опять в Невель. Значит, вот такая... девушка, уже тогда...

Б: Уже тогда от нее веяло монахиней. Одевалась она так, как никто. Когда я ее в первый раз увидел, меня просто поразило: что за фигура! — потому что, повторяю, здесь это был такой контраст почти нелепый: молодое лицо, здоровое, румяное (она была сильная) — и в то же время вот это черное совершенно одеяние.

Ну, а затем я познакомился с нею, конечно, ближе, и совсем, так сказать, уже стал своим человеком у них в доме. Лев Васильевич в то время вскоре уехал из Невеля. Я оставался еще, а он уехал, потому что он поступил на работу в военную разведку. Во главе ее стоял такой Херсонский...

Д: В советское время?

Б: В советское. Это советская. Но еще тогда она — продолжение той, старой... и там все офицеры были, только старые офицеры.

Д: А против кого же разведовали?

Б: Против Германии.

Д: Еще против Германии?

Б: Против Германии еще.

Д: Ну да, Псков же еще... Это было до Псковской битвы, да?

Б: До, очевидно, да, я сейчас точно не помню. Но, во всяком случае, это была советская разведка, но... Сам Херсонский — это был гусарский, кажется, чуть ли не ротмистр, вот. И остальных всех я знал. Это были все офицеры, такие блестящие офицеры, очень хорошие, прекрасные люди все это были. Разведка была чисто военная. Это была именно контрразведка военная. И Лев Васильевич там исполнял обязанности, собственно, переводчика при допросах немцев, пленных и так далее.

Д: Значит, это был какой-то остаток старой армии, еще не распавшейся до конца, не влившейся в Красную...

Б: Нет, это уже считалась Красная Армия.

Д: Тогда это было после Псковской битвы.

Б: Да, очевидно, после Псковской битвы [21].

Д: Ну, значит, уже середина 18-го года.

Б: И они очень быстро продвигались вперед, туда, на территорию, занятую раньше немцами. И вот с ними поехал и Лев Васильевич в качестве переводчика. Но особенно долго там не был.

Д: Это очень все короткий промежуток времени.

Б: Да, это все короткий очень промежуток времени. Потом я только слышал, что этот Херсонский был расстрелян, но это через несколько лет уже после всего этого. Да... По-видимому, связан он...

Д: Был крупный Херсонский коммунист, я не знаю...

Б: Нет, это не был коммунист. Это был довольно типичный такой, знаете... гусар. Мировоззрение у него было гусарское, военное. Ну вот.

Д: Ну, будем держаться ближе к Марии Вениаминовне.

Б: Ну вот, я, следовательно, познакомился с ней близко. Она очень интересовалась философскими

вопросами, притом обнаружилось, что она обладает способностями к философскому мышлению, довольно редкому. Как Вы знаете, философов не так много на свете. Философствующих очень много, но философов мало. И вот она как раз принадлежала к числу таких, которые могли бы стать философами.

Д: Среди женщин тем более это редко.

Б: Тем более редко, да. Вот, затем, она проявляла огромный интерес вообще к языкам, в частности к латинскому, древнегреческому языку, к литературе. Потом, правда, уже в Ленинграде — нет, еще в Петрограде, — я даже давал ей в течение примерно года или даже двух, давал ей уроки древнегреческого языка. Тогда еще нет, тогда мы вели только философские беседы. Вот она слушала мой философский курс, потом мы вели с ней философские беседы. Между прочим, интерес ведь к философии и вообще к культуре проявлял и ее отец, доктор. Это был умный и широкий человек, несмотря на свое несколько такое циническое мировоззрение еще старой докторской интеллигенции, немножко, чуть-чуть, даже какие-то пережитки 60-х годов, нигилизма и так далее и так далее. Дальше. Следовательно...

Мы очень часто совершали большие прогулки. Невель, окрестности Невеля исключительно хороши вообще, и город прекрасный [22]. Он стоит на озерах, это как бы озерный край. Озера и окрестности совершенно чудесные. Мы совершали далекие прогулки, обыкновенно, значит: Мария Вениáминовна, Лев Васильевич, иногда кто-нибудь еще, — и во время этих прогулок вели беседы.

Я помню, я им излагал даже, ну, начатки своей... нравственной философии, сидя на берегах озера так в верстах... должно быть, километрах в десяти от Невеля. И даже это озеро мы называли озером Нравственной Реальности. (*Ухмыляется.*) Оно никакого названия до этого не имело.

Места там были великолепные — курганы. Но курганы не древние, а главным образом 12-го года. Это же была дорога, где проходила армия Наполеона, отступающая. И вот, следовательно, там мы беседовали и на религиозные, на богословские темы, но главным образом, конечно, так как я интересовался философией, и прежде всего философией неокантианского

типа, то это была главная тема. И повторяю, меня поразил философский склад ее ума [23].

И затем, тогда же... она была и тогда музыкантшей, музыкантшей, и выступала в Невеле... У нас там был Народный дом, в Невеле, и вот на вечерах она там выступала. Я помню, был вечер, посвященный Леонардо да Винчи [24]. Я там делал доклад, а она потом выступала и играла «Funerailles» Листа [25]. «Funerailles» — замечательное произведение. Это надгробная, вот... Похоронная. Это особое произведение музыкальное, довольно мрачное, но очень сильное. И она играла великолепно. Я помню, тогда меня поразила необычайная сила ее руки, совершенно неженская. Да.

Тогда наше, так сказать, знакомство близкое продолжалось недолго: лето и начало осени, а затем Мария Вениаминовна уехала в Ленинград, где она училась в консерватории. Она уже, по-моему, тогда училась в консерватории; и она, значит, вернулась сюда к началу занятий. А я оставался еще в Невеле, а потом переехал в Витебск [26]. Переехал в Витебск и там, значит, жил.

Д: А как она начинала учиться музыке? Это — за пределами?

Б: Этого я не знаю. Она уже была замечательной музыкантшей. Хотя в это время она как будто еще не кончила консерваторию, конечно, но изумительно играла [27].

Д: Где она училась до консерватории, этого Вы ничего...

Б: Этого я ничего не знаю. Вероятно, училась дома, потому что, собственно, город был такой... еврейского края. Ну вот... И там было много людей музыкальных, очень много музыкальных людей. Были хорошие музыканты, очевидно, все это...

Д: А Вы сами, так сказать, какую-то уже музыкальную культуру имели?

Б: Ну, я был дилетантом: сам-то я ведь не играл, ничего, но я в музыке разбирался, конечно, разбирался. И потом вот в Витебске я читал в консерватории курс по эстетике, главным образом, конечно, с уклоном в эстетику музыки.

Д: А Вы бы не могли... не для меня, но для записи, так сказать, примерно сформулировать Ваши основ-

ные идеи вот по этой эстетике музыки, которую она слушала?

Б: Видите, нет, сейчас это мне было бы трудно, потому что я уже их и забыл, и потом... ведь это было когда! Я теперь, конечно, этих взглядов уже не придерживаюсь. Но, в общем, так я могу только сказать, что эта эстетика музыки, которой я потом заразил и Льва Васильевича Пумпянского, — это основывалось на Гегеле и особенно на... этом... Память стала такая неприличная... абсолютно неприличная... Ну философ, тоже великий философ... Он пережил Гегеля... Философия откровения... э-э, ну...

Д: Я тут не знаю. Ну, продолжайте.

Б: Ну как же, нельзя, я не могу так. Ну что же такое — это ж уже неприлично! Еще Канта забудешь, пожалуй... У меня есть его даже работа здесь, но нужно искать.

Д: Ну, потом вспомните.

Б: У него очень много о музыке было, целая философия музыки. Вот. И вообще философия мифологии и философия искусства. И вот та мысль, которую сейчас развивает Леви Стросс и которую, так сказать, почему-то у нас считают очень оригинальной, — о том, что музыка и миф настолько родственны, что, в сущности, это одно и то же как бы почти что...

Д: Музыка и миф?

Б: Да. И вот эта-то идея как раз была уже тогда. И вот и Лев Васильевич ее развивал в своих многочисленных курсах по философии музыки. И я ее развивал тогда в эстетике музыки. Ну как же это?.. Ну что же?!

Д: Ну придет, придет, вспомните.

Б: Придет, как же, не может не прийти! Это ж почти мое собственное имя. Как я мог его забыть! Я его очень любил, этого философа, и знал его очень хорошо, вдоль и поперек. Тогда же вообще философию я изучал, изучал очень основательно и знал все это очень хорошо.

Д: Я боюсь попасть впросак, поэтому не решаюсь Вам подсказывать.

Б: Да нет, это всем известно, школьнику известно... Да, ну что... Вот вылетело из головы! Ну что вы будете делать!

Д: После Гегеля?

Б: Ну да.

Д: Ну Шеллинг там. Нет?

Б: Ну Шеллинг, конечно!

Д: Верно? Ну, мне давно надо было назвать, на языке вертелось. (*Усмехается.*)

Б: Философия Шеллинга, конечно.

Д: Я помню, что в 40-е годы прошлого века после Гегеля, гегельянцев, были шеллингианцы.

Б: Было шеллингианство, Шеллинг, да!

Д: Я это знаю не как философ, а просто как историк культуры.

Б: Ну конечно, он! Вот... Шеллинг... И конечно, взгляд Шеллинга, вот окрашенная несколько религиозно его знаменитая «Философия откровения», его эстетическая теория — все это было очень близко и мне, и Марии Вениаминовне. Она, можно сказать, была шеллингианкой, ну вот... отчасти и гегельянкой, отчасти только, потому что ее совершенно не интересовала теоретико-познавательная сторона философии, ее не интересовала диалектика, и никогда, собственно, она, по-моему, диалектикой не интересовалась.

Д: А Вы как раз диалектик?

Б: Нет, не совсем. Я тоже диалектику... для меня не самое главное.

Д: Ведь Ваша амбивалентность, по-моему, вышла из диалектики.

Б: Да, вышла из диалектики, но все-таки это не диалектика. Это такая старая история: диалог и диалектика, их взаимоотношение, и теоретическое, и историческое [28]. Был даже... Сколько это лет было?.. Правда, это было довольно давно, лет, пожалуй, десять тому назад... В Афинах был международный симпозиум, посвященный проблеме: диалог и диалектика. Ну, тут мнения, конечно, очень разошлись. Я придерживаюсь такого взгляда, что диалектика родилась из диалога, а потом — диалектика снова уступает место диалогу, но уже диалогу на высшем уровне, на более высоком уровне.

Но дело не в этом. Тогда этот вопрос еще не ставился. Ну вот. Но Мария Вениаминовна вообще была настроена в духе Шеллинга, шеллингиански. Кроме того, огромный интерес она проявляла к романтизму, к немецкому романтизму, к Новалису, к...

Д: К Гофману.

Б: К Гофману. Ну, к Гофману меньше. Я бы сказал, Гофмана она не очень любила, несмотря на его музыкальный дух, несмотря на его Крейслера и так далее, а больше она любила вот этих романтиков, так более настроенных религиозно, вот таких, как... э-э-э... Тик...

Д: Ну, Тик и Новалис — имена всегда рядом.

Б: Тик и Новалис, да, но там было еще много. Брентано, Арним, все вот эти... йенские романтики.

Д: Она по-немецки читала?

Б: Она по-немецки читала. И вся семья немецкий язык... ну, еврейская семья — немецкий язык знала очень хорошо, вся семья.

Д: Так что она читала все это в подлинниках?

Б: В подлиннике читала, конечно, в подлиннике. Тем более что в то время было очень много не переведено. Немецким языком она владела в совершенстве, и говорила, и в семье. И даже вот в семье брата... ну, правда, в семье брата больше на французском говорили, даже в самой семье говорили. В семье брата не ее, а брата отца — Якова Гавриловича, присяжного поверенного.

Д: Значит, Вы с ней провели вот это лето?

Б: Лето, да.

Д: И у вас были отношения такой уже тесной дружбы?

Б: Да. Мы, собственно, каждый день виделись, или на прогулке, или я у них был, или она у нас была. Одним словом, вот так. А потом она наезжала, наезжала к себе в Невель, к своим родителям. Ну и тут опять у нас происходили встречи. Но она наезжала на короткий срок, на несколько дней, так примерно.

А потом я уехал в Витебск. И в Витебск она приезжала тоже, наезжала опять, потому что там был ее дядя, вот этот Яков Гаврилович, и она там останавливалась [29]. Он жил очень хорошо, у него был тоже собственный дом, очень хороший... И тогда, конечно, мы с ней виделись и беседовали, и подолгу опять беседовали.

А она, значит, в то время жила в Петрограде, продолжая учение в консерватории. Училась она у Николаева [30]. Это был такой очень крупный музыкальный педагог, пианист, — Николаев. У него учились очень многие, например, учился у него и Шостако-

вич, это же его ученик — Николаева. Многие у него учились. Я знал очень многих учеников Николаева.

Д: Это петербургский музыкальный педагог?

Б: Да.

Д: А какое это учебное заведение?

Б: Консерватория, да. Профессор государственной консерватории. И вот у него она и училась. Он считался лучшим музыкальным педагогом. Он не был виртуозом. Это был педагог. Так всегда: ведь педагоги, лучшие педагоги, — они бывают не виртуозами и не выступают, не концертируют, во всяком случае, очень редко... Ну вот исключения только такие, как Рубинштейн, и притом... Рубинштейн, сам Антон, а вот брат, который основал Московскую консерваторию, Николай Рубинштейн, — он не был никаким виртуозом — был музыкант. Замечательный музыкант, но не виртуоз.

Вот, следовательно, это первое наше знакомство. А потом... Да, Лев Васильевич уехал в Ленинград, вернулся в Ленинград, — Пумпянский.

Д: Еще в Петроград.

Б: Да, еще в Петроград, конечно, еще в Петроград. А я оставался в Витебске. И после его отъезда... года два я еще жил в Витебске...

Д: А Мария Вениаминовна приезжала в эти годы?

Б: Приезжала. Ко мне приезжала в Витебск. Да-да. Несколько раз. То есть не ко мне приезжала, конечно, — к дяде, но бывала у меня в Витебске несколько раз. К месту сказать, что наши связи не прерывались совершенно, как и связи с Львом Васильевичем. А с Львом Васильевичем они были очень тесно связаны там, в Ленинграде. Более того, Мария Вениаминовна, когда она в Ленинграде жила первые годы, кончив консерваторию, — она сняла квартиру очень хорошую, квартиру из двух комнат, правда, в общей, более большой квартире... Она потом нашла другую себе квартиру, более подходящую, а эти две комнаты уступила Льву Васильевичу. И он жил в этой квартире. Сама же Мария Вениаминовна каким-то образом, не знаю, но получила великолепную квартиру на Дворцовой набережной, против Петропавловской крепости... [31] Великолепная квартира! Эту квартиру когда-то, значит, до революции, занимал какой-то свитский генерал. Большая, прекрасная квартира, с тер-

расой, с балконом, не с террасой — с балконом, на Неву. Во втором этаже она жила. Над нею вверху жил Тарле, академик. И они тоже очень часто виделись и дружили друг с другом. Вот, это, значит, в Петрограде, то есть в Петрограде, а потом в Ленинграде.

Да. Теперь только еще один эпизод — еще в ее жизни был. Вот эта необычайная близость с Львом Васильевичем Пумпянским привела к тому, что стали подумывать, он и она, и, по-видимому, даже родители вначале, то есть отец, и сестры, о том, чтобы они стали мужем и женой.

Д: А он не был женат?

Б: Он не был женат, нет, он не был женат. Он женился буквально за несколько лет до своей смерти [32]. Он — нет, он всю жизнь был холостяком. Ну и вот. Более того, Лев Васильевич сделал ей предложение, но она не приняла предложение, колебалась, а родители, отец, и сестры заняли позицию просто отрицательную, потому что они в то время считали, что Лев Васильевич — человек не от мира сего и что в мужья он не годится. И были совершенно правы. Это действительно был человек не от мира сего.

Д: Еще более, чем она?

Б: Еще более, чем она. И конечно, в мужья он не годился, не годился. Потом, в конце жизни, он стал мужем... Да, вот. Одно время он переживал это — это еще было в то же первое лето нашего знакомства, — он переживал это очень тяжело. Более того, стал во враждебные отношения к ее отцу, чуть ли даже не собирался дать ему пощечину — отцу. Ну, я его утихомиривал всячески. А потом они опять подружились, восстановили дружбу, и все это кончилось благополучно. По-видимому, он тоже понял, что это не нужно, несвоевременно.

Но влияние его продолжалось еще долго, в Петрограде, когда она жила, и в Ленинграде, — потом влияние его было большим и довольно долго продолжалось. Она брала у него и уроки. Вот. У меня она брала — это уже было в Ленинграде — у меня она брала уроки древнегреческого языка, а у Льва Васильевича как француза уроки французского языка. Он был блестящий знаток французского языка, он сам, так сказать, наполовину француз, по-видимому, влияние матери-француженки было больше, сильнее, чем

влияние отца-еврея. Но его отец был, так сказать, евреем отнюдь не ортодоксальным, и вообще, кажется, он... нерелигиозным был человеком, по-видимому. Он был провизором, как очень многие евреи. Кончил...

Д: Фармакологический?

Б: Фармакологический, да, институт в западном крае...

Д: Он имел свою аптеку?

Б: Даже я не знаю. Я его не знал. Более того, он очень рано умер, очень рано умер. Льва Васильевича я знал еще со школьной скамьи [33]. Мы с ним учились в одной гимназии, но отца уже... Нет, он был еще тогда, вначале, а потом он умер. Была только мать.

Д: Михаил Михайлович, ну, а что за жених был у Марии Вениаминовны? Или это позже?

Б: Это значительно позже. Значительно позже. Жених был молодой композитор, кончивший уже консерваторию, уже приобретший некоторую известность [34]. Правда, у него таких больших произведений еще не было. Главным образом он перекладывал на фортепиано... Баха и других композиторов... такие произведения, симфонические, органные — перекладывал их на рояль. Клавир создавал. Это был молодой — я его знал, — это был совершенно очаровательный молодой человек, стройный, красивый. Очаровательный молодой человек! И родители... Отца я, правда, только понаслышке знал. Он был из семьи... э-э... Опять начинается имя, и начинается... Это очень известный род, очень известный род. Он даже был как-то связан с Романовыми.

Д: Ах русский дворянский род?

Б: Дворянский род, да, и такой — из исконных старинных дворянских родов... Мать была из рода Куракиных, она была Куракина [35]. Я брата ее знал, Куракина Николая Николаевича. Это мать его. А он был... они в родстве были с графом Игнатьевым, и даже имения у них были, кажется, по соседству.

Д: Не из Шаховских, нет?

Б: Нет, нет-нет-нет.

Д: Княжеский род?

Б: Нет, он был не княжеский — стародворянский, но не княжеский, не титулованный, вот. Ну очень такой древний и именитый род.

Д: Так что его фамилию Вы не помните?

Б: Не помню, не помню. Я, говорю, свою собственную фамилию скоро не буду помнить!

Д: Ну, тут уж я подсказывать не могу.

Б: Салтыков! Вот!

Д: Ах Салтыков.

Б: Салтыков, да-да, Салтыков. Это никакого отношения к Салтычихе (*хмыкает*) не имеет и к Салтыкову-Щедрину тоже никакого отношения не имеет. Они, Салтыковы, — это вот те Салтыковы, которые были связаны, кажется, еще с Алексеем Михайловичем...

Д: И при Грозном были Салтыковы.

Б: Салтыковы, да-да, это древний род. Да. Вот этот Салтыков...

Д: И что же, они помолвлены были? Он, кажется, погиб как альпинист, что ли?

Б: Да, они были помолвлены, но не вступили еще в брак, нет; только была помолвка. И она там была уже как невеста, еще при жизни отца [36]. Потом... отец умер раньше... он был светский человек. Я не знаю, какой он даже был специальности, по-видимому, никакой — светский человек. У них было состояние, имение и так далее. А потом он стал художником. И у него очень много было полотен, я их видел. Особенно хороши и удачны были натюрморты, но и портреты у него были хорошие. Талантливый был художник. А сын вот, следовательно, музыкант. И вот... Они были женихом и невестой в течение примерно двух или трех лет.

Д: Почему ж так долго?

Б: Да, не знаю почему. Он еще был очень молод.

Д: Он моложе ее?

Б: Моложе ее, значительно! Значительно! Он приезжал к нам вместе с нею постоянно. Я тогда жил под Москвой, в Савелове, и вот туда, в Савелово, они обычно вдвоем приезжали ко мне. Он привозил обычно какие-нибудь книги, он доставал очень хорошо мне книги. Вот. Это, следовательно... было около двух лет примерно, когда вот они ко мне приезжали и были женихом и невестой. А потом он уехал. В Нальчик. Он был альпинист, альпинист. И вот поехал вместе с группой альпинистов туда, какую-то вершину

надо было брать и так далее, и вот там вся эта группа погибла, не он один.

Д: Вся группа?!

Б: Вся группа. Они были связаны, подымались, — очень трудная была вершина, и чуть ли не еще никто ее никогда не брал. Они были связаны, сорвались, и вся группа погибла, и тел не нашли. Так что, в общем, могилы его нет [37].

Ну, а Мария Вениаминовна осталась верна и его памяти и жила с его матерью. Переселилась туда, к его матери. Одно время они жили вместе, вот. Потом она устроила другую квартиру, для матери. Последние годы мать, страдавшая диабетом, уже была и слеповата, и глуховата, вообще ей было очень трудно жить. Вот Мария Вениаминовна ее всячески опекала: сняла для нее квартиру, нашла для нее женщину очень хорошую, которая за ней ухаживала, которая раньше была, ну, вроде экономки и секретаря у Марии Вениаминовны. Я ее знал хорошо, эта женщина была... вообще культурный человек. И вот она ее опекала, до самой смерти.

Д: Значит, у нее потом семейной, женской жизни не было?

Б: Семейной жизни у нее не было, хотя она всю жизнь, в сущности, мечтала. Ну, не всю жизнь, вот тогда, в молодости... вот тогда...

Д: Вот у нее в молодости были бурные романы? Вы так рано с ней познакомились, и уже она, так сказать, монашеского типа была.

Б: Да. Но вот, видите, со Львом Васильевичем, собственно, романа как такового не было.

Д: Вот то-то и оно-то, то есть она, собственно говоря, девушка...

Б: И она и он, в сущности, не годились ни для какого романа. Они были увлечены совсем другим. Это была духовная дружба.

Д: Но вместе с тем она человек... производила впечатление такого темперамента...

Б: Темперамента!

Д: ...что трудно как-то вместить в себе, что...

Б: Да, и вот, представьте себе...

Д: ...она девушка.

Б: ...И представьте себе, она была девушкой, и никакого романа ни с кем у нее не было. Между тем

как отец ее — это был такой дон-жуан, такой сильный человек и сильный мужчина. (*Усмехается.*) И его романам любовным числа не было, вероятно, вот. А она — нет, она была монашенкой, в сущности, монашенкой.

Вот это, следовательно, ее жених — Салтыков — милейший, очаровательнейший человек. Я ее вполне понимаю, что она могла его полюбить. Но разница лет была огромная. Но тем не менее все-таки, вероятно... может...

Д: Лет десять была разница?

Б: Нет, не десять. Я боюсь, что не двадцать ли лет. Она была... Ведь это же было уже незадолго до конца ее жизни.

Д: Потому что я это слышал... в 30-е годы, это, по-моему, разыгралось...

Б: Это разыгралось все... Да, в 30-е годы.

Д: В 30-е годы. Когда я с ней познакомился у Лидии Евлампиевны, то, помню, об этом, не с ней, конечно, но шла речь, что вот у нее только что погиб жених. А я воспринимал Марию Вениаминовну как уже женщину... преклонных лет.

Б: Да, она была уже преклонных лет почти что... Она была моложава очень. Она была сильна. В музыке это был у нее почти расцвет в то время, ну вот. Но он-то был, конечно, еще совсем, собственно, юноша, юноша. Юноша очаровательный. Вот. Очень, по-моему, и способный, не только к музыке. Музыкальных произведений я его не знаю и не слышал никогда, но так мы с ним очень много беседовали...

Д: Но странно, почему, если пусть была даже помолвка...

Б: Да.

Д: ...почему брак так откладывался?

Б: Вот. Родители вначале, кажется, были против, опять-таки из-за возраста, а потом, напротив, стали всецело на сторону этого брака, особенно отец.

Д: Родители его?

Б: Его-его, да. Особенно отец, который считал, что влияние Марии Вениаминовны очень благотворно для его сына. Но вообще, вся семья... нужно сказать, что семья... Это, знаете, такая старая аристократическая семья, это были все очень милые, очень хорошие, очень светские люди, но именно светские люди и

жившие светскими интересами, но относившиеся с огромным уважением к этим чуждым для них людям... интеллигентных профессий.

Д: И никакого, так сказать, такого душка... ну, антиеврейского? Не поговаривали, что это вот...

Б: Нет. Вообще нужно сказать так: это, вообще, у нас неправильные представления. Русское дворянство, в особенности вот такое дворянство, именитое, никогда не было заражено антисемитизмом.

Д: Это мещанское, вообще, свойство.

Б: Это — да, это чисто мещанское явление, чисто мещанское явление! Антисемитизм совершенно не свойственен.

Д: Нет, ну вот у славянофилов какой-то оттенок был, и у Достоевского...

Б: Ну, это ведь только оттенок, только оттенок. И потом, видите ли...

Д: Жидки, полячишки...

Б: Только... специфическое, да-да. Это — да, это вообще, но никогда он, собственно, Достоевский, противником еврейства не был, да и не мог быть. Еврейская религия, Ветхий Завет, Библия... Ведь это же Ветхий Завет в христианство... Ну что ж? И в каждом богослужении ведь есть молитвы за евреев. Нет богослужения, где бы не упоминались Авраам, Исаак, Иаков и так далее. Ну вот. И вот даже вот в этих заупокойных молитвах: «Упокой душу в лоне Авраама, Исаака и Иакова». В этом лоне упокоят душу умершего христианина. Вообще, нельзя оторвать христианство от иудейства, то есть не от иудейства, а от вот древнего Завета иудеев. Ну вот. Так что, в общем, конечно, никакого антисемитизма такого быть не могло.

Прав Гегель, у нас духовенство, даже католическое духовенство, — в нем совершенно не было никакого антисемитизма. Это как раз антисемитизм — явление специфическое, людей, чуждых всякой религии, воспринимавших религию только как обряд, как быт какой-то. Вот все эти черносотенцы, они в большинстве случаев тоже были церковниками и так далее, но для них церковь — это какая-то часть их быта: праздники церковные и так далее — это часть их быта. А настоящие представители религиозной мысли в России никогда не были антисемитами. Ну, известно, это всем известно, что Владимир Соловьев

перед смертью молился за еврейский народ, о его спасении, и, умирая, читал псалмы [38].

Д: За его спасение как согрешившего против Христа или?..

Б: Нет-нет-нет, не против Христа. Нет. За его спасение... Но вообще, ведь это же общая точка зрения, что...

(*Перерыв в записи по техническим причинам.*)

Д: Меня ошарашила точка зрения, что рано или поздно...

Б: Еврейство — да, объединится, признает Христа, войдет... Как это, в какой форме... главное...

Д: В признании Христа?

Б: Да.

Д: Значит, собственно, израильско-сионистское движение, оно, так сказать, противоположно этому?

Б: Противоположно. Вообще, нужно сказать, сионизм — это мы очень много сейчас кричим, пишем о сионизме, но сионизма мы не знаем. Это явление довольно сложное. И сейчас сам сионизм находится, ну, в состоянии такого разложения. Там вообще с самого начала было два направления, вот одно — Герцля, а другое, я не помню сейчас, кто это... Одни считали, что еврейство не должно никогда быть государственным, что это общественное единство должно быть, только. Государственности не признавалось.

Д: Ну вот Пастернак на этой позиции стоял.

Б: Да, вот и Пастернак стоял. Ну, Пастернак, он ведь потом же был и православным, и убежденным православным.

Н-да. И вот эта точка зрения среди и сионистов есть. Не говоря о том, что сейчас там, в Израиле, правительство — все это ведь социалисты же, различные социалистические направления, конечно, кроме коммунистов. Коммунисты там есть, но не пользуются успехом. Там очень мало коммунистов. И вот эти самые, представьте, правительства борются с синагогой, с церковью еврейской. Там, у себя, в Израиле.

Д: Ах даже так! Вот, простите, это, конечно, уже в сторону, хотя я считал, что Мария Вениаминовна — это как раз очень яркое исключение. Ну, в детстве

(*усмехается*)... мне попадались на глаза как раз вот эти брошюры, о которых Вы упоминаете, монархические. Ведь выходит... Ну, возьмите — Иоанн Кронштадтский. Он же был центром все-таки — Иоанн Кронштадтский — был же центром антиеврейского движения.

Б: Да, он был одним из центров, но все-таки не вполне.

Д: Вот я теперь с Шульгиным говорил. Шульгин тоже отрицает, что он антисемит...

Б: Да.

Д: Ну что он выступил в защиту Бейлиса тогда, когда этот знаменитый был процесс...

Б: Это да, вообще, это как-никак вопрос сложный. Кстати сказать, я знал Иоанна Кронштадтского, в детстве. В детстве мой двоюродный дед, который был его страстным поклонником, пригласил его к себе в Орел, в свой дом, и так далее. И он там служил.

Д: Это, по-видимому, был крупный человек...

Б: Это очень крупный человек. То есть впечатление у меня... ну, я тогда был ребенком, конечно, ну сколько мне было? Лет семь, пожалуй. Потрясающее впечатление он на меня произвел.

Д: Кто-то из близких Шкловского...

Б: Тоже, да.

Д: ...был дьяконом у Иоанна Кронштадтского.

Б: Да-да, вот видите, как...

Д: То ли отец матери, то ли... вот что-то в этом роде... я уж сейчас забыл, у меня записано. Ну, Иоанн Кронштадтский — это особ статья.

Б: Да-а-а...

Д: Ну, а вот, собственно, музыканта Марию Вениаминовну Юдину... В чем Вы видите, так сказать, специфику ее творчества?

Б: Видите, это, я думаю... Вы будете еще с кем-нибудь беседовать, кто музыкант, специалист, — они лучше скажут Вам. Я ведь, так сказать, не музыкант ни в какой степени, не профессионал, ни в какой степени. Да, я музыку ее очень ценил высоко. Более того, я считал ее самым крупным пианистом у нас. Я предпочитал ее и Нейгаузу, и другим. Вот.

Д: И Софроницкому?

Б: Да ну, что Вы! Ну, Софроницкий... все-таки он... Вот у него прекрасная техника и так далее, у него

и душа была, но настоящей, большой силы у него не было. Все-таки это был несколько такой... А вот Мария Вениаминовна... Ну, прежде всего что в ней поражало? Что она вообще любила и исполняла музыку сильную: вот — Бах, Лист, Бетховен, потом некоторых современных музыкантов, новых. Но вот именно эта сильная музыка, музыка, которая, так сказать, ну, была на пределе музыкального и чего-то более высокого, мифологического или религиозного. Вот. Вообще вот так, я считаю: основная черта Марии Вениаминовны как человека и как деятеля культурного — она никак не могла уложить себя в Fach, то есть в какую-то специальность, она не могла ограничиться одной музыкой, нет. Она все время пыталась вырваться шире: вот религия, потом общественная деятельность. Но уложиться в рамки одной музыки, стать профессионалом, только профессионалом, она не могла никак, никак не могла! Всякий профессионализм таким людям абсолютно чужд. И вот поэтому в музыке она брала все то, что лежит на границе музыки и других искусств, отчасти — поэзии, романтической поэзии... Вот. Романтизм ее страстно привлекал. А романтизм ведь все время, так сказать, бился о пределы, о грани литературы, поэзии, чтобы выйти за эти пределы и стать чем-то вроде религии и так далее. И вот то же самое и у нее. Она брала музыку там, где она была близка либо к поэзии романтического типа, к поэтическому откровению, либо к откровению религиозному. Вот. И не укладывалась никак в рамки музыкального профессионализма.

И вот этим определяется и выбор ее произведений. Этим определяется и своеобразие ее трактовки. Она трактовала всегда очень индивидуально. Она, естественно, — она не любила и штампов музыкальных, она их разрушала. А многие поэтому считали, что она излишне индивидуально и субъективно толкует те произведения, которые исполняет. Но мне как раз именно и нравилось ее исполнение, потому что она, так сказать, ну, усиливала те моменты, которые, по-моему, наиболее сильны в данных произведениях у данных композиторов.

Я помню так: вот тогда, когда я переехал, вернулся, в Ленинград, то мы виделись с Марией Вениаминовной почти каждый день. Я уж не говорю про то,

что там она уроки у меня брала, но просто постоянно мы либо у нее бывали... Она жила в очень просторной, великолепной квартире, одна, одна, иногда с братом, с младшим своим братом. У нее был великолепный кабинет, рояль и так далее. И вот там очень часто мы проводили ночи за ее игрой. Она играла до зари. До зари! И как она играла! Нужно сказать, я ее слышал в концертах, но так, как она играла тогда, в эти ночи, для узкого круга своих друзей, вот, она никогда не играла. Это было удивительно! Вот где ее сила раскрывалась в полной мере.

Мы обычно, конечно, там обсуждали и различные проблемы — философские, поэтические, читали стихи. Одно время было увлечение Рильке, одно время только, потом было увлечение Георге. Вот. Это был действительно замечательный поэт, которого у нас очень мало и очень плохо знают, между тем как была школа Георге, круг Георге — George Kreis [39]. Потом «Blätter für die Kunst» [40], вот это, вот это тоже связано с Георге. Это так называлось издательство, которое издало ряд блестящих книг.

Д: «Kunst» — это искусство, а «Blätter» — это издательство? «Verlag» — издательство....

Б: Листы, листы — «Blätter».

Д: А! Печатные листы?

Б: Ну да, печатные листы для...

Д: Листы искусства.

Б: Да-да, листы для искусства, да-да. Там еще Гундольф был [41], вот, печатали они и Гундольфа, печатали и других... Замечательная книга еще была о Фридрихе Ницше — «Versuch einer Mythologie» — «Опыт мифологии» [42], книга о Ницше называлась так... Я эту книгу очень любил, и она у меня была.

Д: А Мария Вениаминовна ницшеанством никогда не увлекалась?

Б: Нет-нет, этого как раз не было.

Д: Это поветрие прошло мимо...

Б: Да. Да ведь и я Ницше принимал только... ну, не полностью... Такие моменты... вот те, которые потом были взяты у Ницше — конечно, в исковерканном, искаженном виде фашистами, — эти моменты, конечно, были очень далеки мне и тогда. Вот. Нужно сказать так: что вот это, что фашисты сделали своим философом Ницше, — это, конечно, чепуха, это не-

доразумение, основанное только на крайнем извращении, крайнем извращении Ницше. Да и что общего у этих людей с какой бы то ни было серьезной философией? Нет, конечно, ничего.

Д: Михаил Михайлович, Вы слушали Марию Вениаминовну и в довоенные и в послевоенные годы?

Б: Да. Да-да, слушал.

Д: Вот как Вы считаете, она сильнее играла в последние годы или, наоборот, послабее?

Б: Нет, я считаю, что нет. До последних лет. А потом она...

Д: Ну я не считаю, конечно, последний год после катастрофы с рукой [43].

Б: Да, рука у нее была повреждена, пальцы... Нет, конечно. Но и до этого. Вот тут-то особенно она рвалась за пределы музыки, отходила, можно сказать, почти что от музыки. Она мечтала об общественной деятельности, большой. Она мечтала даже... Вот, например, когда, скажем, началась война из-за Суэцкого канала, и у нас...

Д: 56-й год.

Б: Да. И у нас, значит, подготовлялась армия, вторжение на помощь арабам. Мария Вениаминовна заявила о том, что она желает ехать в Египет: бороться. Бороться против англичан. Вот. Она все время, все время хотела занять какое-то место в каком-то большом, но не музыкальном деле. Музыкальное дело, музыкальное признание, музыкальная слава ее не удовлетворяли никак, никак. Никак не удовлетворяли. Она хотела прославиться как-то — ну не то что «прославиться» — это, конечно, грубо сказано. Она не была элементарно честолюбивой, нет, и славолюбивой, но, одним словом, ей хотелось стать чем-то существенным, большим, важным, мечтала о каком-то служении, более высоком, чем вот служение искусству. В этом отношении она, ну, отчасти, конечно, была родственна вот тем символистам, которые тоже, так сказать, считали: превратить искусство в жизнь и так далее. И в какое вот особое служение жизни...

Д: То есть это не та позиция, которая сформулирована (я просто вспомнил) в замечательной концовке статьи Марины Цветаевой «Искусство при свете совести»?

Б: Я эту статью не знаю.

Д: Она кончается так (я помню наизусть): «Врач и священник нужнее поэта». И на Страшном суде с каждого из нас, так сказать, спросится — что-то в этом роде... «Но если есть Страшный суд слова», то перед ним я чиста. То есть она, признавая свою, так сказать, человеческую слабость, считает, что высшее оправдание для нее — искусство.

Б: Ее поэзия.

Д: Да. Значит, Мария Вениаминовна не сказала бы: «...если есть Страшный...»?

Б: Нет, она этого не сказала бы. Она сказала бы так, что... вот все-таки ей не удалось выйти за пределы музыки.

Д: Я спрашиваю у Вас еще это, так сказать, с некоторым подтекстом. Ну я Вас предупреждал, что сам я не разбираюсь в музыке, поэтому я говорю только о чужих мнениях. А как личность меня Мария Вениаминовна очень интересует и импонирует мне.

Б: Ну еще бы!

Д: Я ее все-таки изредка, но наблюдал, и эти похороны на меня произвели тоже огромное впечатление. Есть музыковеды, которые говорят так: что Мария Вениаминовна раньше играла лучше...

Б: Это, в общем, верно. Это, в общем, верно. Я тоже считаю так.

Д: А потом она...

Б: То, что я слышал тогда, в первые ленинградские годы, у нее на квартире, когда она играла там на своем рояле — правда, великолепном, — я лучшего потом не слыхал в концертах.

Д: Но слушайте дальше. А потом, когда она увлеклась, так сказать, вот всякой церковностью и за что ее какая-то часть московской публики, интеллигентской, к этому близкая, и превозносит, она стала играть хуже.

Б: Она стала играть хуже, но только вовсе не под влиянием вот этой... Церковность ее тянула и в самые лучшие годы. Если хотите, она была наиболее религиозно настроена именно в лучшие годы, вот когда она по ночам играла для узкого круга своих друзей, — тогда она более церковно была настроена, то есть религиозно была настроена.

Ну вот тут другое... Одно дело — религиозность, а другое дело — желание принимать участие в делах

церкви. Вот это у нее появилось поздно, и вот тогда у нее и музыка стала хуже. Ну не потому, что она, так сказать, принимала участие в делах церкви какое-то, хотя бы и косвенное, а по другим причинам. Вообще, музыка ее уже не могла удовлетворить, не могла. Она стала, например, на концертах читать стихи. Вот. Да.

Д: То есть профессионалы-музыканты и музыковеды ставят как раз ей в упрек выход...

Б: Из профессионализма.

Д: ...из профессионализма, да.

Б: Из узкого — да. Ну, это вполне понятно, это вполне понятно. Это ж те вот музыковеды, которые так говорят, в конце концов, люди очень ограниченные, которые не могли понять вот этого порыва Марии Вениаминовны, который бывал у нее... ведь порыв этот был... на протяжении всей ее жизни к чему-то гораздо более высокому, что не укладывается в рамки никакой профессии, никакого профессионализма: ни в рамки поэзии, ни в рамки музыки, вот, ни в рамки философии. Она была больше всего этого. Она понимала, что это не все, что это не главное, что главное что-то другое.

Д: Ведь, с одной стороны, у Вас какое-то и подтверждение этому наблюдению, со стороны фактической...

Б: Я не считаю...

Д: А с другой стороны — противоположная оценка. Нет, не только оценка. Вы, во-первых, отрицаете, что, собственно, религиозные ее...

Б: Нет...

Д: Это Вы никак не связываете?

Б: Никак, ну почему...

Д: Это способствовало от самого начала...

Б: Конечно! Философия, мифология, и религия, и музыка — самое родственное в мире, что есть в мире, самое родственное. Музыка — она, собственно говоря, и философична, и религиозна по самой своей природе. Просто религиозна, не в узкоконфессиональном смысле... ну вот, но по природе своей, конечно, она конфессиональна... и религиозна.

Д: И конфессиональна?

Б: Нет, не конфессиональна, именно не конфессиональна.

Д: Нет?

Б: Да. Не важно, что... она вообще-то: протестантизм, православие, католицизм... Это несущественно. Религиозность. Когда эта религиозность настоящая, например вот у мистиков, у великих, конечно, мистиков, таких, как Бёме, вот — она пере... Религиозность не могла уложиться в рамки узких конфесси... узкого...

Д: Исповедания.

Б: Исповедания, да, определенно. Поэтому мистики, вот тот же самый Бёме, а он был удивительный, — кто они?

Д: Якоб Бёме?

Б: Да, один из величайших мистиков. Кто они? Протестанты? Католики? Православные? Ну, по, так сказать, конфессиональной принадлежности они протестанты, но в то же время они одинаково удовлетворяют и католиков и православных. Именно там их-то религиозный порыв выводит их за узкие пределы конфессионализма.

Д: Ну вот, музыковеды и музыканты некоторые вот и говорят, что она стала хуже играть.

Б: Она стала и хуже играть — это тоже верно, и меньше стала играть, но не по этой причине, не по этой, а скорей именно вот... Тут было некоторое ослабление такой внутренней, настоящей, большой религиозности и философичности, а усиление внешней стороны — вот церковности, обряда и так далее. Вот. Это вот да, это могло быть.

Д: А вообще ее как исполнителя Вы считаете религиозно наполненной с самого начала?

Б: С самого начала, с самого начала, да.

Д: И такую трактовку, как я Вам изложил, так сказать, с чужих слов, Вы считаете...

Б: Она верна фактически, в какой-то мере, но объясняется она неверно... Во-первых, ее продолжала не удовлетворять только музыкальность как профессия...

Д: Нет, такая трактовка — это... Я Вас понял так, что это не глубокая...

Б: Нет, поверхностная. Это поверхностная, и больше ничего. Вот... Нет-нет.

Д: Ведь о ней пишут сейчас много, и о ней будут...

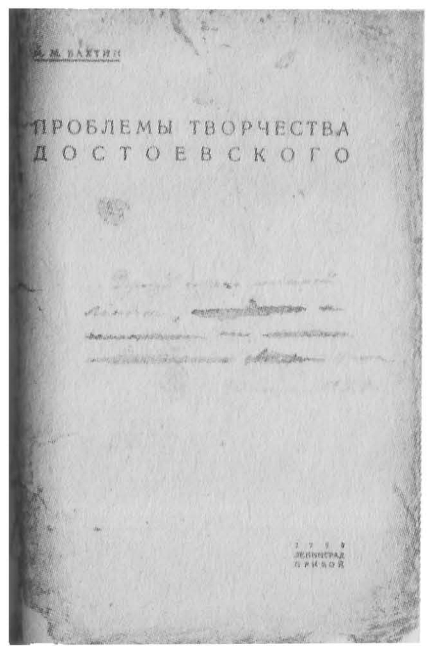
Б: Да-да. Да нет, эта трактовка, конечно... Да и откуда у нас может быть настоящая, глубокая трактов-



М.М. Бахтин. 1935 г. Кустанай



Е.А. Бахтина. 30-е гг.

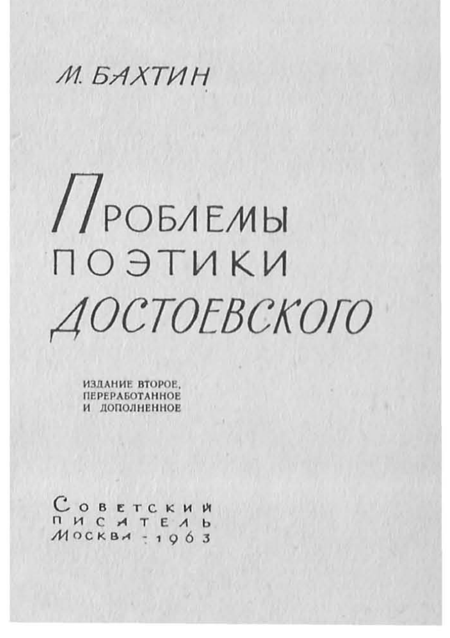


М. М. БАХТИН

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО

ЛЕНИНГРАД
ПРИБОЙ

Титульный лист первого издания с дарственной надписью М.М. Бахтина. Публикуется впервые



М. БАХТИН

ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ДОСТОЕВСКОГО

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА · 1963

Титульный лист второго издания

Кустанай, 1932



Кустанай, фотография того же периода. М.М. Бахтин — сидит третий слева



ХАРАКТЕРИСТИКА

БАХТИНА Михаила Михайловича - экономиста Кустанайского Райпотребсоюза

БАХТИН М.М. работал экономистом Кустанайского Райпотребсоюза с 23-го Апреля 1931 года по 25-е сентября 1936 года.

За пять с половиной лет своей работы в Кустанайском Райпотребсоюзе БАХТИН проявил себя как высококвалифицированный, честный и преданный специалист. Не считаясь со временем, БАХТИН не только добросовестно выполнял свою прямую работу, но проявлял широкую инициативу, выходящую за пределы его прямых обязанностей.

Своей многолетней деятельностью в Райпотребсоюзе БАХТИН содействовал хозяйственному и финансовому укреплению как самого Райпотребсоюза, так и его системы. За свою работу БАХТИН был неоднократно премирован как Облпотребсоюзом, так и Правлением Кустанайского Райпотребсоюза.

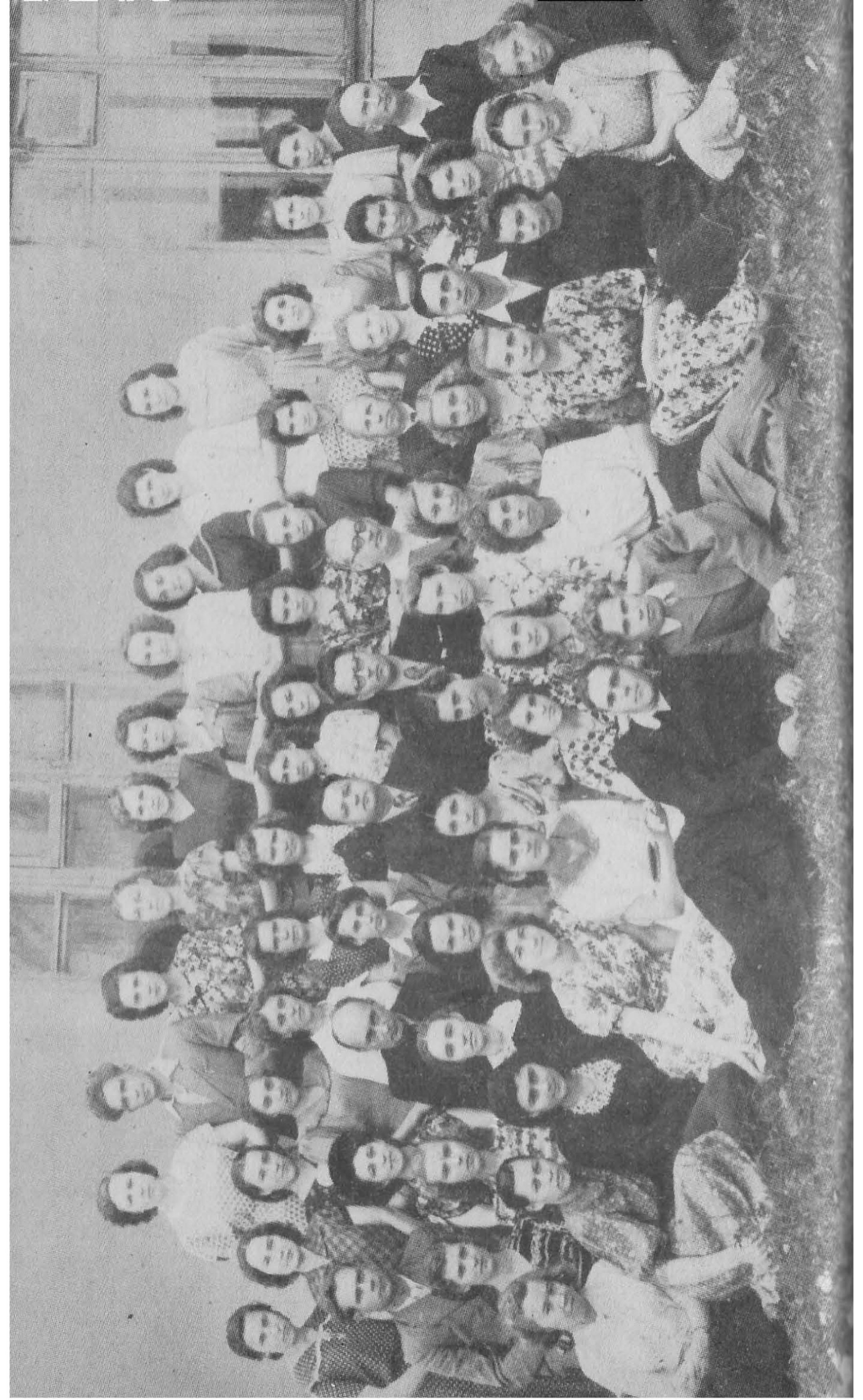
БАХТИН проявил себя и как хороший и инициативный общественник, добросовестно выполнял нагрузки по профсоюзной линии, организовывал и руководил кружками техучебы, был членом Р.К.К.

БАХТИН освобожден от своей должности по собственному желанию, вследствие своего перехода на педагогическую работу.-



Характеристика, выданная М.М. Бахтину в Кустанайском Райпотребсоюзе — месте его работы во время ссылки.

Фрагмент рукописи М.М. Бахтина
«Дополнения и изменения к Рабле», 1944 г.





М.М. Бахтин среди студентов Мордовского университета. Конец 50-х годов

М.М. Бахтин среди студентов и преподавателей Мордовского пединститута (третий слева в третьем ряду). Саранск. 1955



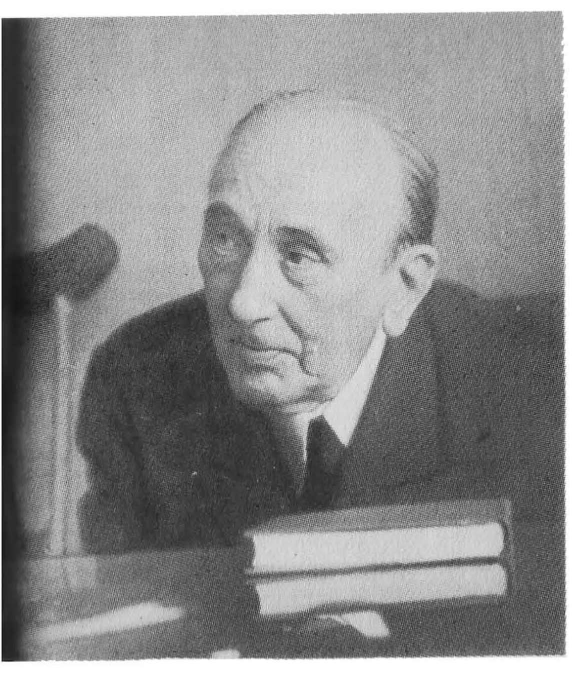



М.М. Бахтин с кошкой, февраль 1973 г.
Фото М.В.Радзишевской

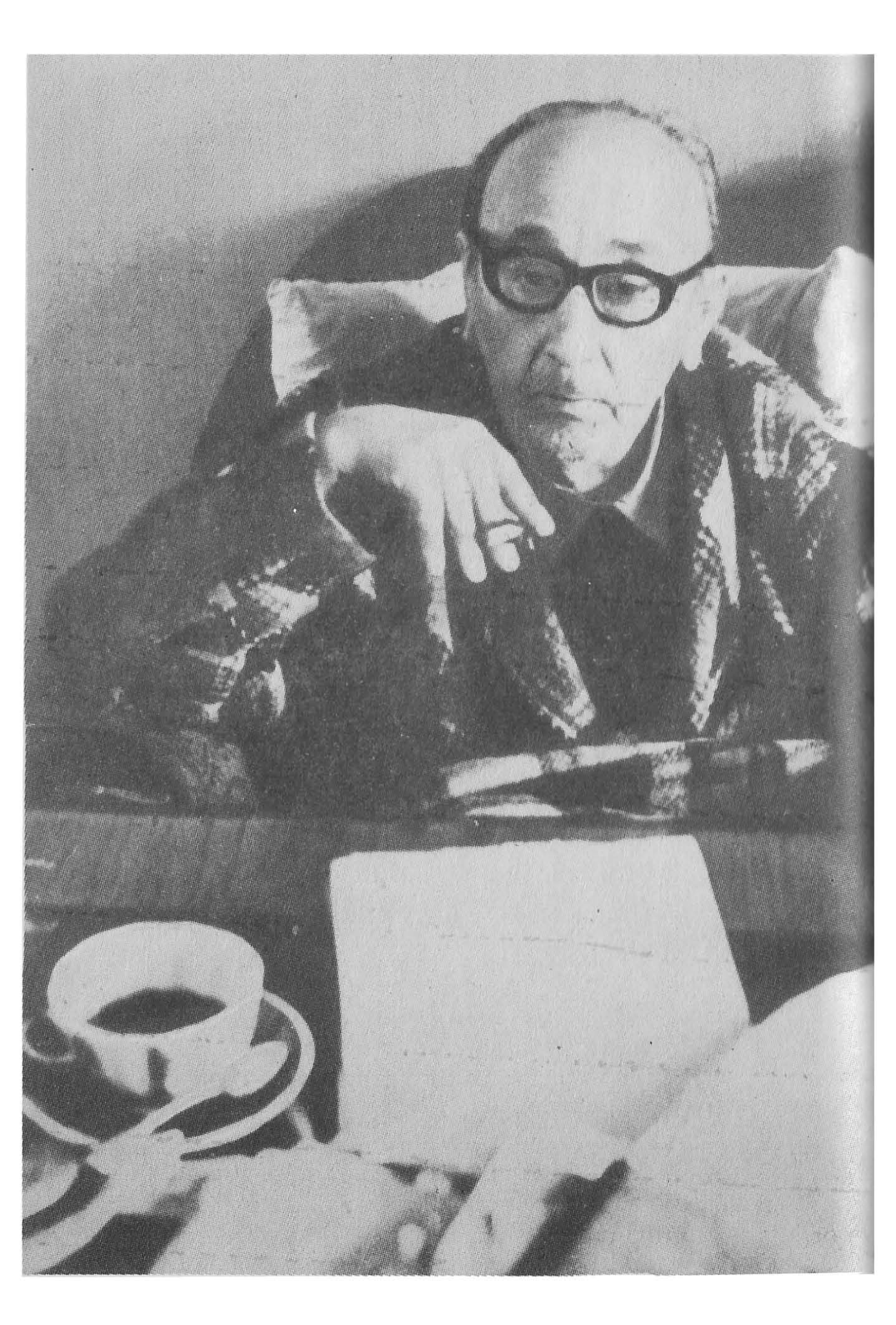
Л.В. Пумпянский. 30-е годы
(из архива Е.М. Иссерлин)

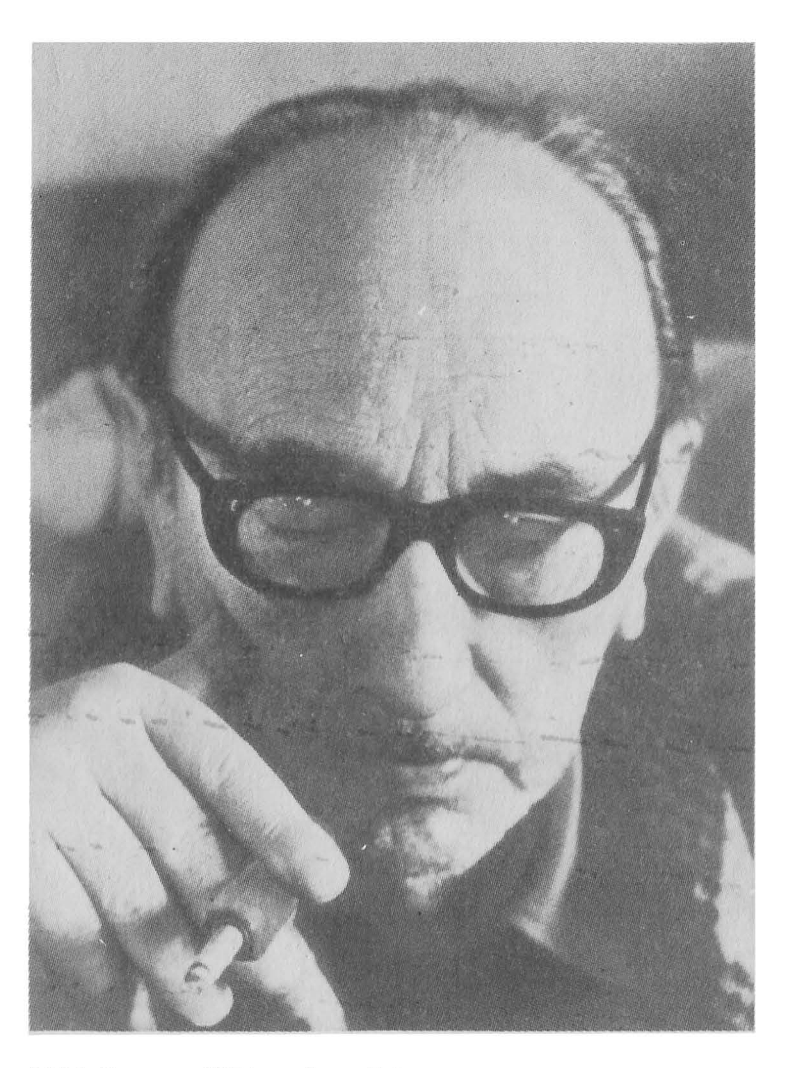
М.В. Юдина.
Конец 30-х годов

Семья Юдиных. В центре стоит мать Р.Я. Юдина,
сидит отец В.Г. Юдин. Крайняя справа стоит М.В. Юдина.
Справа от матери дети — Анна и Лев, слева от отца
сын Борис. Невель, 1909 — 1910 гг.

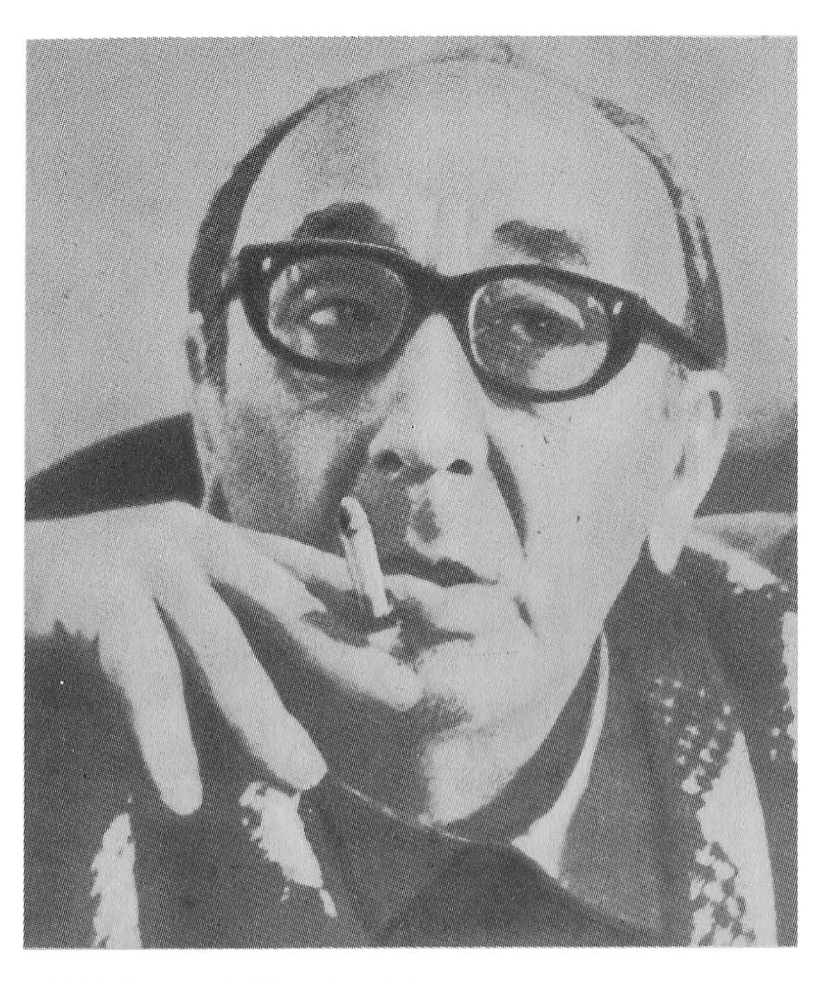


М.М. Бахтин
во время беседы
с В.Д. Дувакиным.
Февраль 1973 г.
Фото
М.В. Радзишевской



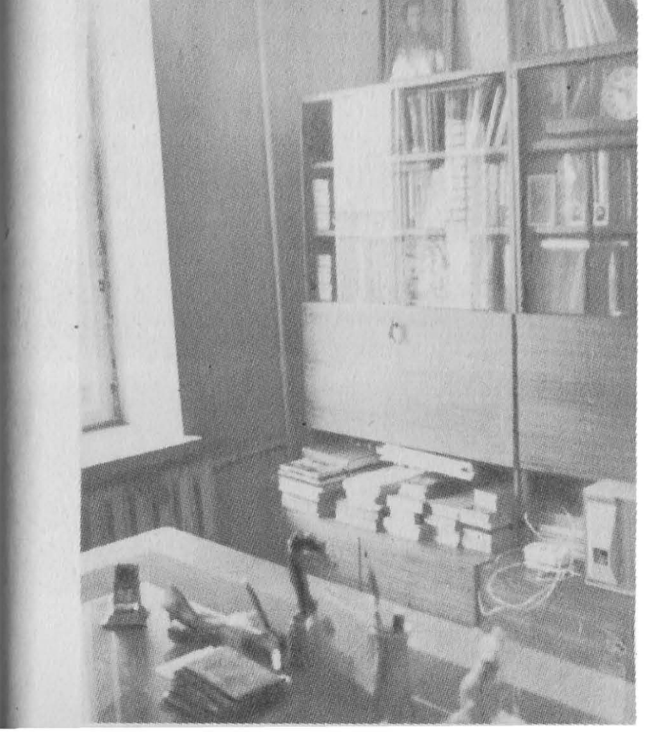


М.М. Бахтин, 1974 г. Фото Б.Дмитриева

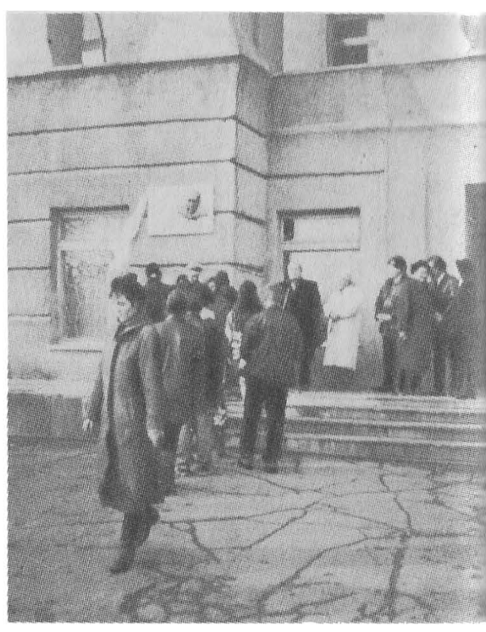


М.М. Бахтин, 1974 г. Фото Б.Дмитриева

Рабочий стол и книжный шкаф М.М. Бахтина в его московской квартире



В.Д. Дувакин
во время беседы
с М.М. Бахтиным



Открытие
мемориальной доски
на здании
Мордовского
университета.
Саранск,
25 октября 1995 г.
Фото О.Я. Гелиха

ка, у наших этих самых музыковедов? Один вот был музыковед, и тоже он так это, с уклоном в такую формалистичность, но которого, между прочим, Мария Вениаминовна очень ценила и очень уважала...

Д: Кто?

Б: Это Яворский [44]. Он не жив, умер — Яворский. Музыковед. Яворский. Он создал целую школу, ну вот, но не был особенно официальным, не был признанным. Сейчас его даже как бы забыли, но это был, конечно, очень крупный, действительно очень глубокий музыковед.

Д: И она его отличала?

Б: Она его отличала, отличала его, хотя они во многом расходились.

(*Пауза.*)

Д: Но это вот мнение о ее, так сказать, некоторой профессиональной деградации, которое я слышал...

Б: Ну, это имело место. Ну так, в конце концов, в этом возрасте вообще художник, особенно манеры Марии Вениаминовны... такая деградация неизбежна. Ведь я же указывал, что, может быть, основная черта ее искусства — это сила. Это сила. Это не нежность, не интимность, вот, а именно сила, сила, но сила, конечно, не грубая, а вот именно сила духа, сила духа, которая, кстати сказать, была ей свойственна в высшей степени, — сила духа. Вот эта сила духа в области музыки — она же ведь требовала и силы рук, и силы всего организма. А она уже не могла сохраниться в таком возрасте. Вот...

Д: Да, она семидесяти лет умерла.

Б: Она умерла, да, семидесяти лет, вероятно, семидесяти лет. <...>

Да. Так вот, относительно ее духовной силы. Она была человек замечательный в этом отношении. Например, самую ужасающую боль она могла вынести буквально не моргнув, не поморщившись.

Д: Боль? Физическую?

Б: Физическую. Вообще, она могла выдержать то, что обыкновенный человек выдержать не может. И те, кто ее знал более близко, всегда поражались, что вот — нечеловеческая выносливость, эта сила духа огромная, огромная сила духа. Вот она могла бы на костер взойти. Она, в конце концов, всю жизнь и

мечтала о костре, в таком смысле, таком более метафорическом, — пострадать, быть сожженной, как Аввакум, как другие. Вот. И она бы не... действительно, не поморщилась бы на костре и сгорела бы. Вот это вот такого типа человеком она была. И это в ней, конечно, поражало и импонировало чрезвычайно, кто с этой стороны ее знал. К сожалению, очень немногие ее знали с этой стороны.

Д: Знали ее больше со стороны всяких чудачеств...

Б: Чудачеств, капризов и так далее. Это все было. Это было — и чудачества... Но этих чудачеств не понимали, конечно, и капризов не понимали, толковали их пошло. Каприз капризу рознь. Каприз великого человека и каприз дурака — это совершенно разные вещи. Их называют одним словом — каприз. Но ведь каприз (*усмехаясь*) Бетховена (он тоже был очень капризным) и каприз какой-нибудь бездарности — ведь бездна между ними.

Д: Звери... Помогала... Абсолютное неумение...

Б: Бескорыстие.

Д: ...бескорыстие и вместе с тем абсолютное неумение, так сказать, жить. Она давала неограниченно, но и брала без счета.

Б: Да, брала, да, но, в общем, все-таки она никогда не имела денег, она вечно ходила без денег, хотя и брала. Брала и раздавала, брала и раздавала. Брала для того, чтобы раздать, в конце концов. Хотя иногда она брала, вдруг ей самой нужно было. Ведь она ж, собственно, почти всю жизнь жила впроголодь.

Д: Да, я знал... Ну, вместе с тем, конечно, это и было... она для людей делала не только добро, но она их, естественно, и обижала. Ну, я знаю хорошо Серафиму Александровну Бромберг. Вы ее не знали? Жену Бромберга-то, вот, моего товарища по Маяковскому. А ведь Фима эта самая пятнадцать лет была ее секретарем, устраивала ее концерты, все.

Б: Да, я слышал, я знаю.

Д: Да. Ну, она ей платила что-то. Она так лет за пять и осталась ей должна.

Б: Конечно. Господи Боже мой...

<...>

Д: Ну, в отношении Марии Вениаминовны, в общем, образ Вы дали. Может быть, только у Вас есть добавить какие-нибудь эпизоды частные, так сказать,

детальные, что могло бы, скажем, потом войти в какие-нибудь Ваши воспоминания. Вам бы пригодилось.

Б: Ну что же я могу сказать? Она очень много помогала людям, пострадавшим как-либо, в том числе и мне. Когда вот...

Д: Она Вам помогала? Вот Вы об этом не сказали.

Б: Помогала, конечно! Помогала. Потом, к концу жизни, напротив, я ей, так сказать, денежно только помогал [45]. Иначе я помочь ей не мог ничем... Но это не имеет никакого значения. Она гораздо больше мне помогала в свое время. И притом она помогала мне вот тогда, когда меня высылали и так далее. Ведь дело-то в том, что я был приговорен сначала к пяти годам Соловков.

Д: А в чем же она тут могла помочь?

Б: А она хлопотала. Хлопотала. И в то время это еще и можно было. Вот. У нее были связи и все это. Она хлопотала. Ну, правда, не это решило дело, но все-таки это оказало влияние [46].

Д: А Вы ее... на концертах военных были? Нет? Или Вас не было в Москве?

Б: Нет, я тогда не был на ее концертах. Она ездила на фронт, как Вы знаете. В Ленинград, когда он находился в окружении, когда там было очень небезопасно. А ее тянуло всюду, где была опасность и «грозило гибелью», ее туда тянуло. И она туда ездила очень часто. И там играла.

Д: Да. В общем, у нее выходило так: «Все то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслажденье».

Б: Да, если хотите, так. Но не только. Тут, конечно, у Пушкина имеется в виду такая... более языческая, что ли... а у нее нет. И она считала, что человек существует для того, чтобы сгореть, чтобы отдать себя, чтобы пожертвовать собой. Вот элемент жертвенности, которого у Пушкина, конечно, здесь нет, в «Песни Вальсингама». Тут скорей какой-то гедонизм, гедонизм...

Д: Да, скорей гедонизм.

Б: Да. Наслаждение... Это же известно, вот, опасность опьяняет. Я не военный человек, а вот, например, когда бомбежки-то были и так далее, и когда вблизи фронта мы жили, меня возбуждали выстрелы, меня возбуждали, да. (*Смеются.*) Возбуждают. Ну,

что Вы хотите, помимо, так сказать, сознания и воли... мне не свойственна какая бы то ни было бравада и воинственность и так далее, но возбуждают выстрелы — и все тут. (*Усмехается.*) Но это, конечно, совершенно другое. Никакого отношения к жертвенности и никакой заслуги в подобном нет. А у нее это было другое.

Д: А где ж Вы бомбежки-то воспринимали? Вы в Ленинграде разве были?

Б: Нет, в Лениграде я не был. Бомбежки были и в Москве. Ну, правда, я, кажется, раз или два попал. А потом, мы жили же почти в прифронтовой полосе. В сорока километрах от нас был фронт.

Д: Это в Савелове?

Б: Это в Савелове, да.

Д: А-а! Когда к Истре подходили, когда брали эту самую... Икшу.

Б: Вот-вот-вот-вот, да-да. Там совсем, в двух шагах... Там все время налетали, притом и бомбили. Но бомбили меньше, а больше пулеметы обстреливали. Но и бомбили... Много раз бомбили.

Д: Да. Ну, Михаил Михайлович, я Вашу, так сказать, одиссею, можно сказать, записал. Очень хорошо, что я Вас натолкнул на биографическое повествование. Вы просто в сторону уходили и давали такие и историко-литературные, и эстетические, и философские отступления, поэтому... Помимо всех воспоминаний, не таких уж, не так уж многочисленных...

Б: Ну какие у меня воспоминания!

Д: ...я записал еще просто прекрасный портрет Михаила Михайловича Бахтина, которого я очень ценю. Единственное, в прошлый раз у нас вышло немножко неудачно, нужно там кое-что снять.

Б: Виноват был я, потому что... я не знаю почему... Накануне переутомился как-то очень. Ну, я буквально — вот я забывал самые обыкновенные слова...

Д: И я плохо слушал. Вот у нас одна беседа, пятая, была не очень удачна, а все остальное было интересно и хорошо.

Ну, а Вы писать воспоминания не собираетесь?

Б: Не собираюсь совершенно. Да, кстати, вот относительно Марии Вениаминовны. У нее всю ее жизнь до конца не было своей порядочной квартиры. Она жила так: то там то тут — всюду, терпела край-

ние неудобства, крайние неудобства. Это раз... А во-вторых... Ну да, у нее не было никогда мебели. Ну только, конечно, в родительском доме когда она жила и вот там в Ленинграде, но и в Ленинграде, вот в этой роскошной квартире, — там какая-то случайная мебель была у нее, не знаю, не ее личная, вероятно, даже. Вот. А так никогда у нее не было даже мебели порядочной. И потом, она была человеком абсолютно неофициальным. Официальное все ее тяготило. Как, впрочем, и меня. Я тоже официальщину терпеть не могу. Так что строить свою карьеру она не могла совершенно. И не хотела, и не могла и так далее. Ведь смотрите, такой видный человек, а ведь никакого награждения за всю жизнь она от власти не получала, никакого.

Д: Ну так она фрондировала!

Б: И не только. Почему фрондировала? Не только фрондировала. Она фрондировала, может быть, даже и меньше, чем другие, которых тем не менее награждали. А что, скажем, Шостакович не фрондировал? В свое время. И очень даже.

Д: Да, но его...

Б: Вот. Да, у нас был, кстати, общий такой друг, еще с витебских времен, — это замечательный музыковед, только очень рано умерший, — Соллертинский Иван Иванович.

Д: Соллертинский?

Б: Да, Соллертинский.

Д: Слышал я о нем, да.

Б: Это один из наших просто крупнейших искусствоведов. Его книга о Малере, да и другие все его книжки, небольшие в большинстве случаев, но они... исключительно одаренные все. Вообще это был человек редко одаренный [47]. Он был учеником и Льва Васильевича Пумпянского, и моим учеником в свое время. Я с ним познакомился, когда он был, собственно, еще совсем почти мальчиком. Вот.

Д: Он умер?

Б: Умер очень рано. Он был тоже профессором консерватории, Ленинградской. Он по классу теории музыки и по классу эстетики тоже, вот так...

Д: Кого Вы еще из, так сказать, крупных деятелей музыки и музыковедения...

Б: Вот, пожалуй, кроме Соллертинского, я никого близко не знал. Ну, знаком я был с очень многими. Главным образом...

Д: С Софроницким?

Б: Знал его. Был с ним знаком, но ничего, никаких, понимаете, воспоминаний о нем нет.

Д: А Нейгауз?

Б: Тоже. Тоже, тоже знал.

Д: И с Пастернаком Вы тоже не общались? Как-то мы с Вами по поэзии не дошли до Пастернака.

Б: Нет, видите, Пастернака-то я знал все-таки, знал Пастернака.

Д: Вот дружба Марии Вениаминовны с Пастернаком...

Б: Вот! И мы там встречались у нее очень часто. Особенно мне запомнился один вечер, когда Пастернак читал нам там, в квартирке Марии Вениаминовны, в этом коттедже, где я у нее жил некоторое время...

Д: Это где это? Ах это в... Хорошевском шоссе?

Б: В Хорошевском шоссе, да-да. Я там у нее...

Д: Это что? Когда он читал прозу свою?

Б: Нет. Прозу я как раз не слышал. А когда он читал перевод первой части «Фауста» [48]. Вот. Так надо сказать, что...

Д: О-о! Ну, так это ж, конечно, исторический момент.

Б: Да...

Д: И в числе слушателей были Вы и Мария Вениаминовна?

Б: Да. И был еще целый ряд других. Прежде всего — был художник Фаворский, был художник... э-э...

Д: Может, Ефимов? Нет?

Б: Нет-нет-нет-нет.

Д: Купреянов?

Б: Нет, это вот еще... 20-х годов... даже не 20-х годов, а 10-х годов. Он был очень стар тогда, но очень бодр. Удивительно культурный человек.

Д: Павлинов?

Б: Нет. Павлинова я тоже знал немножко, да, встречал Павлинова. Но его не было там, Павлинова не было.

Д: А Фаворский был? Вы вспоминаете это поколение, да?

Б: Да, Фаворский был, да. И тот был тоже поколения немножко, чуть-чуть старше только Фаворского, этот художник, о котором я говорю. Он часто даже обложки символистов делал. Он вот был в той же группе, что Сомов, вот эта...

Д: Сомов, Юон...

Б: Вот-вот-вот.

Д: «Мирискуссники». На обложке... Кто ж у них делал обложки? И Грабарь...

Б: В частности, на обложке — брюсовский сборник, «Зеркало теней».

Д: Помню обложку.

Б: Его обложка была [49].

Д: Ну, Бог с... Так вот Вы там были?

Б: Да. Кроме того, там были еще и другие. Был, например, — как его звали? — Шульц такой, это был классик, классик [50].

Д: Шульц?

Б: Шульц. Шульц. Вы его, вероятно, не знаете.

Д: Вот этого я не знаю.

Б: Он был классиком, но классицизм у нас был в загоне, поэтому он главным образом работал как археолог. Вот. Так что в археологических экспедициях на юге России — он почти всегда там бывал. Потому что греческий язык и так далее. Греческие колонии раскапывал, между прочим. Ну вот, Шульц. Человек очень культурный, очень образованный. Вот он был. Кто там был еще?.. Была жена Пастернака.

Д: Которая? Зинаида Николаевна Нейгауз? [51]

Б: По-видимому, это была она, я не помню. Первую я не знал совсем. А вот эту, вторую, я знал только, да. Я ее еще где-то видел, тоже с ним. Ну вот... Кто-то еще был... Несколько человек... было таких деятелей искусств...

Д: Ну и как это воспринималось все?

Б: Нет, это действительно воспринималось должным образом. Все очень оценили этот перевод... Существенно...

Д: А Вы считаете этот перевод... ну, он не уводит от Гёте? Нет?

Б: Видите ли, немножко да. Но и все переводы...

(*Пропуск в записи по техническим причинам.*)

Д: ...и наоборот, скажем, Шиллер и Жуковский — «Шильонский узник» — это, говорят, совсем разные вещи [52]. Или там «Сосна» и...

Б: Да. Это верно. Но дело-то в том, что все-таки я предпочитаю такой перевод, чем перевод бездарного человека, не поэта.

Д: Ну это конечно.

Б: Не поэта. Жуковский был поэт. Вот. И потом, все-таки его переводы... и когда уводит от автора, но уводит не вниз, а немножко, может быть, в сторону, но на той же высоте. Нет ничего хуже, когда переводчик снижает...

Д: Ну это конечно.

Б: А бездарные переводчики все снижают и опошляют текст. Про... Пастернака этого сказать нельзя.

Д: Ну, такая вершина... это вопрос особенно сложный.

Б: Да. Ну и перевод, в общем, конечно, очень хороший.

Д: Очень сильный, да?

Б: Мне он очень понравился, перевод. Вот тогда я его слышал, а потом я его никогда не перечитывал.

Д: Он одно время только этим и жил, переводами. А с Борисом Леонидовичем у Вас никаких разговоров не было?

Б: Разговоры были и тогда, вот на том вечере, скажем, были разговоры. Потом тогда, значит, так: для него была специально приготовлена бутылка такого сухого вина. Он эту бутылку сухого вина выпил целиком. Никто больше не пил, потому что пьющих не было. Я не пил, эти художники не пили. Вот. Он один выпил. И после этого очень разговорился, и разговорился на общие темы: о поэзии вообще, о языке поэзии. Я помню, интересная была беседа. И я в ней принимал, конечно, тоже участие, и все принимали участие. Потом о... Союзе писателей, писательском Союзе, который он подвергал критике очень резкой тогда за то, что они, в сущности говоря, интересов писателей не защищают... что они защищают интересы...

Д: А вот из того, что он говорил о поэзии, Вы ничего не запомнили?

Б: Ну, я запомнил только одно: его точка зрения была такая, что поэзия, язык поэзии должен быть

максимально близок к языку разговорной речи, но не к практической стороне разговорной речи, а вот тот элемент свободы разговорной речи, которая ей присуща... Вот разговорная речь боится и не любит литературных штампов — вот это как раз главное, главное. Никаких штампованных, литературных, правильных, так сказать, культурных элементов не должно быть в поэтическом языке. Поэтический язык должен быть максимально свободен — выпущенный на волю язык, и в этом отношении он близок к разговорному. Вот. Да.

Д: Ну, Михаил Михайлович, это еще можно Вас завести на целую... относительно Пастернака. Это очень все интересно, но я бесконечно Вам благодарен. У меня осталось тут пленки минут на десять, и я хочу сделать такую композиционную виньетку... (*Смеется.*) Простите за такое действительно снижающее выражение. Мне хочется, чтобы Вы в конце почитали... вот тут минут десять самое большее... стихи.

Б: Ну, сейчас я не могу читать.

Д: Вы замечательно... Ну просто вспомните, какие Вы стихи любите. Вот некоторые, самые Ваши любимые.

Б: Да... Я очень многие люблю, но читать я сейчас совершенно не могу. Я когда-то умел читать, у меня и голос был...

Д: Вы ч́удно читаете! Вы и Блока читали! Ну, из классиков кого Вы любите очень? Потому что это... интонация ведь тоже очень много дает.

Б: Ну, что...

Д: Ну того же Вашего... Вы, вероятно, могли бы прочитать и на другом языке: и на немецком, и на французском... то, что Вы любите.

Б: Мог бы, да.

Д: Вот. Ну и это я не исключаю.

Б: Нет... Я не знаю даже просто что... Я так бесконечно давно читал стихи...

Д: Как — бесконечно давно? Вы в разговорах со мной... Читайте что хотите. Из Фета?

Б: Но я же не могу сейчас...

Д: Ничего, ничего!

Б:

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна всю жизнь, что ты одна — любовь,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во звуках этих чудных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.

Что нет обид судьбы и сердца тяжкой муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой! [53]

Прекрасные стихи. Но читать их я не...

Д: Это Фет?

Б: Но это в связи вот с Марией Вениаминовной я вспомнил, очевидно, вот, — с ее музыкой, вот... Но стихи, вообще-то, прекрасные. Стихи эти я...

Д: Конечно, да. Это как раз поэт, которого я плохо знаю и понимаю.

Б: Но эти же стихи ж прекрасные, которые я прочитал.

Д: А Тютчева Вы любите?

Б: Тютчева? Ну что же Тютчева?.. Ну... Я вот его знаю... Как же не знать.

Д: «Фонтан», скажем.

Б: А?

Д: «Фонтан»... Помните, нет? «Смотри, как облаком живым...» Или вот Вы... Я его... не доходит он до меня очень — ну вот, прочтите из Вячеслава Иванова что-нибудь.

Б: Вячеслав Иванов? Видите, вот его так-то ведь трудно читать. Ну, что ж его можно прочитать? Ну вот, скажем, вот «Песни из лабиринта» — Вы не знаете?

Д: Нет. «Песни из лабиринта»?

Б: «...из лабиринта», да. Лабиринт — это память человека о детстве и даже дальше детства... Вячеслав Иванов тоже разделял те взгляды, что память человека уходит в бесконечную даль, она ничем не ограничена.

Д: Ой, мне тоже так кажется. (*Смеется.*)

Б: Ну как же, об этом, как Вы знаете, очень многие философы...

Д: Я не знаю ничего философов, но... (*Смеется.*)

Б: Платон, а потом из новых философов — Бергсон. У него есть замечательная книга, его лучшая книга, я считаю, — «Материя и память», где он доказывает бесконечность нашей памяти, что мы-то помним только то, что нам практически нужно, а все остальное мы, так сказать, забываем, но при определенных обстоятельствах — во сне, в опьянении, при заболеваниях некоторых — все это вдруг мы вспоминаем. Или как Гумилев считал, что существует память тела, и вот эта память тела... как-то это?..

Д: «Только змеи сбрасывают кожу...» [54]

Б: Да. «...Мы меняем души, не тела...» и прочее.

Ну вот из «Песен о лабиринте» [55]. Ну, они очень своеобразны, написаны они немецким книттельферсом — вот, такой особый ритм, хромающий несколько, чуть-чуть [56]. (*Откашливается.*) Ну да, тут... моя интонация, видите, мой голос и дикция никуда не годны.

С отцом родная сидела.
Молчали она и он.
И в окна ночь глядела...
«Чу, — молвили оба, — звон».
И мать, наклонясь, мне шепнула:
«Далече звон. Не дыши».
Душа к тишине прильнула,
Душа потонула в тиши.
И слышать я начал безмолвье.
(Мне было три весны.) —
И сердцу доносит безмолвье
Заветных звонов сны.

По-моему, изумительное стихотворение.

Д: Да, и до меня дошло.

Б: По глубине и по тону. Или вот из «Песен из лабиринта» другое... только, может быть, я кое-что навру. Вот:

Мой луг замыкали своды
Истонченных мраморных дуг.
Часы ль там играл я иль годы
Меж бабочек — легких подруг?

(*Задумывается надолго вспоминая.*)

...Далось мне рукой проворной
Крылатый луч поймать...
И к ним...

(*Вспоминает.*)

— ...Отец и мать сидели...
...И к ним пришел я богатый
Поведать новую быль.
Серела в руке разжатой,
Как в урне могильной, пыль.
Отец и мать глядели.
Немой ли то был укор?
Отец и мать глядели:
Тускнел неподвижный взор.
И старая скорбь мне снится,
И хлынет слеза из очей...
И в темное сердце стучится
Порханье живых лучей.

Чудесное стихотворение! Чудесное стихотворение! Вот. Но нужно сказать, просто как-то не понимают Вячеслава Иванова.

Д: Да, он труден...

Б: Глубоко символические вот эти все стихи. Потом, они насыщены совершенно живым, реальным переживанием. Вот этого никак не понимают. Думают, что у него искусственная поэзия. Какая это искусственная? Это действительно воспоминание детских вот этих снов, которые потом кладут отпечаток на всю человеческую жизнь. Вот эта: «...старая скорбь мне снится...» Ему удалось поймать. Поймал он луч, а оказалось — могильный прах: «...как в урне могильный прах...» Это же нельзя, так сказать, никак передать прозой, а вот в стихах и вот в этом детском сне... Это прекрасно...

Д: Прочтите какой-нибудь маленький хотя бы отрывочек, там из «Фауста»... или просто стихотворение какое-нибудь Гёте по-немецки.

Б: Боюсь, я тоже буду врать. Ну, давайте из Гёте. Ну, «Zueignung» знаменитую, посвящение к «Фаусту».

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Ihr drängt euch zu! nun gut so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.
Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage,
Und manche liebe Schatten steigen auf;
Gleich einer alten, halbverklungen Sage
Steigt erste Lieb und Freundschaft mit herauf...

Д: Ну, достаточно.
Б: Кончается:

Was ich besitze, seh ich wie im Weiten
Und was verschwand, wird mir zu...

Забыл.

Д: А французского ничего не помните?
Б: Французского... Тоже помню, конечно, но вот... По-французски что бы Вам прочитать подходящее?..

(*Магнитофон выключен и включен вновь.*)

Д: Читайте.
Б:

Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge,
Und keine Heimat kennen in der Zeit.
Das sind die Wünsche: leise Dialoge
Täglicher Stunden mit der Ewigkeit.
Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern
Die einsamste von allen Stunden steigt,
Die anders lächelnd als die andern Schwestern,
Dem Ewigen entgegenschweigt [57].

Великолепно! Великолепно!
Д: Ну, и чтобы совсем...
Б:

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d'ètranges fleurs sur des étagères,
Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous échangerons un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux;

Et plus tard un Ange, entrouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes [58].

Это сонет.
Д: Это сонет Бодлера?
Б: Да, Бодлера, Бодлера.

Д: Ну, и самое последнее...

Б: Да!

Д: Что Вы больше всего любите Пушкина?

Б: На этот вопрос вот очень трудно мне ответить. Знаете, я Вам скажу...

(*Магнитофон выключен и включен.*)

Д: Давайте сначала.

Б: Да, но я не вспомню.

Когда для смертного погаснет шумный день
И на пустые стогны града
Полу... полу... наляжет ночи тень...
И сон, дневных трудов награда...
Воспоминания свой развивают свиток...
И с отвращением читаю жизнь...

Ну нет, все перепутал...

Я вижу вновь друзей...
Привет на играх Вакха и Киприды!
И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотвратимые обиды... [59]

Д: «И с отвращением...»

Б: Нет, это нельзя так. Предварительно просто глазами посмотреть — я бы вспомнил.

Д: Я боюсь Вашей хозяйки, а то бы мы это сделали. Ну хотя бы кусочек... Мне хочется цельное звучание. Ну хотя бы кусочек «Медного всадника». Это уж обязательно Вы помните.

Б: Кусочек «Медного всадника»? Ну, вот, хотя бы начало.

Д: Давайте.

Б:

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плескаясь шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной...

(*Задумывается.*)

Д:

В ту пору из гостей домой
Пришел...

Б:

Пришел Евгений молодой.
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо уж как-то дружно.
Прозванье нам его не нужно.
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и звучало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало,
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Мой герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,

(*сначала оговаривается: вместо «родне» говорит «Рабле», потом поправляется и смеется*)

Ни о забытой старине.

Или вот такое вот... Да. Да нет, я не могу...

Д: Ну ладно... Михаил Михайлович, у нас просто нет слов, чтобы выразить Вам благодарность.

Б: Да ну, какую там благодарность! Извините меня, что я так нескладно все время... С моей памятью...

Д: Ну вот сейчас, раньше, чем придет Галина Тимофеевна и меня выгонит, я хочу выключить магнитофон. Все. Закончено. Шестая, и последняя, беседа с Михаилом Михайловичем Бахтиным.

Б: Ну, я Вам... С Вами было очень приятно беседовать.

Д: Все!

БАХТИН В ЖИВОМ ДИАЛОГЕ

С записями бесед М.М. Бахтина и В.Д. Дувакина мне довелось знакомиться последовательно в двух разных воплощениях: сначала на страницах журнала «Человек», где устная речь собеседников была так или иначе «упорядочена» путем сокращений и правки (и, можно сказать, приближена к письменной речи), а затем уже по сохраняющей характер устной речи «расшифровке», которая более или менее полно представлена и в этой книге. И должен признаться, что «неупорядоченный» текст произвел на меня существенно иное и намного более сильное впечатление.

Вспоминаю в связи с этим суждение Михаила Михайловича о своего рода первородном грехе науки о языке. Эта наука складывалась, говорил он, на пути изучения слова уже м е р т в о г о (прежде всего — латыни), ч у ж о г о (к чужому слову — как и к мертвому — гораздо легче подойти как к о б ъ е к т у познания), п и с ь м е н н о г о и воспринятого в качестве м о н о л о г и ч е с к о г о (слово данного автора, замкнутого в своем мире).

Но совокупность всех этих атрибутов свойственна только одному — и к тому же не принадлежащему к наиболее существенным — проявлению человеческого слова, одному из многочисленных и многообразных ж а н р о в р е ч и (пользуясь бахтинским же понятием); ведь весь необозримый океан Слова предстает перед нами главным образом как слово живое, родное, устное и в конечном счете диалогическое (так, каждый его момент содержит в себе ответ на нечто произнесенное ранее и вопрос, ждущий ответа).

Михаил Михайлович склонен был утверждать, что термин «язык» в том его значении, которое выступает в языкознании, в лингвистике, подразумевает не слово в его реальной природе, а созданный языковедами

специфический «предмет науки», искусственную «модель», позволяющую в известной мере исследовать слово, однако все же в весьма или даже крайне ограниченной мере. За пределами языкознания остается не только абсолютно преобладающее, но и «главное» бытие слова, которое, по знакомому многим удивительному бахтинскому определению, есть почти все в человеческой жизни. Он выдвигал поэтому задачу создания металингвистики (термин этот имеет распространение, но в совсем иных значениях; нисколько не совпадает с бахтинским разграничением «языка» и «слова» и соссюровская дихотомия «язык — речь»).

И как мне представляется, первостепенная ценность данной — более или менее адекватной — публикации записи бесед М.М. Бахтина с В.Д. Дувакиным состоит в том, что она дает возможность воспринять живое и открыто диалогическое слово человека, который сыграл неоценимую роль в познании этого самого слова.

Правда, глубокая суть зафиксированного здесь диалога не раскрывается легко и просто. Уместно в связи с этим сослаться на одно место в книге — суждения Михаила Михайловича о творчестве Велимира Хлебникова:

«Он умел, так сказать, отвлекаться от всего частного и умел уловить какое-то бесконечное, неограниченное целое... Он как-то все это сумел, внутренне как-то, и пережить, и обратить в слова. Но слова, конечно, такие, которые, если их понимать как обычные переживания, как — ну, слова о частных вещах, частных переживаниях, частных людях, — их понять тогда действительно нельзя. Нельзя. А вот если как-то суметь понять, войти в струю его космического, вселенского мышления, тогда все это становится понятным и в высшей степени интересным».

В публикуемых беседах речь идет главным образом именно о «частных вещах», но необходимо «суметь понять», «войти» в мышление, развертывающееся — пользуясь одним из любимых бахтинских выражений — в плане «большого времени». Это, разумеется, вовсе не означает, что высказывания Михаила Михайловича о «частных вещах», особенно о встреченных им на жизненном пути людях, не представ-

ляют высокого интереса. Но необходимо все же углубиться в дух целого, воплощенный не столько в отдельных суждениях, сколько в их взаимосвязи, в самом движении диалога.

* * *

Михаил Михайлович беседует с незнакомым, впервые явившимся перед ним и — при всех возможных оговорках — весьма далеким от него человеком. Я хорошо знал Виктора Дмитриевича Дувакина, который — о чем он и упоминает — и услышал-то о существовании Михаила Михайловича от меня (он говорит: «Я от него услышал... Я не знал, где Вы, что Вы... и какой Вы...»).

Еще в 1950—1954 годах я участвовал в работе дувакинского семинара на филологическом факультете МГУ. Тогда это был, пожалуй, самый «вольнодумный» из факультетских семинаров. На его занятиях задавал тон горячий и яркий студент Станислав Лесневский, нередко появлялся бывший его участник, а в то время аспирант Андрей Синявский, за поддержку которого Виктор Дмитриевич позднее, в 1966 году, будет лишен преподавательской работы и в конце концов волей-неволей станет заниматься записью бесед с различными деятелями культуры...

Виктор Дмитриевич «знал одной лишь думы власть» — думы о Маяковском и обо всем, что так или иначе с ним связано (это, правда, достаточно широкий круг явлений); то, что ни в коей мере не соотносилось с Маяковским, оставалось для него как бы в тени. Это, кстати сказать, ясно из публикуемых бесед. Так, Виктору Дмитриевичу, оказывается, вообще не был известен не только чуждый Маяковскому Серен Киркегор, но и, как можно предположить, исходя из его высказываний, Василий Белов, которому в свою очередь был чужд Маяковский (хотя к 1973 году, когда состоялась беседа, Белов издал уже более десятка книг и находился в центре внимания всей современной критики...).

Я говорю об этом, в частности, для того, чтобы «прокомментировать» упоминания в беседах обо мне лично. Виктор Дмитриевич вначале не без обиды замечает: «...он мне теперь не звонит», а затем даже

предъявляет тяжкое обвинение, что я-де «исчез» из-за истории с Синявским, после которой Виктор Дмитриевич оказался в «неблагонадежных». Полагаю, что Михаил Михайлович достаточно убедительно опроверг сие подозрение (упомяну только, что тогда же, в 1966-м, я подписал характерное для тех лет «письмо» в защиту Виктора Дмитриевича, о чем он почему-то не знал). И Виктор Дмитриевич в конце концов говорит обо мне:

«Ну, может, ему просто неинтересно стало» (беседовать с ним). Каюсь: диагноз верен. Маяковский и его мир начиная с 1960-х годов интересовали меня мало. Каюсь и одновременно восхищаюсь этим не жалеющим себя (а многие ли способны на такое!) выводом Виктора Дмитриевича Дувакина, память о котором в моей душе неизменна и светла...

Не исключен вопрос: а «интересно» ли было Михаилу Михайловичу вести диалог с таким собеседником? Нетрудно заметить, что Виктор Дмитриевич предлагал в основном два типа вопросов: одни, так сказать, «по службе», а другие — «по душе» (исходя из известной строки его кумира). Поскольку он исполняет задание университета, Виктор Дмитриевич то и дело просит Михаила Михайловича рассказать о профессорах и вообще о педагогических делах; с другой же стороны, его остро интересовал мир поэзии XX века, в центре которого, по его убеждению, находился Маяковский (что ясно из множества его суждений в ходе бесед). И Виктор Дмитриевич постоянно стремится ввести разговор в эти два русла.

Между тем ни поэзия, ни тем более педагогика не были в ц е н т р е интересов Михаила Михайловича в его поздние годы. Он разрабатывал эстетику и поэтику п р о з ы (что явилось одним из его фундаментальных вкладов в мировую культуру), да и в личном читательском плане его по-настоящему привлекала тогда только принципиально «философская» поэзия (закономерно, что «любимый» его поэт — Вячеслав Иванов).

Что же касается проблем преподавания, Михаил Михайлович, не раз очень высоко оценив уровень русских гимназий и университетов, вместе с тем подвел итог с полной определенностью: «...основное все-таки я приобрел путем самостоятельных занятий. Это

все и всегда. Потому что не могут, по самой сути дела, не могут вот такие учебные заведения, официальные, давать такое образование, которое могло бы удовлетворить человека. Когда человек им ограничивался, то он, в сущности, превращался... в чиновника от науки» (в свете этого особо многозначительно выглядят недавние разыскания Н.А. Панькова, дающие основание для вывода, что Михаил Михайлович не окончил ни университета, ни даже гимназии...).

Итак, 22 февраля 1973 года к М.М. Бахтину (которому оставалось жить немногим более двух лет) пришел совершенно незнакомый ему ранее человек с магнитофоном и стал задавать вопросы, не связанные с основными творческими устремлениями собеседника. И тем не менее диалог получился в конце концов и значительным, и, без сомнения, откровенным.

Виктор Дмитриевич, который (как выяснилось в первом же разговоре), впервые слышит столь важные для Михаила Михайловича имена Пауля Наторпа, Эрнста Кассирера, должен был, казалось бы, разочаровать. Но диалог развивался и разгорался. И мне представляется, что первостепенную роль сыграл здесь душевный склад Виктора Дмитриевича, в котором всегда жило нечто неувядаемо юношеское, даже детское (в самом добром смысле этого слова), способность свежего — как бы первоначального — восприятия.

Когда я встретился с Виктором Дмитриевичем в университете, он, уже перешагнувший в пятый десяток, общался с нами, вчерашними школьниками, не столько «по-отечески», сколько как старший брат. И Виктор Дмитриевич явно сохранил в себе эти свойства ко времени бесед с Михаилом Михайловичем; тех читателей, которые не знают о его возрасте, вероятно, удивит сообщение, что ему тогда уже пошел шестьдесят пятый год... Поистине трогательно, что Виктор Дмитриевич не раз побуждал Михаила Михайловича дуэтом декламировать стихи — в том числе и Маяковского...

И еще об одном. Тот факт, что Михаил Михайлович так охотно «раскрывался» перед незнакомым собеседником, вообще-то закономерен: люди нередко исповедуются именно перед незнакомцами — например, попутчиками в дороге. Кстати сказать, у Досто-

евского есть поистине бесподобный — хотя и предельно лаконичный — очерк, касающийся этой темы: «Маленькие картинки (В дороге)». Михаил Михайлович как-то говорил о нем не без восхищения, но миниатюра эта словно затерялась в собраниях сочинений Достоевского (в новейшем из них, в 23-м томе), ее почти никто не знает.

* * *

Главную ценность этой книги я усматриваю, как уже говорилось, в предъявлении самого диалогического слова Михаила Михайловича. Но большое значение имеют, конечно, и многочисленные конкретные суждения — в том числе подчас даже высказанные мимоходом и между прочим. Хочу обратить внимание на одну такую — в конечном счете очень существенную — беглую реплику.

Рассказывая о своем — исключительно раннем — духовном становлении, Михаил Михайлович сообщает: «Достоевского я знал уже с одиннадцати-двенадцати лет... И несколько позже, с двенадцати-тринадцати лет, я уже начал читать серьезные классические книги. В частности, Канта я очень рано знал... Притом, нужно сказать, понимал, понимал». Тут же он говорит и о том, что еще в Одессе, то есть еще до 1914 года, начал основательнейшим образом изучать труды философов Марбургской школы, особенно Германа Когена, который строил свою «систему», по определению Михаила Михайловича, «на строгих основах кантианства», и «это был замечательный философ, который на меня оказал огромное влияние». А повествуя о своей жизни с 1923—1924 годов в Петербурге-Ленинграде, Михаил Михайлович между прочим замечает, что еще и тогда «был таким заядлым кантианцем».

Но из этого естественно вытекает, что позднее Михаил Михайлович, согласно его собственному представлению, так или иначе «преодолел» кантианство. В связи с этим невольно вспоминаются суждения ряда современных исследователей бахтинского творчества. Автор большого количества (около тридцати!) работ, касающихся наследия Бахтина, Г.С. Морсон (США) еще в 1986 году пришел к выводу, что «наиболее интересная и новаторская деятельность

Бахтина связана как раз с тем обстоятельством, что он значительно перерос свое неокантианское происхождение» (Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1994, № 1. С. 65). Позднее о том же написала член редколлегии этого «бахтинского» витебского журнала Кэрол Эмерсон (США), предложившая «понять Бахтина двадцатых годов (вернее, второй их половины. — *В.К.*)... как философа, критически пересматривающего свое юношеское неокантианство... в критический момент его мышление снова мощно влилось в русло русских духовных традиций самым поразительным образом» (там же, 1993, № 2-3. С. 7).

Это «стороннее» видение существа дела стоило бы учесть тем российским бахтиноведам, которые склонны рассматривать Михаила Михайловича как заведомого неокантианца (что характерно, например, для сочинений Н.К. Бонецкой). Мое замечание вовсе не означает, что Михаил Михайлович вообще «отказался» от достижений философских наставников своей юности. Деятельнейший бахтинист В.Л. Махлин, обсуждая проблему, «откуда взялся Бахтин», справедливо говорил, что в ранних работах (на мой взгляд, даже и не только в ранних) Михаила Михайловича присутствует «терминологический аппарат» неокантианства.

Терминология, конечно же, воплощает в себе — как и форма вообще — существенные, содержательные свойства мышления. Едва ли можно сомневаться в том, что бахтинское творчество было бы вообще невозможно без освоения самой методологии, выработанной новейшей германской (причем именно и только германской) философией, — методологии, позволившей объективно «изучать» жизнь сознания или, если высказаться в более высоком стиле, жизнь духа (см. об этом подробно в моей статье «Бахтин и его читатели. Размышления и отчасти воспоминания», опубликованной в № 7 журнала «Москва» за 1993 год и перепечатанной в № 2-3 упомянутого витебского журнала за тот же год).

Но само содержание трудов Михаила Михайловича (то есть сама жизнь духа) было — как совершенно верно говорит в цитированной выше статье Кэрол Эмерсон — мощным развитием русских духовных традиций. Это доказывается, помимо прочего, громадным интересом Запада к бахтинскому наследию, ин-

тересом, который был бы непонятен, если бы Михаил Михайлович двигался в русле западного мышления конца XIX — начала XX века. Хотя вместе с тем можно, по-видимому, полагать, что в период своего становления Михаил Михайлович разрабатывал не столько «идеи», сколько «методы», и в той или иной мере оставался в рамках кантианства (он, как мы видели, склонен определять Марбургскую школу словом «кантианство», а не общепринятым теперь «неокантианство», считая ее представителей прямыми продолжателями Канта).

О самом же важном в «соотношении» М.М. Бахтина и Марбургской школы В.Л. Махлин справедливо говорит следующее: «...русский философ создает иную конкретную систему... в которой единство мира определяется как "онтологически-событийная разнозначность"»; далее исследователь приводит бахтинское суждение 1928 года (когда Михаил Михайлович уже не был «кантианцем» или, скажем так, «марбуржцем»): «Реального бытия, определяющего познание и этическую оценку, Коген не знает. Идеологический кругозор, лишенный притом конкретности и материальности и синтезированный в абстрактное систематическое единство, является для Когена последней реальностью» (Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1994, № 4. С. 125).

Михаил Михайлович помнил прочитанные им в 1926 году стихи Всеволода Рождественского и воспроизвел их так:

Вот была такая большая... — будут говорить на Западе, —
Была такая большая глупая страна, — да, —
Но петь, как порой она певала,
Вам не удастся никогда.

Это можно отнести и к музыке мысли самого Михаила Михайловича...

Подводя итог, замечу, что «мимоходное» суждение Михаила Михайловича «я был таким заядлым кантианцем» существенно не вопреки, а именно благодаря своей «мимоходности»: речь явно идет о давно решенном — был и, значит, перестал быть. И это неоспоримое подтверждение процитированных выше выводов Г.С. Морсона, К. Эмерсон и В.Л. Махлина.

Я сосредоточил внимание на одной мельчайшей детали бахтинских бесед, но такого рода многозначительных деталей в публикуемом тексте немало, и они, надо думать, сыграют свою весомую роль в познании творчества М.М. Бахтина в его соотношении с породившей его исторической эпохой.

Для подтверждения сказанного считаю целесообразным вспомнить об одном эпизоде из истории второго издания книги Михаила Михайловича о Достоевском. Когда вопрос об издании был в принципе решен, заведующая редакцией вдруг выдвинула «обязательное» условие: убрать из книги нередко употребляемый в ней характерный для неокантианства термин «интенция», ибо это, мол, термин «буржуазной идеалистической философии».

Инициатором сего была, очевидно, имевшая чрезвычайно большой авторитет в издательстве критик Е.Ф. Книпович. Когда-то эта женщина — последняя пассия Александра Блока (что отражено в его дневниках) — едва ли чуждалась «идеалистической» философии, но позднее стала поборницей марксистской ортодоксальности.

Термин «интенция» играл в книге немалую роль, и я был весьма озабочен редакционным требованием, предполагая, что оно возмутит Михаила Михайловича и он может даже вообще отказаться его исполнить. Но вопреки моим ожиданиям Михаил Михайлович без всяких раздумий согласился заменить термин адекватными по смыслу словами или словосочетаниями и немедля осуществил это. И как мне представляется, в его готовности убрать существенный неокантианский термин выразился его отход от пристрастий молодых лет (между прочим, сопоставление с этой точки зрения первого и второго изданий книги о Достоевском могло бы стать темой небезынтересного исследования).

* * *

В заключение нельзя не сказать несколько слов о том, что в публикуемых беседах Михаил Михайлович так или иначе является в своей жизненной цельности; это выражается и в его рассказах, касающихся нередко самых «неофициальных» бытовых и душевных

подробностей, и в самом ходе бесед. Так, в них присутствует третий «участник» — бахтинская к о ш к а, которая играла весьма значительную роль в его жизни последних лет.

Летом 1972 года я вместе со своей женой, филологом Е.В. Ермиловой, навещал в очередной раз Михаила Михайловича, который жил тогда в писательском Доме творчества в Переделкине. В кустах около корпуса, где жил Михаил Михайлович, прятался котенок (уже не очень маленький — «подросток»), и, так как Елена Владимировна принадлежит к страстным любительницам кошачьего племени (к тому же котенок был особенно ценимый — трехцветный), она взяла его на руки, приласкала и посадила на подоконник, чтобы Михаил Михайлович мог им полюбоваться. Неожиданно он проявил горячий интерес к рыже-черно-белому зверьку и захотел оставить его у себя, а осенью привез в свою только что купленную московскую квартиру. Его заботы о «кисаньке» (как он ее звал) были даже удивительны; так, полагая, что ей скучно, он впоследствии попросил поселить в квартире еще одну кошку (к этой — простецкой серенькой компаньонке — он был равнодушен). Вокруг «кисаньки» возник своего рода миф: Михаил Михайлович уверял, что она — с ее нестандартной, угловатой и удлиненной (и трехцветной) фигурой — прямой потомок древнеегипетских храмовых кошек, и считал ее — не знаю, было ли это действительно так, — полностью лишенной слуха (что рассматривалось как некая избранность).

Рассказать об этом стоило потому, что кошка не раз возникает в публикуемых беседах (к тому же часть упоминаний о ней опущена), и мои пояснения делают это понятным и оправданным. И по-моему, не будет натяжкой утверждение, что и кошка эта в сознании Михаила Михайловича тоже пребывала в «большом времени»...

Мне вообще хотелось озаглавить этот мой комментарий так: «Бахтинский диалог. От Канта до котенка», но я не решился на сию вольность. Здесь же, в конце, сказать так, пожалуй, уместно...

Вадим Кожинов

Сентябрь 1995

КОММЕНТАРИИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. Мария Вениаминовна Юдина. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1978.

2. Бахтинский сборник, 1. М., 1990. С. 6.

3. Фотографии, публикуемые в книге, предоставлены С.Г. Бочаровым, Л.С. Мелиховой, Ю.М. Каган, В.В. Кожиновым, С.С. Конкиным, А.М. Кузнецовым и Н.П. Перфильевым, а также отделом рукописей РГБ и отделом фонодокументов НБ МГУ. Особо хочется сказать о Николае Павловиче Перфильеве, в семейном альбоме которого сохранились редчайшие фотографии членов семьи М.М. Бахтина. Николай Павлович родился в январе 1907 г., он — деверь Бахтина, муж его младшей сестры Натальи Михайловны.

4. Аверинцев С. Попытки объясниться. М., 1988. С. 35.

5. См.: Фрейденберг О.М. Университетские годы // Человек, 1991, № 3. С. 145—156.

6. М.М. Бахтин как философ. М., 1992. С. 235.

7. Виктор Дмитриевич Дувакин (1909–1982) — литературовед, педагог, более 40 лет проработал в Московском университете. Автор книг: «Радость, мастером кованная». М., 1964. «Rostafenster. Majakowski als Dichter und bildender Kunstler», Дрезден, 1967; 2-е изд. — 1975. Последние 15 лет жизни посвятил созданию фонда устных мемуаров по истории русской культуры начала века, который хранится в отделе фонодокументов Научной библиотеки МГУ. Подробнее о фонде см.: Записка В.Д.Дувакина «О моей работе на кафедре научной информации МГУ» // В сб.: Археографический ежегодник за 1989 год. М., Наука, 1990. С. 306—313.

8. Там же, с. 308—309.

9. Эти беседы легли в основу книги «Н.Тимофеев-Ресовский. Воспоминания», М., «Прогресс», 1995.

ПЕРВАЯ БЕСЕДА

КАССЕТА № 290

Продолжительность беседы — 100 минут

1. Проблемы поэтики и истории литературы: Сб. статей, посвященных М.М. Бахтину в связи с 75-летием со

дня рождения и 50-летием научно-педагогической деятельности. Саранск, 1973.

2. Во всех сохранившихся официальных документах конца XIX — начала XX в., выданных Орловской мещанской управой, братья Николай и Михаил Бахтины названы сыновьями орловского мещанина М.Н. Бахтина, а последний — орловским купеческим сыном. Вопрос о социальном статусе семьи Бахтиных остается одним из непроясненных и загадочных в биографии мыслителя. См. изложения разных взглядов в статьях С.С. Конкина и Н.А. Панькова (Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М.М. Бахтина. Витебск, 1994, № 2. С. 119—137).

3. Пожертвование от орловского помещика Михаила Петровича Бахтина и основание кадетского корпуса относятся к 1835 г. См.: И.А. Меркулов. Орловский Бахтина кадетский корпус // Орловщина: время и бремя реформ. Орел, 1992. С. 124 — 135. Тот же рассказ о предке — основателе корпуса сообщается в биографии старшего брата М. Бахтина, Николая, напечатанной по-английски (см. прим. 11), но предок назван двоюродным прадедом.

4. Иван Георгиевич Петровский (1901–1973) — математик, академик, ректор МГУ (1951–1973).

5. Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890—1939) — князь, литературный критик. После революции эмигрировал, был близок к евразийскому движению. Автор известной «Истории русской литературы» на англ. яз. (1927). В 1930 г. вступил в Компартию Великобритании, в 1932 г. вернулся в Россию. За пять лет до своего ареста в 1937 г. опубликовал в советской прессе много критических статей о современной советской, русской и английской литературах.

6. Мать М.М. Бахтина Варвара Захаровна Бахтина, в девичестве Овечкина, его сестры: Мария Михайловна Бахтина — старшая, Екатерина Михайловна Бахтина и младшая — Наталья Михайловна Бахтина, в замужестве Перфильева, умерли от голода во время блокады Ленинграда в январе 1942 г. Похоронены (предположительно) на Серафимовском кладбище в братской могиле. Чудом уцелел и выжил сын Натальи Михайловны, Андрей Николаевич Перфильев, тогда пятилетний мальчик. Четвертая сестра, Нина Сергеевна Борщевская (Барщевская), приемная дочь Бахтиных, умерла в одной из больниц Ленинграда в 1944 г. от прямых последствий перенесенного голода. Приведенные выше сведения получены от Николая Павловича Перфильева, которому эта публикация обязана и семейными фотографиями Бахтиных. Дай Бог ему здоровья!

7. Елизавета Тихоновна Ситникова (1906–1978) — двоюродная сестра М.М.Бахтина. Известно, что Александра Захаровна (мать Елизаветы Тихоновны) и Варвара Заха-

ровна (мать М.М. Бахтина) — родные сестры. Других сведений о родстве М.М. Бахтина и Е.Т. Ситниковой пока нет.

8. Иоахим Лелевель (1786—1861) — польский историк и патриот, идейный вождь польского восстания 1830—1831 гг.

9. А.В. Круковский — автор многих работ о русских писателях и поэтах. См. список его работ в кн.: История русской литературы XIX в. Библиографический указатель под ред. К.Д. Муратовой. О Тургеневе: Русская женщина в изображении Тургенева // Журнал Министерства народного просвещения, 1914, № 8. В этом же журнале (1916, февраль) — «Два учебных заведения» (вторая статья из цикла «Очерки педагогического прошлого в Северо-Западном крае» — о том самом Виленском учебном округе, где учились в гимназии братья Бахтины).

10. Лев Васильевич Пумпянский (1891—1940) — филолог, историк культуры, профессор Ленинградского университета (в 30-е годы). Автор книги «Достоевский и античность» (Пг., 1922), с которой вышедшую позднее книгу Бахтина о Достоевском связывают теоретические переклички, цикла статей о Тургеневе конца 20-х — начала 30-х годов, в которых он откликался на книгу Бахтина, и фундаментальных работ о русской литературе XVIII в., о Пушкине, Гоголе, Тютчеве, Лермонтове, а также о немецкой литературе XVII в. — См.: Н.И. Николаев. О теоретическом наследии Л.В. Пумпянского // Контекст-1982. М., 1983. С. 289—303. О совместной деятельности Бахтина и Пумпянского в рамках так называемой невельской школы философии см. в работах того же автора: Н.И. Николаев. Невельская школа философии / М. Бахтин, М. Каган, Л. Пумпянский в 1918—1925 гг.: по материалам архива Л. Пумпянского // М.М. Бахтин и философская культура XX века. Ч.2. СПб, 1991; а также: Лекции и выступления М.М. Бахтина 1924—1925 гг. в записях Л.В. Пумпянского // М.М. Бахтин как философ. М., 1992. Подробнее о Пумпянском Бахтин рассказывает в последней, шестой беседе с Дувакиным.

11. Николай Михайлович Бахтин (1894—1950). Будучи погодками, братья были одновременно в Виленской и Одесской гимназиях, Новороссийском и Петроградском университетах, вплоть до событий 1917—1918 гг., когда их пути разошлись навсегда. Изложение М. Бахтиным жизненного сюжета старшего брата (эмиграция с добровольческой армией в 1920 г., служба в Иностранном легионе в Северной Африке в начале 20-х годов, пребывание в Париже, в круге Д.С. Мережковского (1866—1941) и З.Н. Гиппиус (1869—1945), и выступления в русских парижских журналах «Звено» и «Числа» во второй половине 20-х — начале 30-х годов, защита диссертации в Кемб-

риджe в 1932 г., затем профессорская деятельность в Кембридже, Саутгемптоне и с 1938 г. до конца жизни в Бирмингемском университете) соответствует сведениям, содержащимся в двух биографических очерках, опубликованных в кн.: Nicholas Bachtin. Lectures and Essays. University of Birmingham, 1963, p. 1 — 16 (сборник включает не опубликованные при жизни работы Н. Бахтина, в том числе упомянутые Михаилом Михайловичем доклад о Пушкине и воспоминания об Иностранном легионе), и в Oxford Slavonic Papers, 1977, v. X. Оба очерка обходят молчанием вступление Н. Бахтина во время Второй мировой войны в английскую компартию; в конце жизни он оказался среди «коммунистов из лордов». В последнее время Н.М. Бахтину посвящено несколько публикаций в наших изданиях: Пятые тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 211—245; М.М. Бахтин и философская культура XX века. Ч. 2. СПб., 1991. С. 122—135; Шестые тыняновские чтения. Рига — Москва, 1992. С. 256—269. Статьи парижского периода собраны в книге, подготовленной С. Федякиным: Н.М. Бахтин. Статьи. Эссе. Диалоги. М., 1995. В ней перепечатана заметка Г. Адамовича «Памяти необыкновенного человека», открывающаяся словами: «Это был один из самых даровитых людей, которых приходилось мне в жизни встречать». Опубликовано также письмо друга юности Н. Бахтина, М.И. Лопатто, от 5 марта 1951 г. с яркими характеристиками его личности: «...он подавал самые блестящие надежды и был одним из самых гениальных людей, которые когда-либо жили на свете... В то время как другие пожинают плоды своих открытий, такие умы, как Бахтин, не оставляют имени, они оставляют рассеянные повсюду откровения...» (Пятые тыняновские чтения. С. 232, 236—237).

Взаимоотношения двух братьев Бахтиных, столь близких по интересам (оба — филологи-классики, ученики Ф.Ф. Зелинского, яркие культурфилософы), равных по интеллектуальному уровню и столь различных по судьбе и по творческим результатам их деятельности, — проблема для биографов М.М. Бахтина.

Автор книги об «истории психоанализа в России» замечает: «Вероятно, общение с братом носило тот вопрошающий, провоцирующий и возражающий характер, который стал для Михаила Бахтина образцом подлинного диалога» (А. Эткинд. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб., 1993. С. 389).

12. Сергей Александрович Коновалов, сын А.И. Коновалова, миллионера и министра торговли и промышленности Временного правительства, специалист по русской истории, литературе и общественной мысли, профессор в Кембридже и Бирмингеме, пригласил Николая Бахтина перебраться в Англию.

13. Александр Иванович Томсон (1860–1935) — лингвист, ученик Ф.Ф. Фортунатова, специалист по индоевропейскому, славянскому и русскому языкознанию, профессор Новороссийского университета в Одессе с 1897 г. до конца жизни. Учебник А.И. Томсона — «Общее языковедение». Одесса, 1906. Воспоминания П.С. Кузнецова о Томсоне см.: Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1995, № 2. С. 100—102.

14. Н.Н. Ланге (1858–1921) — известный психолог, создатель одной из первых в России экспериментальных психологических лабораторий при Новороссийском университете. Труд Н.Н. Ланге — «Психологические исследования». Одесса, 1893.

15. Книга этюдов в прозе Шарля Бодлера, вышедшая в Париже в 1861 г. Центральная часть книги — «Пожиратель опиума» — вариации на темы знаменитой книги английского романтика, знатока древних языков, поэта, прозаика, эссеиста, экономиста Томаса Де Квинси (1785–1859) «Исповедь англичанина-опиофага» (1822), написанные Бодлером в связи с его недавней смертью.

16. Неточность: книга по-русски вышла единственный раз (к моменту происходящей беседы) в Петербурге в 1834 г. под названием «Исповедь англичанина, употребляющего опиум», но была приписана Ч.Р. Мэтьюрину, автору романа «Мельмот-скиталец». Книга оказала влияние на Гоголя (как автора «Невского проспекта») и Достоевского. Впервые под именем автора вышла только сейчас: Т. Де Квинси. Исповедь англичанина, употребляющего опиум. М., 1994.

17. Василий Николаевич Мочульский (1856– ?) — профессор русской словесности Новороссийского университета, отец известного литературоведа русского зарубежья Константина Васильевича Мочульского.

18. H. Cohen. Kants Theorie der Erfahrung. Berlin, 1871.

19. Из стихотворения Андрея Белого «Премудрость» (1908) в его книге стихов «Урна» (1909). У Белого — «Профессор марбургский Когэн...»

20. Киркегор в русском переводе был издан еще в конце XIX в.: С. Киркегор. Наслаждение и долг. Пер. П. Ганзена. СПб., 1894. Тем не менее имя его в России оставалось малоизвестным. Такой близкий ему по духу мыслитель, как Лев Шестов, впервые услышал о нем уже в эмиграции, в 1928 г.: «Я вынужден был признаться, что не знаю его, его имя совершенно неизвестно в России... Даже Бердяев, который читал все, его не знает» (Н. Баранова-Шестова. Жизнь Льва Шестова. Т. 2, 1983. С. 12). Юный Бахтин знакомился с Киркегором по-немецки.

21. Киркегор родился в 1813, а умер в 1855 г. — раньше Достоевского.

22. Видимо, собрание сочинений в 12-ти тт., 1909 — 1924.

23. Речь идет о кн.: П.П. Гайденко. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания С. Киркегора. М., 1970.

24. Александр Павлович Казанский — профессор Новороссийского университета, автор кн.: Учение Аристотеля о значении опыта при познании. Одесса, 1891. В книге дан перевод 51 отрывка из сочинения Аристотеля «О душе». Борис Васильевич Казанский (1889—1962) — филолог, близкий к ОПОЯЗу, автор статьи «Речь Ленина» (ЛЕФ, 1924, № 1); сыном А.П. Казанского не был.

25. Освальд Кюльпе (1862–1915) — немецкий философ и психолог. Русское издание его «Введения в философию» — СПб., 1901 (с предисловием П.Б. Струве), 2-е изд. — 1908 (с предисловием С.Л. Франка).

26. С. Трубецкой. Курс истории древней философии. М., 1910.

27. Русское издание — М., 1911.

28. H. Cohen. System der Philosopie; Tl. 1: Logik der reinen Erkenntnis. Berlin, 1902. Tl. 2: Ethik des reinen Willens, 1904; Tl. 3: Ästhetik des reinen Gefühls, 1912.

29. Радловы Николай Эрнестович (1889–1942) и Сергей Эрнестович (1892–1958) — сыновья философа Эрнеста Леопольдовича Радлова, друга Владимира Соловьева и редактора его посмертного собрания сочинений. Оба брата были на историко-филологическом факультете Петроградского университета в одни годы с братьями Бахтиными. В последующие годы Сергей — известный театральный режиссер, в 1923 г. поставил в Ленинградском академическом театре драмы «Эугена Несчастного» Э. Толлера, пьесу, которую вспоминает Бахтин в ходе дальнейших бесед с Дувакиным, в 1935 г. осуществил знаменитую постановку «Короля Лира» в ГОСЕТе с С. Михоэлсом в главной роли; Николай уже в 10-е годы сотрудничает как художник в «Сатириконе», «Новом Сатириконе» и «Аполлоне», в последующем — книжный график, карикатурист, портретист, художественный критик.

30. Матвей Исаевич Каган (1889 — 1937) — философ. Изучал философию в Марбурге, у главы неокантианской школы Германа Когена, а также у П. Наторпа и Э. Кассирера, был доктором философии Марбургского университета, в 1918 г. вернулся в родной Невель, где и познакомился с приехавшим туда в то же время М.М. Бахтиным. Об отношениях М. Бахтина и М. Кагана см.: Ю.М. Каган. О старых бумагах из семейного архива (М.М. Бахтин и М.И. Каган) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1992, № 1. С. 60—88. В составе публикации — автобиографические заметки М.И. Кагана и письма М. Бахтина к нему 1921—1922 гг., а также письма Л.В. Пумпянского к М.И. Кагану и М.И. Кагана к С.И. Каган.

31. Петр Филиппович Якубович-Мельшин (1860 — 1911) — поэт, народоволец, переводил Бодлера. «Цветы зла» в его переводе вышли в Петербурге в 1909 г.

32. «Театр Еврипида» в переводах И.Ф. Анненского под ред. Ф.Ф. Зелинского вышел в изд-ве М. и С. Сабашниковых. Тт. 1—3. М., 1916—1921. В предисловии к т. 2 Ф.Ф. Зелинский признал перевод покойного поэта «довольно-таки слабым» и рассказывал о большой редакторской работе, которую ему пришлось проделать (Т. 2, 1917. С. VII — XXIII).

33. Михаил Михайлович Покровский (1869—1942) — филолог-классик, историк античной литературы и древних языков, ученик Ф.Ф. Фортунатова, академик.

34. Сергей Иванович Соболевский (1864—1963) — филолог-классик, историк древних языков, переводчик, чл.-корр. АН СССР.

35. Сергей Иванович Радциг (1882—1968) — филолог-классик, профессор Московского университета.

36. Михаил Александрович Петровский (1887—1940) — литературовед, переводчик, автор интересных работ по поэтике, в особенности по поэтике новеллы, в 20-е годы. Погиб в репрессиях.

37. Федор Александрович Петровский (1890—1978) — филолог-классик, переводчик. Сборник в его честь — «Античность и современность. К 80-летию Ф.А. Петровского». М.: Наука, 1972.

38. Операция была сделана в феврале 1938 г.

ВТОРАЯ БЕСЕДА

КАССЕТЫ № 291, 292

Продолжительность беседы — 167 минут.

1. О кружке и книгоиздательстве «Омфалос» см. статью В. Эджертона // Пятые тыняновские чтения. Рига. 1990. С. 211—244. Статья построена на материалах переписки автора с М.И. Лопатто.

2. О Михаиле Иосифовиче Лопатто (1892—1981) см. в той же статье В. Эджертона (в ней публикуется письмо Лопатто с воспоминаниями о Николае Бахтине), а также биографическую справку // Шестые тыняновские чтения. Рига — Москва, 1992. С. 254—256. Здесь сообщается, что кружок «Омфалос» зародился еще в Вильне, где Лопатто учился в одной гимназии с братьями Бахтиными.

3. ОПОЯЗ — Общество изучения поэтического языка (1916—1918 — конец 20-х годов), созданное группой лингвистов (Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский), стиховедов

(С.И. Бернштейн, О.М. Брик), теоретиков и историков литературы (В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов).

4. М. Лопатто. Круглый стол. Стихи. Петроград — Одесса: Омфалос, 1919.

5. М. Лопатто. Введение в теорию прозы. Пг., 1918.

6. Об обществе «шубравцев» (плутов, бродяг), существовавшем в Вильно в 10 — 20-х годах XIX в., см. в кн.: В. Каверин. Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966. С. 127—132. «Шубравцы» ориентировались на английских юмористов, Свифта и Стерна, а также Вольтера и культивировали собственный — легкий, забавный («шубравский») — стиль.

7. По-видимому, оговорка. Бахтин имел в виду «в "Гулливере"».

8. Либертинаж — философия вольномыслия и религиозного скептицизма во Франции XVII — XVIII вв., проявлявшаяся в литературе (Теофиль де Вио, Ш. Сорель, Сирано де Бержерак, Г.А. Шолье, молодой Вольтер).

9. А.И. Введенский. Логика как часть теории познания. Пг., 1917. В автобиографии 1944 г. Бахтин указывал, что специализировался по философии в Новороссийском и Петроградском университетах «у проф. Ланге и проф. А.И. Введенского» (С.С. Конкин, Л.С. Конкина. Михаил Бахтин. Саранск, 1993. С. 11. Книга, к сожалению, изобилует многими неточностями). О значении школы А.И. Введенского в философском формировании Бахтина см.: Н.К. Бонецкая. М.М. Бахтин и традиции русской философии // Вопросы философии, 1993, № 1. С. 85—86.

10. Н. Лосский. Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк, 1953. Недавнее переиздание в кн.: Н.О. Лосский. Бог и мировое зло. М., 1994.

11. Н.О. Лосский. Воспоминания. Жизнь и философский путь. München, 1968.

12. Челпанов Георгий Иванович (1862—1936), Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — московские психологи и философы. Учебник Г.И. Челпанова — «Введение в философию». Киев, 1905.

13. Стефан (Степан Самуилович) Сребрный (1890 — 1962) — польский филолог-классик, ученик Ф.Ф. Зелинского в Петербургском университете, где с 1916 г. оставлен приват-доцентом, в 1918 г. вернулся в Польшу, профессор в университетах Вильно и Торуни, автор работ о греческой трагедии и комедии и переводов их на польский язык.

14. Павел Гаврилович Виноградов (1854—1925) — историк-медиевист, профессор Московского университета, с 1902 г. — в Англии, в Оксфорде.

15. Евгений Дмитриевич Поливанов (1891—1938) — выдающийся русский ученый, вошедший в историю мировой лингвистики фундаментальными открытиями, без которых не могла бы сложиться наука, определившая характер языкознания XX в.

Евгений Дмитриевич окончил историко-филологический факультет Петербургского университета по славяно-русскому отделению (1912) и Восточную практическую академию по японскому разряду (1911). Главную роль в формировании научных интересов Евгения Дмитриевича сыграл И.А. Бодуэн де Куртенэ, оценивший выдающиеся дарования ученика и оставивший его при университете для приготовления к профессорской деятельности. Специализировался в области общего и индоевропейского языкознания, японистики, китаистики и т.д.

Е.Д. Поливанов как полиглот практически владел (говорил, читал, писал) 18 языками, а научно — много больше чем полусотней. Он исследовал язык всесторонне и в разных аспектах и функциях. Но через все исследования красной нитью проходит одно — изучение и постижение внутреннего закона развития языка.

Не все успел сделать Евгений Дмитриевич, многое из сделанного не успел опубликовать. Но и то, что он дал, создав теорию языковой эволюции, — огромное научное достижение: это своеобразный закон развития и самосохранения языка. По своей значимости он сопоставим с открытием постулата непреложности фонетических законов младограмматиками. Предложенная Евгением Дмитриевичем конвергентно-дивергентная теория послужила фундаментом построения исторической фонологии (Р.О. Якобсон).

Известен еще один закон Поливанова: «Развитие литературного языка заключается отчасти в том, что он все меньше развивается», т.е. темп его изменения постепенно замедляется.

Е.Д. Поливанов — основоположник отечественной социолингвистики, в рамках которой нашло отражение и блатное арго, о чем свидетельствуют его статьи «Стук по блату» (см.: Е.Д. Поливанов. За марксистское языкознание. М.: Федерация, 1931. С. 152—160) и «О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции» (там же. С. 161—172).

16. Пацифист-интернационалист, Е.Д. Поливанов принял революцию без колебаний, «горя энтузиазмом практической борьбы». После Октября буквально на второй день предложил свои услуги новой власти и в качестве помощника, а фактически — заместителя наркоминдел при Троцком, сыграл важную роль в публикации тайных договоров царского правительства. Однако отношения с Троц-

ким не сложились: непомерная амбициозность наркома развеяла иллюзии Евгения Дмитриевича оказать услугу советской власти в качестве знатока Востока и уже в феврале 1918 г. дала ему повод навсегда покинуть НКИД. Но о его работе под началом Троцкого вспомнили в 1937 г. Е.Д. Поливанов был арестован 1 августа 1937 г. во Фрунзе, спустя несколько дней этапирован в Москву и судим по первой категории, что предписывало закрытый и упрощенный характер процедуры и предрешало расстрельный исход суда. Он обвинялся в том, что «являлся активным участником антисоветской диверсионно-террористической шпионской организации, созданной им по заданию японской разведки». Вся процедура заняла каких-нибудь 20 минут. Суд и расстрел состоялись в Москве 25 января 1938 г. Наиболее вероятное место захоронения — район пос. Бутово или совхоза «Коммунарка» (Южн. окраина Москвы). Реабилитирован по ходатайству Института языкознания АН СССР в 1963 г.

17. Самуил Борисович Болотин (1901—1970) — литератор, переводчик. В.Д. Дувакин записал его воспоминания о В.В. Маяковском, Е.Д. Поливанове и М.И. Цветаевой в 1967 г. Запись хранится в Отделе фонодокументов НБ МГУ (в дальнейшем — ОФ НБ МГУ).

18. Е.Д. Поливанов страдал наркоманией и, естественно, был социально очень уязвим, особенно со стороны недоброжелателей. Но ученый либо отшучивался, либо отмалчивался.

Первое знакомство с наркотиками произошло еще в 1911 г. в стенах Восточной практической академии, но затем, во время экспедиции в Японию в летние месяцы 1914, 1915 и 1916 гг., где ему приходилось работать с самыми разными информантами (крестьяне, рыбаки, студенты-попутчики, буддийские монахи у пагод и т.п.) и приноравливаться к ним, произошло привыкание к наркотикам, закрепившееся в советскую эпоху во время работы с чайханщиками, продавцами на базарах в Средней Азии. Привыкание оказалось настолько сильным, что он и дня не мог прожить, не употребив наркотик. На это указывает жена, Бригитта Альфредовна Поливанова-Нирк (1899 — 1946), в письме к А.Я. Вышинскому от января 1938 г. с просьбой о бережном отношении к ее мужу. Когда в Ташкенте создалась невыносимая обстановка, а из Фрунзе поступило приглашение приехать на работу в Киргизию, Евгений Дмитриевич поставил перед руководством республики одно-единственное условие — гарантию регулярного обеспечения качественными наркотиками. Условие было принято. Ученый работал много и успешно. Об этом в 1962 г. рассказал автору данного комментария академик АН Киргизской ССР К.К. Юдахин. В ответ на вопрос, как

работал Евгений Дмитриевич после инъекций наркотика, он ответил: «О, с удвоенной силой! Важно было только соблюдать норму», о чем заботилась любящая жена ученого. В нормальной обстановке эти инъекции обеспечивали хороший тонус. В архивно-следственном деле Е.Д. Поливанова (ЦА ФСБ, д. 96109, л. 6) имеется медзаключение врача от 5.08.37, гласящее: «З/к Поливанов, страдающий наркоманией, нуждается в двухкратной инъекции героина».

Так как Е.Д. Поливанов был человеком огромной силы воли, следует допустить, что привыкание к наркотикам — результат эксперимента, подобного тому, какой поставил И.М. Сеченов методом самонаблюдения в работе над диссертацией о физиологии алкогольного опьянения. Не случайно же написал Е.Д. Поливанов работу «О влиянии наркотиков на языковое сознание человека», которая, правда, не была опубликована (см.: В. Ларцев. Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности. М., 1988. С. 319).

19. Е.Д. Поливанов лишился половины предплечья левой руки. Руку он потерял, скорее всего, в результате несчастного случая. Как свидетельствует В.Б. Лопухин, муж двоюродной сестры ученого, «он соскользнул с площадки вагона перед остановкой поезда у перрона Ораниенбаумского вокзала» (В.Б. Лопухин. После 25 октября // Минувшее, I. Париж, 1986. С. 16—17).

Интересно свидетельство В.Б. Шкловского в книгах «О теории прозы» (М., 1983. С. 72) и «Жили-были...» (М., 1966. С. 176). Подчеркнем, что несчастный случай произошел вскоре после кончины горячо любимой матери, Екатерины Яковлевны Поливановой (1849—1913).

20. В.Б. Шкловский в 1918 г. входил в боевую организацию эсеров, готовившую антибольшевистское выступление; после ее разгрома осенью того же года скрылся из Петрограда в Поволжье, затем отошел от политики. Но через несколько лет это прошлое ему откликнулось: его имя было названо в брошюре о политической деятельности эсеров в 1917—1918 гг. Г.И. Семенова, вышедшей в феврале 1922 г. в Берлине в связи с началом подготовки процесса над ними. В письмах Горькому от 16 и 24 марта 1922 г. В. Шкловский рассказывает о том, как скрывался в Петрограде, уходя от засад (об одной из них, устроенной на квартире Ю.Н. Тынянова, рассказал В.А. Каверин в кн.: Эпилог. М., 1918. С. 8 — 13), а затем бежал в Финляндию по льду залива (см.: В.Б. Шкловский. Письма М. Горькому (1917 — 1923) / Публикация и комментарии А.Ю. Галушкина // De visu, 1993, № 1. С. 30, 41—42). В Россию из Германии Шкловский вернулся в октябре 1923 г.

21. Дмитрий Константинович Петров (1872—1925) — филолог-романист, главным образом испанист, профессор Петербургского университета.

22. Братьев Веселовских, Александра Николаевича (1838—1906), академика, и Алексея Николаевича (1843—1918), историка западноевропейских литератур, профессора Московского университета.

23. Владимир Федорович Шишмарев (1874—1957) — филолог-романист, ученик А.Н. Веселовского, историк французского языка, академик.

24. Адриан Иванович Пиотровский (1898—1938) — филолог-классик, переводчик, в том числе блестящий переводчик Катулла, театровед, драматург. В годы, о которых рассказывает Бахтин, был на классическом отделении Петроградского университета.

25. Лев Аристидович Кассо (1865—1914) — министр народного просвещения в 1910—1914 гг. Понятие «режим Кассо» относится главным образом к 1911 г., когда Бахтин еще не был в университете, и прежде всего к Московскому университету, в котором в том же году прошло массовое исключение левого студенчества (в либеральной интерпретации это была «столыпинская реакция» в университетской сфере). В знак протеста ряд либеральных профессоров ушли из университета, в том числе К.А. Тимирязев, П.Н. Лебедев, Н.Д. Зелинский.

26. Лев Иосифович Петражицкий (1867—1931) — теоретик права, возглавлял кафедру философии права Петербургского университета, с 1918 г. в эмиграции.

27. Вольфила (Вольная философская ассоциация) — литературно-философское объединение, существовавшее в Петрограде в 1919—1924 гг.

28. Иван Михайлович Гревс (1860—1941) — историк-медиевист, выдающийся педагог, основатель научного краеведения, был профессором Петербургского университета с 1899 г. до конца жизни, однако ректором его не был. Деканом историко-филологического факультета он был на Высших женских (Бестужевских) курсах. Ректором Петербургского университета в 1911–1918 гг. был Э.Д. Гримм (1870–1940), специалист по древней и новейшей истории стран Западной Европы.

29. Пьеса называется «Gaudeamus» (1910).

30. Валентин Николаевич Волошинов (1895— 1936) — поэт, музыкальный критик, друг М.М. Бахтина, познакомившегося с ним в Невеле в 1919 г., затем в Витебске они жили на одной квартире. В Ленинграде в 20-х годах входил в близкий бахтинский круг. Начиная с 1926 г. под его именем опубликованы две книги — «Фрейдизм». Л., 1927, и «Марксизм и философия языка». Л., 1929, и серия статей по теоретической лингвистике, вопрос об авторстве которых стал предметом спора в последние двадцать лет. Авторское участие Бахтина в написании этих работ подтверждается многими свидетельствами и может быть признано несомненным,

но вопрос о формах и степени этого участия остается дискуссионным. Вопрос об авторстве этих работ обсуждается в статье: С.Г. Бочаров. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение, 1993. № 2. См. о Волошинове биографический очерк Н.Л. Васильева в кн.: Валентин Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995.

31. О двух посещениях им Вячеслава Иванова в Здравнице в августе 1920 г. М.М. Бахтин рассказывал автору настоящих примечаний в разговоре от 10 апреля 1974 г. Бахтин приходил вместе с В.Н. Волошиновым, читавшим Иванову свои стихи. В разговоре участвовал В.Ф. Ходасевич, занимавший в Здравнице отдельную комнату (а не другое место в одной комнате с Ивановым: ошибка Бахтина). О своем пребывании в Здравнице, и в частности о находившемся в ней Юлии Алексеевиче Бунине, брате писателя, Ходасевич вспоминал в очерке «Здравница» (см.: В.Ф. Ходасевич. Избранная проза. Нью-Йорк, 1982). «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и М.О. Гершензона состоялась с 17 июня по 19 июля; она уже заканчивалась, когда Ходасевич вселился в Здравницу. К моменту посещения Здравницы Бахтиным и Волошиновым Гершензона в ней уже не было.

32. Ник. Т-о — псевдоним Иннокентия Федоровича Анненского (1855—1909). В 1901 г. И.Ф. Анненский объединил свои стихи конца 90-х гг. в сборник под названием «Утис. Из пещеры Полифема». Утис, или Никто, — имя, которым назвался Одиссей Полифему. Позднее, в 1904-м г., под русифицированным вариантом этого псевдонима, составленным из букв, входящих в имя поэта, — Ник. Т-о — И.Ф. Анненский выпускает сборник стихов «Тихие песни». Псевдоним отражает идею поэта об анонимности поэзии.

Далее в беседе будет упоминание о брате И.Ф. Анненского — Николае Федоровиче Анненском (1843—1912), публицисте, экономисте, общественном деятеле либерального толка, сотруднике редакции журнала «Русское богатство». Несмотря на разность взглядов и интересов, И.Ф. Анненский отмечал большую роль брата в своем образовании и становлении.

33. Юлий Исаевич Айхенвальд (1872—1928) — известный критик, в 1922 г. выслан за границу. Словами о «величии преодоленной бездарности» заканчивается книжка Айхенвальда «Брюсов». М., 1910. С. 32.

34. Фердинанд Ходлер (1853—1918) — швейцарский художник и скульптор, ранний экспрессионист.

35. «Белый коридор» — мемуарный очерк В.Ф. Ходасевича, опубликованный впервые в парижской газете «Дни» в ноябре 1925 г. Бахтин читал его в кн.: В. Хода-

севич. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954.

36. Антон Владимирович Карташев (1875—1961) — историк церкви и богослов, один из руководящих деятелей петербургского Религиозно-философского общества. После Февральской революции — министр культов и вероисповеданий Временного правительства. С 1919 г. в эмиграции.

37. «Луг зеленый» — книга критических и философских этюдов Андрея Белого (М.: Альциона, 1910).

38. О Сергее Михайловиче Соловьеве (1885—1942), поэте, священнике, племяннике Владимира Соловьева, первом издателе его «Стихотворений» и авторе книги о нем (Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977), друге А. Белого и Блока, можно читать в мемуарных книгах Белого «Начало века» и «Между двух революций», а также в двух очерках, написанных его дочерью Н.С. Соловьевой — см.: Новый мир, 1993, № 8. С. 178—180; Наше наследие, 1993, № 27. С. 60—70. См. также посвященный ему «Шахматовский вестник» № 2. Памяти Сергея Михайловича Соловьева/ Редактор-составитель Н.Г. Прозорова. Солнечногорск, 1992.

39. З.Н. Гиппиус умерла в Париже в возрасте 75 лет.

40. Образ жизни, имевший у Мережковского теоретическое обоснование. Н.П. Анциферов вспоминает о посещении в 1918 г. участниками кружка Мейера Мережковского и Гиппиус: «Мережковский развивал теорию брака трех (ménage en trois). Он говорил, очень волнуясь, о том, что брак вдвоем отжил. Это ветхозаветный брак. Он отменен Новым Заветом. Его взгляды разделялись, насколько я помню, и Мейером, и Половцевой». (Н.П. Анциферов. Из дум о былом. М., 1992. С. 325—326).

41. Имеется в виду, надо думать, кн.: Русская литература XX века/ Под ред. С.А. Венгерова. М.: Мир, 1914 — 1918 (тт. 1—3).

42. Имя А.А. Мейера (1875—1939) автор настоящих примечаний впервые услышал от Бахтина в беседе 5 января 1972 г.; тогда это имя было мало кому известно. «Вместе с Мейером и получили по десять лет (мне заменили на пять)», — рассказал тогда Бахтин. Оба были осуждены в 1929 г. постановлением Коллегии Ленинградского ОГПУ как участники «нелегальной антисоветской организации правой интеллигенции», существовавшей в течение нескольких лет в Ленинграде под названием «Воскресение». Это название носил религиозно-философский кружок, созданный Мейером в конце 1917 г. и собиравшийся до его разгрома в декабре 1928 г., когда были арестованы Мейер и другие участники кружка (11 декабря) и Бахтин (24 декабря). Бахтин в кружке Мейера не участвовал, но

был близко связан с самим Мейером и некоторыми другими участниками кружка. Кружок посещали такие люди «круга Бахтина», как М.В. Юдина (1899—1970) и Л.В. Пумпянский. Разгром кружка позволил Ленинградскому ОГПУ сколотить вокруг него большое политическое дело с широким захватом «правой интеллигенции»; всему делу было дано название кружка Мейера. По первоначальному приговору Мейер получил расстрел, замененный затем соловецким концлагерем, Бахтин — пять лет Соловков, замененные высылкой в Кустанай. — См. об этом: Память. Исторический сборник. Вып. 4. Париж, 1981. С. 111—145; Вопросы литературы, 1991, № 3. С. 128—141. В 1982 г. в Париже вышел том философских сочинений А.А. Мейера с его биографией. Воспоминания Д.С. Лихачева о Мейере и публикацию его текстов см.: Вопросы философии, 1992, № 7.

43. Н.П. Анциферов, историк русской литературы и петербургской культуры, участник кружка Мейера и К.А. Половцевой, рассказывает в воспоминаниях, как на допросах он объяснял следователю А. Стромину общественное направление кружка. «Стромин старался уверить меня, что я принадлежал к организации, которая считает советскую власть властью Антихриста. Я ему сказал, что он совершенно не понял направления кружка Мейера и Половцевой. Ксения Анатольевна разделяет всю экономическую и социальную программу большевиков, но она, как и другие, считает ее недостаточной для обновления человечества и построения коммунизма. Нужна религия. Ее мечта: сочетание того и другого. Это произойдет тогда, когда 1 мая встретится с Пасхальным воскресеньем». (Н.П. Анциферов. Из дум о былом. М., 1992. С. 332).

Е.Н. Федотова, жена историка и философа Г.П. Федотова, одного из организаторов и руководителей кружка в первый его период, вспоминает также: «Один из членов кружка любил спрашивать: «Как молиться: свергни большевиков или вразуми?» Думаю, что в это время большинство ответило бы «вразуми». (А.А. Мейер. Философские сочинения. Paris, 1982. С. 454).

44. «Христос воскрес» — поэма Андрея Белого, созданная в апреле 1918 г. вслед за блоковскими «Двенадцатью» как «ответ» на них, по выражению К.В. Мочульского — как бы в истолкование поэмы Блока.

45. Е.П. Иванов в 1929 г. по тому же делу о кружке «Воскресение» был приговорен к высылке в Северный край (см.: Вопросы литературы, 1991, № 3. С. 134).

46. А.А. Блок. Жизнь моего приятеля (1913). У Блока: «Так он и ответит тебе». — А. Блок. Собр. соч. Т. 3. М. — Л., 1960. С. 49.

47. «Ирония» — статья Блока (1908).

48. В 1924—1930 гг. Бахтин с женой жили сначала на Преображенской, 38, кв. 5, затем на Знаменской, угол Саперного пер.; оба дома — сравнительно недалеко от «башни» (Таврическая, угол Тверской).

49. Имеется в виду, вероятно, речь Блока «О современном состоянии русского символизма», произнесенная в 1910 г.

50. Из письма Блока Андрею Белому от 15—17 августа 1907 г. (См.: А. Блок. Собр. соч. Т. 8. М. — Л., 1963. С. 199).

51. Тема романа К.К. Вагинова «Козлиная песнь» (см. о нем в дальнейших беседах), пародийно выраженная в его названии, представляющем буквальный перевод греческого «трагедия».

52. Из стихотворения Гумилева «У камина» (1911), входящего во второй раздел сборника «Чужое небо», посвященный А.А. Ахматовой. У Гумилева: «Вечерами к нам подходили львы...» (Н.С. Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 178).

53. У Гумилева: «Но не надо яства земного / В этот страшный и светлый час, / Оттого, что господне слово...» (Н.С. Гумилев. Наступление // Н.С. Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 234).

54. Из стихотворения Гумилева «Память» (1921), открывавшего его последнюю книгу стихов «Огненный столп» (1921).

ТРЕТЬЯ БЕСЕДА

КАССЕТЫ № 293, 294, 295.

Время звучания — 124 минуты

1. Б. Эйхенбаум. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пг., 1923.

2. «Cor ardens» (ч. 1—2. М., 1911) — третья книга стихов Вячеслава Иванова. Первые две книги — «Кормчие звезды» (СПб., 1903) и «Прозрачность» (М., 1904). Следом за «Cor ardens» вышла «Нежная тайна» (СПб., 1912).

3. Вяч. Иванов. Собр. соч. Т. 1. Брюссель, 1971. Том открывается обширным Введением (с. 5 — 227), представляющим собой обстоятельное жизнеописание поэта и мыслителя и написанным его другом и литературным помощником Ольгой Дешарт (О.А. Шор).

4. Об опытах духовно-эротического «союза троих», вдохновляющихся философской идеей «преодоления индивидуализма», в которые Вяч. Иванов и Л.Д. Зиновьева-Аннибал пытались включить сначала поэта Сергея Городецкого, а затем — художницу Маргариту Сабашникову-Волошину (оба опыта не удались), рассказывается в жизне-

описании Иванова в т. 1 брюссельского собрания сочинений (с. 98—105) и подробнее — в комментариях к т. 2 (Брюссель, 1974. С. 753—767), где приводятся выдержки из дневников и письма Иванова, относящиеся к этим событиям лета и осени 1906 г.

5. Л.Д. Зиновьева-Аннибал умерла внезапно в октябре 1907 г. Через несколько лет Вяч. Иванов женился на ее дочери от первого брака Вере Константиновне Шварсалон.

6. Начало стихотворения Сергея Городецкого «Адам», напечатанного в подборке стихов новой группы поэтов-акмеистов (другое название направления, непривившееся, — «адамизм» — было связано с этим стихотворением Городецкого) в журнале «Аполлон», 1913, № 3. С. 32. В редакционном примечании к подборке было сказано: «Печатаемые здесь стихотворения принадлежат поэтам, объединенным теми идеями, которые были изложены в статьях Н. Гумилева и С. Городецкого в январской книжке «Аполлона», и могут до некоторой степени служить иллюстрацией к высказанным в этих статьях теоретическим соображениям» (речь идет о выступлениях Гумилева и Городецкого с программным обоснованием нового направления в № 1 «Аполлона» за 1913 г.).

7. Сергей Александрович Адрианов (Васильевич — оговорка Бахтина) — «известный филолог и переводчик, профессор Петербургского, а затем Ленинградского университета» (см.: П. Коган. Вместе с музыкантами. М., 1964. С. 48). Зоя Петровна Лодий (1886—1957) — камерная певица.

8. Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929.

9. В бумагах Бахтина сохранилось официальное письмо Е.П. Пешковой к Е.А. Бахтиной от 8 октября 1929 г.: «В ответ на Ваш запрос, согласно справки, полученной из ОГПУ, сообщаю, что относительно Вашего мужа, Бахтина М.М., запрошен акт медицинского свидетельства, пока еще он не получен». Письмо на бланке со штампом: «Е.П. Пешкова. Помощь политическим заключенным. Москва, Кузнецкий мост, 24». Месяцем раньше, 2 сентября, Бахтин писал наркому здравоохранения Н.А. Семашко, прося назначить врачебную комиссию для заключения о его здоровье (см.: Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1992, № 1, с. 74—75). Усилия Е.П. Пешковой (результатом которых, вероятно, были и две телеграммы Горького) привели к замене первоначального приговора (5 лет Соловков) на 6 лет ссылки. В хлопотах за Бахтина деятельно участвовали М.В. Юдина и С.И. Каган (см. письмо Е.А. Бахтиной С.И. Каган от 24 октября 1929 г.: Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1992, № 1. С. 87).

10. См.: Г.Д.Гачев. Человек против правды в пьесе «На дне» // Неизвестный Горький. М.: Наследие, 1994; а так-

же: Логика вещей и человек. Прение о правде и лжи в пьесе М. Горького «На дне». М., 1992. Анализ эпизода забастовки трамвайщиков из «Сказок об Италии» — в кн.: Г.Д. Гачев. Развитие образного сознания в литературе. //Теория литературы. Т. 1. М.: Наука, 1962. С. 285—287.

11. В очерке Николая Бахтина о движении символизма в России, написанном в эмиграции, есть воспоминание, позволяющее шире представить позицию и поведение братьев в дни октябрьских событий 1917 г.; здесь рассказывается о собрании кружка филологов-классиков у Ф.Ф. Зелинского в самые эти дни; о присутствии младшего брата на этом собрании Н. Бахтин не упоминает, но оно весьма вероятно: оба брата входили в «наш круг», о котором упоминает М.М. Бахтин в настоящей беседе в связи с событиями революции: «Я, вернее, наш круг, считали, что все это кончится очень плохо...» Н.М. Бахтин рассказывает: «Это было семнадцать лет назад в «Красном Октябре» — в Петербурге во время коммунистического переворота. В маленькой холодной квартире на Васильевском острове, при свечах (потому что, разумеется, электричества не было в те дни), нас собралось двенадцать человек вместе с нашим старым учителем, профессором Зелинским; все мы — знатоки греческого языка, философы и поэты — общество, имевшее обыкновение собираться и обсуждать классические темы в их отношении к настоящему. «Союз третьего Возрождения» — так самонадеянно мы его называли. Потому что мы верили, что были первыми деятелями нового Ренессанса, который должен был скоро наступить, Русского Ренессанса — окончательной и высшей интеграции современным миром эллинской концепции жизни. Потому что, как и все прочее в России, занятия классической филологией были не просто обучением, но, сверх того, способом пересоздать жизнь. Изучение греческого языка было подобно участию в опасном и волнующем тайном заговоре против самых основ современного общества во имя греческого идеала. Воодушевленные этими чаяниями, мы тогда оказались перед лицом событий, которые, казалось, должны были положить конец нашим наивным надеждам. Россия явно была на пути к чему-то совсем иному, нежели Греческое Возрождение» (см.: Nicholas Bachtin. Lectures and Essays. P. 43.).

12. В.Д. Дувакин имеет в виду свои беседы с В.В. Шульгиным, которые состоялись в январе 1973 г. (ОФ НБ МГУ).

13. В начале 70-х годов В.В. Кожинов интересовался проблемой творческого становления Сергея Есенина и, в частности, пришел к выводу, что оно смогло осуществиться только благодаря органическому слиянию «крестьянского» жизненного опыта с высшим культурным сознанием начала века. Особенно наглядным проявлением такого слияния

была, как представлялось, возникшая еще в марте-апреле 1915 г. теснейшая и задушевная дружба Есенина с Леонидом Каннегисером — предельно утонченным петербургским интеллектуалом. Поскольку речь шла о будущем убийце председателя Петрочека Урицкого, было нелегко установить факты (помимо прочего, В.В. Кожинов расспрашивал чуть ли не единственного тогда живого очевидца — Рюрика Ивнева, который, правда, почти ничего не припомнил или же опасался припоминать). М.М. Бахтин с большим вниманием отнесся к рассказу Кожинова. И наиболее замечательная сторона всего этого «сюжета» состоит в следующем. Как выяснилось позже, уже после кончины Михаила Михайловича, он в своей лекции 20-х годов о Есенине решал проблему становления поэта, по сути дела, именно в таком духе, говоря, что «выйти прямо из глубин народных в XX веке литературное явление не может: оно должно прежде всего определиться в самой литературе» (Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1993, № 2-3. С. 163). По-видимому, Михаил Михайлович в 70-х годах уже не помнил свои полувековой давности суждения, но его живой интерес к аналогичным суждениям объяснялся, по всей вероятности, и бессознательным «узнаванием» своей собственной мысли, сформулированной в далекую пору молодости.

14. М. Цветаева. Нездешний вечер // М. Цветаева. Проза. М., 1989.

15. Петр Авдеевич Кузько (1884—1969) — литератор.

16. Из стихотворения Брюсова «Klassische Walpurgisnacht» («Классическая Вальпургиева ночь»), 1920.

17. В лекции о Маяковском конца 20-х годов (входит в домашний курс лекций по истории русской литературы, записанный Р.М. Миркиной) Бахтин говорил о возрождении в поэзии Маяковского публичной ораторской интонации, связывая ее с античной традицией: «Его риторика имеет общность с античной... Характерна для него и демагогичность; он не боится демагогии, ищет демагогию. Таким образом, Маяковский на русской почве в новой форме, в другой обстановке внес в поэзию риторизм, который до него был очень мало представлен» (Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1995, № 2. С. 112).

18. Михаил Давидович Вольпин (1902—1988) — поэт, художник, киносценарист. В.Д. Дувакин записывал его воспоминания в ноябре 1967 и в декабре 1975 г. (ОФ НБ МГУ).

19. Павел Адамович Янкович «состоял на службе учителем математики с 6 июля 1893 по 1 июля 1913 г. в Свенцянской мужской гимназии», а с 1 июля 1913 г. был ее директором (см.: Протокол заседания педагогического совета Свенцянской мужской гимназии от 30 апреля

1918 г. в Великолукском филиале ГАПО, ф. Р-608, оп. 1, д. 4, л. 80). М.М.Бахтин в Невельской единой трудовой школе преподавал историю, социологию и русский язык (там же, оп. 2, д. 2).

20. По документам, хранящимся в архиве М.М. Бахтина, он переехал из Невеля в Витебск не ранее осени 1920 г.

21. Более подробно о Невельском научном обществе см.: Л.М. Максимовская. К устным рассказам М.М. Бахтина о Невеле (комментарий краеведа) // Философские науки, 1995, № 1. С. 98—102; см. также: Н.И. Николаев. Невельская школа философии (М. Бахтин, М. Каган, Л. Пумпянский в 1918—1925 гг.). По материалам архива Л. Пумпянского // М. Бахтин и философская культура XX века. Проблемы бахтинологии. СПб., 1991. Вып. 1, ч. 2. С. 39.

22. Г.А. Колюбакин — химик, естественник. Он выступил с докладом «Биология и медицина в России» в числе других докладчиков на Диспуте о русской культуре, состоявшемся в Невеле 19 августа 1919 г. (см.: Диспут о русской культуре // Молот. Невель, 1919, № 128, 18 августа. С. 1). В газете «Молот» от 12 сентября 1919 г., в заметке «В союзе работников искусств», сообщалось, что на курсах повышения квалификации «тов. Кулебякин [искаженное — Г.А. Колюбакин] прочтет цикл лекций из области химии, биологии».

23. См. прим. 6 к первой беседе.

24. Народная консерватория была организована в 1918 г. дирижером Мариинского театра Н.А. Малько (1883—1961), жившим и работавшим в Витебске в 1918—1921 г. О витебской деятельности Малько см.: Н.А. Малько. Переходные годы // Н.А. Малько. Воспоминания. Статьи. Письма. Л., 1972. См. также: Г.Я. Юдин. За гранью прошлых дней. Из воспоминаний дирижера. М.: Музыка, 1977. С. 5—35. В витебской Народной консерватории Бахтин состоял преподавателем эстетики и философии музыки с декабря 1920 г. Его преподавательская деятельность продолжилась и в Витебском музыкальном техникуме, сменившем Народную консерваторию.

25. В письме директору Витебской консерватории в 1954 г. Бахтин просит выслать справку, подтверждающую его работу в консерватории, и сообщает следующие сведения: «Я работал в Витебской Гос. Консерватории в качестве штатного преподавателя эстетики с 1920 по 1924 г. включительно. Поступил я на работу при директоре Н.А. Малько, продолжал работу при директоре Преснякове и уволился при директоре Постникове. В числе моих коллег по работе в консерватории в этот период были проф. Дубасов, проф. В.Г. Ивановский, проф. Штейн, Зимин, Крейслер и др. Оставил я работу по собственному

желанию, ввиду моего возвращения в Ленинград. Уезжая, я передал чтение курсов эстетики А.О. Цшохеру» (архив М.М. Бахтина).

26. Николай Александрович Дубасов (1869—1935) — пианист, педагог. В 1890 г. стал лауреатом 1-го Международного конкурса пианистов и композиторов им. А.Г. Рубинштейна. В 1894—1917 гг. преподавал в Петербургской консерватории, с 1902 г. — профессор, с 1918 г. преподавал в витебской Народной консерватории, где с 1919 г. возглавлял фортепианное отделение. В 1923—1935 гг. преподавал в Ленинградской консерватории.

27. Валентин Иванович Пресняков (1875—1956) — артист балета, музыкант. С 1914 г. — профессор Петербургской консерватории, где вел класс пластики и сценического движения. С 1921 г. — директор Витебской Народной консерватории, затем Витебского музыкального техникума.

28. Витебское Народное художественное училище было организовано осенью 1918 г. Марком Шагалом, уполномоченным по делам искусств Витебской губернии. Первым директором училища был М.В. Добужинский; после его отъезда из Витебска весной 1919 г. руководство школой перешло к Шагалу. Занятия в училище официально начались в январе 1919 г. Преподаватели училища — Шагал с семьей, Л.М. Лисицкий, В.М. Ермолаева, Н.О. Коган — жили здесь же. В здании на Бухаринской, 10, поселился и Казимир Малевич.

После отъезда Шагала в Москву летом 1920 г. заведующим Витебским Народным художественным училищем была назначена художница В.М. Ермолаева (1893 — 1938), она же затем стала ректором Витебского художественно-практического института. К.С. Малевич (1878 — 1935) никогда не занимал пост директора вуза, он был председателем совета профессоров. Однако по своему реальному положению он являлся подлинным главой всех художественных процессов в институте.

29. Картина «Черный квадрат» (ГТГ), от которой Малевич исчислял начало новой эпохи в искусстве, супрематизма, была написана в 1915 г. и тогда же выставлена на «Последней футуристической выставке картин «0,10» (ноль-десять)» в Петрограде. Супрематический период в биографии Малевича длился до 1927 г.

30. И.В. Вишняк — витебский банкир и домовладелец. Перед Первой мировой войной в Витебске на Воскресенской улице, 10, был закончен постройкой личный особняк банкира. В 1918 г. особняк был реквизирован советскими властями и в ноябре передан под устройство Витебского Народного художественного училища; в те же ноябрьские дни 1918 г. Воскресенская улица была переименована в

Бухаринскую (ныне адрес здания бывшего училища — ул. Правды, 5).

31. Знакомство Бахтина и Малевича, их наиболее интенсивные дружеские взаимоотношения относились, скорее всего, к сезону 1921—1922 гг. Бахтин обосновался в Витебске с осени 1920 г., Малевич приехал в Витебск в ноябре 1919 г., уехал в конце весны 1922 г. (подробнее о его жизни и деятельности в городе см.: А. Шатских. Малевич в Витебске // Искусство, 1988, № 11. С. 38—43). Первые месяцы 1921 г. Бахтин тяжело болел, перенес операцию. Малевич же с апреля по конец лета 1921 г. почти все время проводил в Москве.

Непосредственным поводом к знакомству стало посещение супругами Бахтиными здания на Бухаринской улице, 10, где размещался Витебский художественно-практический институт, инициатором возникновения которого был Марк Шагал. Он же организовал и Музей современного искусства, в котором был представлен весь спектр русского искусства начала века — от мирискусников до крайне левых. Отдельного помещения музею так и не выделили, и все время своего существования (1919—1923) он находился в здании на Бухаринской. Судя по описанию обстоятельств встречи, супруги Бахтины пришли познакомиться с экспозицией музея — экспозиция же была развернута и в тех комнатах, где проходили занятия со студентами.

Пропагандирование новейшего искусства всегда было одной из основных сфер деятельности Малевича. Немаловажно отметить, что весь витебский период жизни Малевича был отдан созданию теоретических и философских трудов, положения которых он оттачивал на лекциях для студентов и в ряде витебских публикаций. В 1920 г. в стенах училища возникло объединение Уновис (Утвердители нового искусства), состоявшее из юных приверженцев Малевича, увлеченных проповедью супрематических идей. Чета Бахтиных также испытала на себе силу убеждений «этого великолепного агитатора, проповедника, ересиарха супрематической веры» (Н.Н. Пунин. Квартира № 5. Главы из воспоминаний // Панорама искусств 12. М., 1989. С. 183).

32. Малевич был связан с Хлебниковым с начала 10-х годов. Художнику принадлежали иллюстрации в кн.: В. Хлебников, А. Крученых, Елена Гуро. Трое. СПб., 1913; А. Крученых, В. Хлебников. Слово как таковое. Рис. К. Малевича и О. Розановой. СПб., 1913; А. Крученых, пролог Виктора Хлебникова. Победа над Солнцем. СПб., 1913; Крученых — Хлебников. Игра в аду, доп. изд. Рис. К. Малевича и О. Розановой. СПб., 1914; В. Хлебников. Ряв! Перчатки. СПб., 1914.

Весной 1917 г. Малевич был включен Хлебниковым в Правительство Земного Шара, став одним из Председателей. Пропорции, кратные заветным 365, нашел Хлебников в «теневых чертежах» Малевича — так поэт назвал супрематические рисунки 1916—1917 гг., с их стремлением выразить новый космический опыт человечества. Хлебников проанализировал их в тезисах статьи «Голова вселенной, время в пространстве» (РГАЛИ, ф. 665, оп. 1, ед. хр. 32). Взаимосвязям творчества супрематиста и будетлянина отведена значительная часть книги зарубежных исследователей, много лет посвятивших разработке этой проблематики (см.: R. Crone, D. Moos. Kazimir Malevich: The Climax of Disclosure. London, 1991).

33. В первой половине 1890-х гг. Малевич закончил пятиклассное агрономическое училище в с. Пархомовка близ Белополья. В 1905—1910 гг. он учился в частной художественной школе Ф.И. Рерберга в Москве. Его попытки поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1905, 1906 и 1907 гг. окончились безрезультатно. В анкетах Малевич аттестовал себя самоучкой.

34. При жизни Малевича было опубликовано семь отдельных изданий его теоретических сочинений, из их числа пять были изданы в витебские годы. Скорее всего, Бахтин имел в виду литографскую книжку «О новых системах в искусстве», изданную в декабре 1919 г. в Витебске; не исключено, что брошюра была подарена ему автором.

35. Вначале термин «супрематизм», пришедший из родного языка художника, польского, означал высшую стадию развития живописи, в которой энергия цвета господствовала надо всем остальным. В дальнейшем, по мере развития теоретических обоснований, изобретенное Малевичем слово наполнилось философским содержанием. Один из его витебских трудов носил название «Супрематизм как чистое познание».

36. Идея «множественности измерений» была весьма популярна в среде русских авангардистов, восходя к концепции «четвертого измерения», пропагандировавшегося философом-идеалистом П.Д. Успенским (1878 — 1947) в его книгах «Четвертое измерение». СПб., 1909 (2-е изд. — СПб., 1911), а также «Tertium Organum. Ключ к загадкам мира». СПб., 1911. Малевич разделял вместе со своим окружением взгляды философа на возможность постижения «идей высшего пространства, имеющего большее число измерений, чем наше» (Четвертое измерение, 2-е изд. С. 93). Однако представления Малевича о множественности измерений значительно трансформировались во второй половине 10-х годов; в частности, в витебских сочинениях пятым измерением была объявлена экономия (см.: «Установление А», последний раздел книги Малевича «О новых си-

стемах в искусстве». Витебск, 1919; переиздана в: К.Малевич. Собр. соч. В 5-ти тт. Т. 1. М.: Гилея, 1995. С. 183—184). Круг проблем «четвертого измерения» в искусстве XX в., в том числе искусстве русских авангардистов, проанализирован в кн.: L. Henderson. The Four Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art. Princeton, 1983.

37. До Бахтина, ссыльного счетовода в Кустанае, очевидно, дошли глухие слухи о болезни Малевича; однако недуг, сведший художника в могилу, был иным: Малевич скончался от рака предстательной железы 15 мая 1935 г. в Ленинграде, в своей квартире, располагавшейся в доме бывшего Гинхука (ул. Союза Связи, 2). Последние годы жизни художник работал в Русском музее.

38. «Супрематы» — собственный неологизм Бахтина, в котором явственно слышатся обертоны малевичевского словообразования. Имеются в виду архитектоны, трехмерные объемные супрематические модели, которые Малевич конструировал в середине 20-х годов в Гинхуке (Государственный институт художественной культуры, 1924—1926), директором которого он состоял. Архитектоны имели разнообразную композицию, в том числе и вертикальную. Работу над ними Малевич продолжал в Комитете экспериментального изучения художественной культуры в Государственном институте истории искусства (ГИИИ), куда был переведен его отдел из Гинхука, разгромленного в 1926 г. Бахтин, будучи внештатным лектором ГИИИ, мог встречать Малевича в институте и видеть эти архитектоны; очевидно, в эти же годы продолжался обмен мнениями во время мимолетных встреч коллег. Супрематическое творчество Малевича не было известно в США в 1920-е годы; тем не менее наблюдения Бахтина очень точны, поскольку и сам Малевич, и художники, прошедшие школу супрематизма (прежде всего, Эль Лисицкий) видели в архитектуре американских небоскребов доказательства истинности, объективности супрематической стадии в развитии искусства и архитектуры. Так, известен коллаж Малевича, представлявший фотографию небоскребов Манхэттена с вклеенным рисунком вертикального архитектона, стилистически полностью вписывавшегося в этот городской пейзаж.

39. Вокруг Малевича в Витебске сложился круг преданных учеников и учениц — в историю он вошел под именем Уновис (см.: А. Шатских. Уновис — очаг нового мира // Великая утопия. Русский и советский авангард 1915—1932: Каталог выставки. М., 1993. С. 72—83).

40. Юрий Моисеевич Пэн (1854—1937) — живописец, первый учитель М. Шагала.

41. Александра Вениаминовна Азарх-Грановская (1892—1980) — актриса и режиссер, вдова режиссера ГОСЕТа

А.М. Грановского. В.Д. Дувакин записывал ее воспоминания в 1968, 1972 и в 1973 гг. (ОФ НБ МГУ).

42. Л.Ю. Брик (Каган) закончила московскую гимназию Л.И. Валицкой. Об этом она рассказывает сама в беседе с В.Д. Дувакиным 8 мая 1973 г. (ОФ НБ МГУ).

43. По документам из архива, Бахтин оставался в Витебске до мая 1924 г.

44. Брак зарегистрирован 16 июля 1921 г.; в документе о регистрации брака Е.А. Околович (1901—1971) названа «девицей г. Полоцка» (архив М.М. Бахтина).

45. Бешенковичи Полоцкого уезда Витебской губернии. Название имения (городка?) сообщила в беседе автору настоящего комментария в апреле 1975 г. Нина Аркадиевна Волошинова, вдова В.Н. Волошинова (1895—1936).

46. Павел Николаевич Медведев (1892—1938) — литературовед, преподаватель, общественный и культурный деятель, друг М.М. Бахтина с витебских лет (см. о нем статью Ю.П. Медведева «Нас было много на челне...» // Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1992, № 1. С. 89—108). Вышедшая под его именем книга «Формальный метод в литературоведении». Л., 1928, является предметом тех же споров об авторстве, что и книга и статьи В.Н. Волошинова (см. прим. 30 ко второй беседе). О том, как Медведев помогал ему по возвращении из кустанайской ссылки устраиваться на преподавательскую работу в Саранск, Бахтин рассказывает в пятой из настоящих бесед. Вскоре после этого П.Н. Медведев погиб в репрессиях.

47. «Творческий путь Ал. Блока» — большая статья П.Н. Медведева в подготовленном им сборнике «Памяти Блока» (Пг., 1922).

48. Записи выступлений, докладов и циклов лекций Бахтина на собраниях кружка, сделанные Л.В. Пумпянским, опубликованы в кн.: М.М. Бахтин как философ. М., 1992. С. 221—252 (публикация Н.И. Николаева). Темы лекций — философия Канта и современное неокантианство, а также «более широкие», главным образом по вопросам философии религии. Некоторые темы рефератов и докладов названы Бахтиным в протоколах допросов в Ленинградском ОГПУ 26 и 28 декабря 1928 г. (см.: С.С. Конкин, Л.С. Конкина. Михаил Бахтин. Саранск, 1993. С. 180—183).

49. Татьяна Львовна Щепкина-Куперник (1874—1952) — драматург, поэт, переводчик. В протоколе допроса 28 декабря квартира Щепкиной-Куперник названа Бахтиным как одно из мест, где он выступал с философскими и эстетическими докладами (см.: там же. С. 182—183).

50. Борис Борисович Полынов (1877—1952) — почвовед и геохимик, академик.

51. Александр (Альберт) Робертович Стромин (1902—1938) — как следователь Ленинградского ОГПУ в конце

20 — начале 30-х годов специализировался по делам интеллигенции; с ним имели дело, наряду с Бахтиным, А.А. Мейер, Н.П. Анциферов, Е.В. Тарле, Д.С. Лихачев. Уже в должности начальника Саратовского УНКВД был «ликвидирован» в 1938 г. Автору настоящего комментария Бахтин рассказывал 21 ноября 1974 г.: «Меня арестовали на Рождество 1928 г. Арестовывали двое: один неприятный, другой — еврей, очень приятный. Увидел Гегеля по-немецки, с уважением: вы философ? Потом — ДПЗ, камера. Неплохие условия. Разрешали писать. Допросы — редкие, несколько. Следователи — Петров Иван Филиппович, начальник 2-го отделения, и Стромин-Строев. Разговаривали с уважением. Потом их, конечно, ликвидировали. Помню, Тарле мне написал с торжеством: «А знаете, наших-то ликвидировали». Но я не мог разделить этого торжества».

52. Комарденков Василий Петрович (1897—1973) — театральный художник. Запись 1969 г. (ОФ НБ МГУ).

ЧЕТВЕРТАЯ БЕСЕДА

КАССЕТЫ № 295, 298, 299

Продолжительность беседы — 124 минуты

1. Фельетон братьев Тур, напечатанный в «Ленинградской правде» (а не в «Красной газете») 14 июня 1928 г., за полгода до ареста Бахтина, посвящен двум философско-религиозным кружкам, разгромленным весной этого года, — «Космической Академии наук» и «Братству Серафима Саровского»; в фельетоне они квалифицируются как контрреволюционные монархические организации. Из упоминаемых Бахтиным лиц его круга в фельетоне названы имена И.М. Андреевского и В.Л. Комаровича.

2. Академик С.Ф. Платонов и Е.В. Тарле должны были стать двумя главными фигурами готовившегося ОГПУ «дела академиков» или «дела историков». Оба были арестованы в начале 1930 г. Процесс не состоялся, но на проходившем в конце 1930 г. процессе Промпартии имена двух академиков постоянно назывались: им приписывалось руководство монархическим заговором, в результате которого Платонов должен был стать премьером будущего правительства, Тарле — министром иностранных дел (см.: Память. Исторический сборник. Москва; Париж. Вып. 4. 1981. С. 130—135, 469—495).

3. В обвинительном заключении Бахтин проходил по делу нелегальной организации «правой интеллигенции», существовавшей в течение ряда лет в Ленинграде под названием «Воскресение». В постановлении президиума Ленинградского горсуда от 30 мая 1967 г., отменявшем при-

говор 1929 г., было признано, что «никакой оформленной организации осужденными создано не было» (см.: Вопросы литературы, 1991, № 3. С. 128—141).

4. Василий Леонидович Комарович (1894 — 1942) привлекался по делу «Космической Академии наук» и «Серафимова братства».

5. F.M. Dostojewski. Die Urgestalt der Brüder Karamasoff. Dostojewskis Quellen. Entwürfe und Fragmente. Erläutert von W. Komarowitsch. München, 1928.

6. В. Комарович. Китежская легенда. М. — Л., 1936.

7. В. Комарович. Роман «Подросток» как художественное единство // Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2-й. Л., 1924.

8. Борис Михайлович Энгельгардт (1887—1942), литературовед и философ, был арестован в ноябре 1930 г. в связи с «делом академиков». Жена его, покончившая с собой при его аресте, — Наталья Евгеньевна Гаршина-Энгельгардт, племянница писателя Всеволода Гаршина.

9. С.Л. Франк и И.А. Ильин были высланы из Советской России в 1922 г.

10. Бахтин был в ссылке в Кустанае с 1930 по 1934 г., Тарле — в Алма-Ате с 1931 по 1933 г.

11. Иван Михайлович Андреевский (ок. 1890—1976) — врач-психиатр и религиозный деятель, создатель кружка «Космическая Академия наук». Получил 10 лет Соловков. Д.С. Лихачев в воспоминаниях о лагере называет его «в окружении А.А. Мейера на Соловках» и характеризует как «фанатично религиозную личность» (см: Вопросы философии, 1992, № 7. С. 92). В 50—70-е годы был профессором духовной академии в Джорданвилле (США) и издал целый ряд книг по истории религии и русской литературы под именем И.М. Андреев.

12. Бахтин был арестован 24 декабря 1928 г., приговор вынесен 22 июля 1929 г., уехал в ссылку в Кустанай в марте 1930 г.

13. Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876 — 1921), переводчица и критик, утопилась в Малой Неве или в речке Ждановке 23 сентября 1921 г. Тело ее было найдено только 2 мая 1922 г.

14. Опубликовано в: Вопросы литературы, 1977, № 8 (публикация Н.И. Николаева).

15. Георгий Ефимович Горбачев (1897 — 1942) — критик-коммунист, рапповец.

16. Аким Львович Волынский (Флексер; 1861—1926) — критик, искусствовед-эссеист.

17. Настоящая фамилия Ф.К. Сологуба (1863 — 1927) (Сологуб — писательский псевдоним). Многие годы в молодости Сологуб был школьным учителем.

18. Книга ликований. Азбука классического танца. Л., 1925.

19. Поэтические сборники Сологуба 1921 и 1922 гг.

20. О выезде за границу с женой Сологуб хлопотал с 1920 г. А.Н. Чеботаревская покончила с собой, когда разрешение уже было получено (см.: В.Ф. Ходасевич. Некрополь. М., 1991. С. 121).

21. Александра Николаевна Чеботаревская (1869—1925), переводчица. Как и ее сестра, покончила с собой: бросилась в Москву-реку с Большого Каменного моста в феврале 1925 г. после похорон М.О. Гершензона (см. там же. С. 189).

22. См. запись лекций Бахтина о Ф. Сологубе из устного курса истории русской литературы, прочитанного на дому в 20-е годы (запись Р.М. Миркиной): Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1993, № 2-3. С. 146—155.

23. Первоначальное название романа Сологуба «Творимая легенда» (1907—1914).

24. В.Д. Дувакин ошибается: он читает стихотворение Гумилева «Умный дьявол», 1906 (см.: Н. Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 88), написанное по мотивам стихотворения Сологуба «Когда я в бурном море плавал...», 1902 (Ф. Сологуб. Стихотворения. Л., 1975. С. 278).

25. Там же. С. 120.

26. Там же. С. 345.

27. Александр Михайлович Добролюбов (1876 — 1945?) — поэт и религиозный искатель, странник-сектант.

28. И.А. Бунин. Воспоминания. Paris, 1981. С. 91.

29. Из письма Блока Е.П. Иванову от 25 июня 1906 г. (см.: А. Блок. Собр. соч. Т. 8. М.— Л., 1963. С. 156). У Блока: «...и бичую его в окружающих».

30. «Томление», из Верлена (см.: И. Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 256). У Анненского: «Я стилем золотым», «Блеск пурпурного заката», «Не медью тяжкою, а скукой грудь объята».

31. У Блока: «За мученья, за гибель...» (см.: А. Блок. Собр. соч. Т. 2. М.— Л., 1960. С. 272—273).

32. У Блока: «...и без краю мечта!» (см. там же).

33. Ошибка памяти: Бахтин цитирует «Боги Греции» Шиллера в переводе не Жуковского, а Фета (1878). У Фета: «Чтоб бессмертным жить средь песнопений...» (А.А. Фет. Стихотворения и поэмы. Л., 1986. С. 555).

34. Эти слова Ахматовой передает в своих воспоминаниях Анатолий Найман (см.: А. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1989. С. 96). Вероятно, до Бахтина в начале 70-х годов они дошли в устной передаче.

35. А.С. Пушкин. Евгений Онегин, гл. 5, XLII.

36. Сохранилось два воспоминания об этом докладе Бахтина на блоковском вечере: дирижера Г.Я. Юдина, вы-

деляющего эту лекцию как «самую памятную» из многочисленных публичных выступлений Бахтина в Витебске (лекция состоялась еще при жизни поэта, и в заключение лектором был прочитан «Соловьиный сад»; см.: Г.Я. Юдин. За гранью прошлых дней. Из воспоминаний дирижера. М., 1977. С. 20), и Р.М.Миркиной (см.: Новое литературное обозрение, 1993, № 2. С. 66).

37. «Поверь: тогда еще ты волен / Гордиться счастием своим!» — из стихотворения Блока «Когда, вступая в мир огромный...» (1909) (см.: А. Блок. Собр. соч. Т. 3. М.— Л., 1960. С. 73).

38. Последние строки поэмы Блока «Возмездие». У Блока: «И тяжелит ресницы иней...», «Постигнешь слухом жизнь иную, / Которой днем ты не постиг...», «И в этот несравненный миг...». Quantum satis — в полную меру (*лат.*) — изречение Бранда, героя одноименной драмы Ибсена (см. там же. С. 244).

39. Дневник Ал. Блока. В 2-х кн. Л., 1928; Записные книжки Ал. Блока. Л., 1930; обе книги — под ред. П.Н. Медведева.

40. Бахтин говорит о большой работе В.В. Вейдле «После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока», напечатанной в «Вестнике русского студенческого христианского движения» (Париж — Нью-Йорк, 1971, № 99—102), которую он в это время читал. Очерк открывается вымышленным диалогом автора-эмигранта с собеседником из СССР: « — О чем хлопочешь? Нет никакого креста. Забыл, что ли? СССР здесь у нас — не Россия. — Знаю: нет креста; но и знаю, что был. Сам его видел. Сам Блока на Смоленское кладбище провожал» (там же, № 99. С. 85).

41. Фотография могилы Блока с крестом — на с. 122 кн.: Памяти Блока / Под ред. П.Н. Медведева. 2-е изд. Пг., 1923.

42. Анна Сергеевна Ругевич (1887—1958) — одна из ближайших друзей Бахтиных, внучка Антона Рубинштейна, врач-инфекционист, 33 года заведовавшая отделением в Боткинской ленинградской больнице. Об А.С. Ругевич и ее муже Владимире Зиновьевиче Ругевиче (они познакомились в 1920 г. в Невеле, и там же сблизился с ними Бахтин) рассказано в статье Анны Федоровны Можанской «Судьба потомков Антона Рубинштейна» (Музыкальная жизнь, 1994, № 11-12. С. 51—54; автор статьи — дочь петербургского священника, ученика и единомышленника о.Павла Флоренского — о.Федора Андреева (1887—1929), одного из собеседников М.М. Бахтина в Петербурге-Ленинграде в 20-х годах).

43. Поэтическая книга Николая Клюева «Медный кит». Пг., 1919.

44. Первые строки поэмы «Мать-суббота» (1922) (см.: Н. Клюев. Стихотворения и поэмы. Л., 1977. С. 457).

45. Василий Иванович Белов (р. 1932). Книги Белова, вышедшие к моменту беседы, — «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Бухтины вологодские».

46. Строка из стихотворения «Уму — республика, а сердцу — Матерь-Русь» в книге «Медный кит». С. 59.

47. «Пришел караван с шафраном, / С шелками и бирюзой, / Ступая по нашим ранам, / По отмели кровяной...» Стихотворение 1921 г. (см.: Стихотворения и поэмы. С. 409).

48. О том, как Клюев читал Гейне в подлиннике, см. воспоминания Георгия Иванова: Г. Иванов. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 333.

49. «И выбрал кличку — Клюев, / Смиренный Миколай» — из стихотворения Есенина «О Русь, взмахни крылами...» (1917) (см.: С. Есенин. Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 1. М., 1977. С. 138).

50. Иван Иванович Канаев (1893—1984), биолог, историк науки, друг Бахтина в 20-е годы, рассказывал автору настоящих примечаний о вечере Клюева на квартире М.В. Юдиной на Дворцовой набережной, где поэт исполнял свои «Избяные песни» (см.: Новое литературное обозрение, 1993, № 2. С. 64—69).

51. Из поэмы «Плач о Сергее Есенине» (1926) (см.: Стихотворения и поэмы. С. 468). У Клюева: «Кутьей из углей да из омылок банных».

52. Роман «Крылья» был впервые опубликован в журнале «Весы», 1906, № 11.

53. М. Кузмин умер 3 марта 1936 г.

54. До Бахтина дошел неверный слух: М.Э. Козаков не был репрессирован. В 1937 г. и в конце 40-х годов арестовывалась его жена; сам же Михаил Эммануилович попал в продолжительную опалу (см.: М.М. Козаков. Фрагменты. М.: Искусство, 1989. С. 107—113).

55. В. Рождественский. Большая Медведица: Книга лирики (1922—1926). Л., 1926.

56. Из стихотворения «России нет! По бездорожью...» (см. там же. С. 34). Бахтин цитирует по памяти неточно. У Рождественского: «Былые карты разбирая, / Скажите детям: вот она. / Скажите им: была такая / Большая дикая страна. / Ударил час. До неба встала / Ее прекрасная беда, / И петь, как нам она певала, / Ей не придется никогда!»

57. В. Рождественский. Стихотворения (Библиотека поэта). Л., 1985. С. 55. У Рождественского: «О садах, согретых звездным светом», «Ангел неразумный и простой», «Верю, будешь ты моей женой», «Уходя от звезд и райских клавиш».

58. Бахтин отрывочно вспоминает строки из стихотворения Всеволода Рождественского «Памяти Ал. Блока» (7 августа 1921 г.) (см.: В. Рождественский. Большая Медведица. С. 35: «Довелось ей быть твоей подругой, / Роковою ночью без креста, / В первый раз хмельной крещенской вьюгой / Навсегда поцеловать в уста... / Трех свечей глаза мутно-зеленые, / Дождь в окне, и острые, углом, / Вижу плечи — крылья преломленные — / Под измятым черным сюртуком»).

59. Галина Тимофеевна Гревцова — домработница на московской квартире Бахтина в 1972 — 1974 гг.

ПЯТАЯ БЕСЕДА

КАССЕТЫ № 300, 301

Продолжительность беседы — 121 минута

1. См.: Конст. Вагинов. Опыты соединения слов посредством ритма. Л., 1931. С. 45; Поэты группы «Обэриу». СПб., 1994 (Библиотека поэта, Большая серия). С. 442.

2. Илья Груздев. О приемах художественного повествования // Записки передвижного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской, 1922, № 42; та же статья под заглавием «Лицо и маска» — в берлинском издании альманаха «Серапионовы братья», 1922; его же. О маске как литературном приеме (рец. на книгу Ю. Тынянова «Достоевский и Гоголь») // Жизнь искусства, 1921, № 811, 817.

3. Павел Павлович Гайдебуров, актер и режиссер (1877—1960, и Надежда Федоровна Скарская, актриса, сестра В.Ф. Комиссаржевской (1869—1958), — основатели Передвижного драматического театра, существовавшего с 1905 до 1928 г.

4. Это стихотворение было напечатано поэтом при жизни единственный раз, но не полностью — с пропуском четырех строк, в «Записках передвижного театра», 1923, № 60, 3 июля. С. 3. Приводим полный текст стихотворения (строки, пропущенные в журнальной публикации, выделены знаком [...]): «Живу отшельником — Екатерининский канал, 105. / За окнами растет ромашка, клевер дикий, / Из-за разбитых каменных ворот / Я слышу Грузии, Азейберджана крики. / Из кукурузы хлеб, прогорклая вода. / Телесный храм разрушен. / В степях поет орда, / За красным знаменем летит она послушно. [Мне делать нечего: пойду и помолюсь / И кипарисный крестик поцелую. / Сегодня ты смердишь напропалую, Русь, / В Кремле твой Магомет по ступеням восходит.] А на Кремле восходит Магомет Ульян: / «Иль-иль Али, иль-иль Али Рахман!»

/ И строятся полки, и снова вскачь, / Зовут Китай поднять лихой кумач. / Мне ничего не надо: молод я / И горд своей душою неспокойной. / И вот смотрю в закат, в котором жизнь моя, / Империи великой и просторной». Полный текст стихотворения впервые напечатан в издании: К. Вагинов. Собрание стихотворений. Составление, послесловие и примечания Л. Черткова. München, 1982. С. 71.

5. По сообщению исследователя и издателя поэзии Вагинова В.И. Эрля, стихотворение написано в 1921 г.

6. Начало стихотворения Маяковского «Я и Наполеон», 1915.

7. См.: Константин Вагинов. Стихотворения. Л., 1926. С. 34. У Вагинова: «О чудной подруге своей».

8. См. выше прим. 1 и 7.

9. Вагинов попал лишь в 9-й, дополнительный том Краткой литературной энциклопедии. М., 1978, стлб. 169 (статья Т.Л. Никольской).

10. Название романа: «Труды и дни Свистонова». Л., 1929. «Козлиная песнь» опубликована в журнале «Звезда» в 1927 г., отдельным изданием — в 1928 г.

11. Персонаж «Козлиной песни», которого вспоминает Бахтин, — Миша Котиков; в его портрете смешались черты П.Н. Медведева и П.Н. Лукницкого, литератора, собиравшего материалы о Гумилеве (см. комментарии В.И. Эрля в кн.: Конст. Вагинов. Козлиная песнь. Романы. М., 1991. С. 550). Костя Ротиков — другой персонаж романа.

12. В тексте Вагинова: «В городе жило загадочное существо — Тептелкин».

13. Вероятно, вечер в ленинградском Союзе поэтов, состоявшийся в связи с выходом книги Вагинова «Стихотворения» в марте 1926 г.

14. Моисси Александр (Сандро) — немецкий актер, по национальности албанец (1880—1935). Гастролировал в СССР в 1924 и 1925 гг.

15. Пьеса Эрнста Толлера «Эуген Несчастный» (1923). Ошибка, видимо, объясняется тем, что оба драматурга — Георг Кайзер и Толлер — были лидерами немецкого экспрессионизма.

16. Статья о «Носе» в кн.: Проф. Ив. Дм. Ермаков. Очерки по анализу творчества Н.В. Гоголя. М.—Пг., 1923.

17. Статья в кн.: И.Д. Ермаков. Этюды по психологии творчества А.С. Пушкина. М.—Пг., 1923.

18. Критическую оценку фрейдизму Бахтин дал в книге «Фрейдизм», изданной под именем его друга В.Н. Волошинова. Л., 1927 (современное переиздание — М., 1993); см. также прим. 30 ко второй беседе.

19. Арестованный 24 декабря 1928 г., М.М. Бахтин был 5 января 1929 г. освобожден из-под стражи в ленинградском ДПЗ (ленинградская Лубянка на Шпалерной, так

называемый Большой дом) с подпиской о невыезде. Сохранившиеся в архиве документы свидетельствуют, что большую часть 1929 г. он провел в ленинградских больницах им. Эрисмана и им. Урицкого.

20. См. прим. 9 к третьей беседе.

21. Бахтины выехали из Ленинграда в Кустанай 29 марта 1930 г. (см.: С.С. Конкин, Л.С. Конкина. Михаил Бахтин. С. 198). «В поезде ехали свободно» (т.е. бесконвойно), — рассказывал Михаил Михайлович автору настоящих примечаний в беседе от 21 ноября 1974 г.

22. Согласно выданной Михаилу Михайловичу служебной характеристике (архив Бахтина), он работал экономистом Кустанайского райпотребсоюза с 23 апреля 1931 по 26 сентября 1936 г. «Работу выбирал сам, — рассказывал Михаил Михайлович 21 ноября 1974 г. — Выбрал экономистом в райпотребсоюзе. Быстро освоился в финансовых отчетах, балансах. Даже читал по экономике. Работать по специальности было нельзя: в школу не пускали». Квалификацию Бахтина в новой области отражает его статья (пятая опубликованная за его подписью работа за первые сорок лет жизни) «Опыт изучения спроса колхозников» // Советская торговля, 1934, № 3.

23. Срок ссылки закончился в июле 1934 г. (5 лет с приговора 22 июля 1929 г.). В архиве хранится справка, выданная «гр. Бахтину в том, что он, за отбытием срока ссылки, следует к месту жительства в гор. Кустанай» (название города написано вместо первоначально написанного и зачеркнутого: гор. Ленинград). Справка от 4 августа 1934 г.

24. Одновременно с Бахтиным в Кустанае находились такие политические ссыльные, как Г.Е. Зиновьев и известный меньшевик Н.Н. Суханов (Гиммер). Михаил Михайлович рассказывал, что большую работу «Слово в романе», написанную в Кустанае, ему печатала на машинке жена Суханова-Гиммера. О Зиновьеве в Кустанае Михаил Михайлович рассказывал В.Н. Турбину (см.: «Литературная газета», 1994, 15 июня).

25. См. групповую фотографию, публикуемую в настоящем издании: Михаил Михайлович присутствует на ней как преподаватель на трехмесячных счетоводных курсах союзного треста «Свиновод»; работал также на курсах по подготовке директоров сельмагов при межрайбазе.

26. Варвара Захаровна Бахтина и сестры Мария, Екатерина и приемная дочь родителей Нина Сергеевна Борщевская — в Ленинграде; сестра Наталья с мужем Николаем Павловичем Перфильевым и сыном Андреем — в Москве. В Москве у Перфильевых в одной комнате с хозяевами в коммунальной квартире по адресу: Сретенский б-р,

6/1, кв. 147 — в 1937 — 1941 гг. (до начала войны) Бахтины жили месяцами.

27. По сохранившимся документам, доклад «Слово в романе» был назначен в теоретической группе Института мировой литературы на 14 октября 1940 г., доклад «Роман как литературный жанр» — на 24 марта 1941 г. Руководитель теоретической группы Л.И. Тимофеев посылал Бахтину приглашения на заседания группы; так, сохранилось приглашение от 28 октября 1940 г. на доклад Г.О. Винокура «Язык как предмет науки о литературе».

28. В архиве имеется письмо от 9 сентября 1936 г. за подписью директора Мордовского государственного пединститута А.Ф. Антонова: «Уважаемый т. Бахтин! По рекомендации профессора Павла Николаевича Медведева приглашаем Вас на преподавательскую работу в Мордовском пединституте. [...] На первое время мы можем предложить Вам положение доцента...» Активно способствовал этому приглашению Георгий Сергеевич Петров, декан факультета литературы и языка, прежде работавший с П.Н. Медведевым в Ленинграде, в ЛИФЛИ, человек, сыгравший немалую роль в судьбе Бахтина. Согласно справке от 8 июня 1937 г., с 1 октября 1936 по 9 июня 1937 г. Михаил Михайлович прочитал 758 часов лекций по всеобщей литературе и методике преподавания литературы. В конце 1936 г. Г.С. Петров подвергся травле со стороны парткома института и в январе 1937 г. был уволен. На Бахтина как его протеже пала опасная в обстановке 1937 г. тень, и имя его упоминалось на партсобрании института как «недавно отбывшего пятилетнюю ссылку за контрреволюционную деятельность». Михаил Михайлович был вынужден 10 марта подать заявление об освобождении от должности, но лишь 5 июня состоялся приказ о его увольнении «за допущение в преподавании всеобщей литературы буржуазного объективизма, несмотря на ряд предупреждений...». Однако 1 июля формулировка была изменена — «по собственному желанию», с ней Бахтины и уехали из Саранска в Москву (см.: В.Лаптун. М.М.Бахтин в Саранске (1936—1937) // Родник. Саранск, 1991.

29. К 1939 г. Бахтины, видимо, были уже практически без денег, а в 1940 г. и в начале 1941 г. просто бедствовали, пользуясь предельно скромной поддержкой своих родственников, сестер и матери, тоже бедствовавших. В войну они бедствовали уже вместе со всеми.

30. И.И. Канаев навещал Бахтиных и в Савелове, и в Саранске, ему мы обязаны многими фотографиями молодого Бахтина. У И.И. Канаева останавливался Михаил Михайлович в свой последний приезд в Ленинград в 1956 г.

31. Всю войну прожив в Савелове почти безвыездно, Бахтин преподавал в местных школах, в том числе и не-

мецкий язык. В его архиве сохранились листовки на немецком языке, призывающие немецких солдат сдаваться в плен. По какому-то недоразумению американские биографы Бахтина излагают дело так, будто бы листовки — немецкие, а Михаил Михайлович не только хранил их, но и использовал на уроках немецкого в качестве дополнительных учебных пособий... Этого не только не было, но и не могло быть: в лучшем случае Бахтин был бы только арестован. Действительно, Михаил Михайлович пользовался на уроках немецкого языка листовками на немецком языке (некоторое время линия фронта проходила очень близко от Савелова), но возможно это было только потому, что листовки были «наши», советские; листовки же немцев должны были бы быть на русском языке, ибо предназначались русским. Американцам простительно таких вещей не понимать, но «американская» версия абсолютно некритично воспроизведена на страницах межвузовского сборника, вышедшего в 1992 г. в Саранске (см.: М.М. Бахтин: Проблемы научного наследия. С. 149, — со ссылкой на: K. Clark, M. Holquist. Mikhail Bakhtin. Cambridge; London, 1984. P. 263).

32. Операция была 17 февраля 1938 г.; 14 апреля 1938 г. Михаил Михайлович был выписан из больницы.

33. Очевидно, Михаил Михайлович не знал, что постановление о его реабилитации, вместе с лицами, проходившими по одному с ним делу, было вынесено 30 мая 1967 г. (см. публикацию документа В. Лаптуном: Вопросы литературы, 1991, № 3. С. 128—141).

34. Леонтина Сергеевна Мелихова, филолог, в университетские годы студентка семинара В.Н.Турбина, в 60—70-е годы — ближайший друг Михаила Михайловича и Елены Александровны и первая помощница им во всех делах.

35. В. Турбин. Товарищ время и товарищ искусство. М., 1961.

36. В архиве Михаила Михайловича есть письма, говорящие о том, что еще в начале 1941 г. Г.С. Петров пытается устроить Бахтина на работу в Москве. Возможно, этому помешала война. Участие Петрова во вторичном устройстве Михаила Михайловича на работу в Саранск подтверждается письмом Петрова директору Мордовского пединститута от 2 июля 1946 г., также сохранившимся в архиве Михаила Михайловича, в котором содержатся советы, как сохранить в институте кафедру всеобщей литературы, фактически специально для Бахтина. Согласно командировочному удостоверению, приказ о назначении в Мордовский пединститут на должность и.о. доцента состоялся 18 августа 1945 г., отъезд из Москвы, видимо, состоялся 4 октября.

37. В подмосковном доме для престарелых в г. Климовске (ст. Гривно Курской ж/д) Бахтины находились с середины мая 1970 г. до конца ноября 1971 г., после того как провели семь месяцев (с октября 1969 г.) в закрытой Кунцевской больнице. В конце ноября 1971 г. были госпитализированы в больницу Подольска, где 14 декабря и скончалась Елена Александровна. В писательский Дом творчества в Переделкине Михаил Михайлович перебрался из подольской больницы 30 декабря 1971 г. и жил там до переселения в сентябре 1972 г. в московскую квартиру (Красноармейская, 21, кв. 42), где и происходят беседы с В.Д. Дувакиным. Ордер был получен 31 июля 1972 г.

38. Сохранился ордер за № 39 от 27 августа 1959 г. Адрес: ул. Советская, 31, кв. 30. Бахтину было почти 64 года.

39. В марте 1966 г. В.В. Кожинов вместе со многими другими подписал письмо ректору МГУ И.Г. Петровскому в защиту В.Д. Дувакина, изгнанного с филологического факультета после его выступления свидетелем защиты на процессе А. Синявского и Ю. Даниэля.

40. Елена Сергеевна Дувакина — дочь юриста Сергея Борисовича Веселовского (1885—1946). Его родные братья: историк, академик Степан Борисович и экономист Борис Борисович Веселовские.

41. Юлиан Сергеевич Селю (1910 — 1995) — биолог, ветеринарный врач, литератор, искусствовед, автор рассказов-миниатюр и исследования о живописном языке Дионисия (фрагменты печатались в журнале «Декоративное искусство», 1977, № 10, и научных сборниках). В 70-х годах, бывая у Бахтина на Красноармейской, не только читал ему свои сочинения, но и лечил его кошку. Рассказ «Больной поросенок» и несколько других миниатюр приводятся ниже.

Больной поросенок

Поросенок заболел. Ему плохо. Вытянулся на соломе. Черный глазок направлен куда-то вверх и ничего не видит. Жесткие белые ресницы изредка помаргивают.

Тихо. Сосредоточенно шевелится пламя в керосиновой лампочке. Куры темнеют вверху на нашесте. Куры спят.

Дед с бабкой молча стоят над поросенком. Жаром пышет. Нос неестественно покраснел. На боку два резких пятна чернеют под щетиной.

«Зют, зютка», — бабка зовет поросенка. Поросеночек, оторвавшись от болезни, шевельнулся: услыхал и опять ушел. Редкие ресницы изредка помаргивают.

Курица в темном углу кудакнула во сне, зашевелилась, — посыпалось. И опять тихо.

Пламя в лампочке сосредоточенно потрескивает.
Поросеночек болеет.
1940

* * *

Бывает, что родной голос в телефоне возникает, расцветает не сразу. Бывает, что сначала он слабый, тусклый, по-странному чужой: не для своих, не для меня; я его таким не слышал — для чужого, настороженный.

Бедная та душа! В каких тесных пыльных лабиринтах она бывает. Одна. Как, значит, она сжимается на страшный звонок?..

Но вот голос узнал, ожил, заструился, наполнил трубку, зазвучал.

Душа отошла, согрелась — подошла. Как зверушка к решетке.

6.04, 10.10.1979

* * *

Две землянички на стебельке.
Так хороши, что съесть хочется.
Так хочется их взять, а что с ними делать.
Останется пустая травка и слабый вкус во рту. Хочется их совсем себе взять. Чтобы они были во мне, мои.
Сила желанья не соответствует слабенькому вкусу.
Смотрю на них.
Так хочется взять. И можно взять. А что с ними делать.
2.08.1935. Кропоткинские ворота

Свечки

1

Огромный собор в Ленинграде. Как площадь под высоченными сводами. Где кто стоит? Где мы стоим, около какого места? И вдруг передали свечу — «Николаю Угоднику» — и показали куда. А потом еще — «Спасителю» — в другом направлении; передают еще и «Нечаянной радости», «Ивану воину», «Варваре»...

2

В самый сосредоточенный момент — легонько свечкой. Надо оторваться... И опять по плечу: свечка пришла. Жизнь тоже — то отпустит, то требует.

3

А ведь это Ангел касается: через тебя пошла дорога. Кто-то передал; может, отдал и вручил, успокоился, а мо-

жет, следит душой, торопит. Много свечек, разные — маленькие и огромные, но все туда. Маленькое в этой свечке дело и маленькое твое участие... Но можно этой тропинкой, за этой свечкой и тебе туда же. Еще тонюсенькая ниточка в общем плетении путей, голос в общем хоре.

4

Многолюдная площадь собора — луг с душами-цветами расчертился вдруг возникшими дорожками-ручейками. Как весной в уже тонком снегу на склоне, когда морозным солнечным утром отпустит — и везде переменчивые ручейки пробираются, искрятся... Свечки по тропинкам-ручейкам от одного к другому... в снегу ли, по лугу — приостанавливаются, бегут: «Спасителю», «Божьей матери», «Серафиму».

5

Наверное, если взглянуть с хоров, можно их различить по легкому движению. И я... Не только на тропинке, но и в узле.

6

«К празднику»! Можно передать вблизи левее, а можно поспешить, обойти и подать сразу подальше... А зачем оставлять в стороне от живой тропинки и того, который поближе, хоть он и погружен? Принял, поклонился, поправил фитильком вперед... Пошла.

7

Вдруг чей-то взгляд за мной пошел в другом направлении — у переменчивой тропинки нет берегов. Кому-то моя спина показалась неподходящей. Тропинка повернула, оставив с самим собой. Теперь еще и эта «благодать и честь» — не смочь дать, «обнищать ради имени Твоего».

8

Бывает и в жизни: вот пришло — берешься за чужое бремя, хочешь в это чужое войти, подпереть — помогать, думать. Оно легло посередине пути, думаешь, как раз по силам...

И отвело. С тебя достаточно. Пусть неожиданное облегчение и благодарность, пусть с горечью и обидой на тебя и «сподобился вкусить скорби, положенной на путях заповедей Твоих»... все, что приходит для того, чтобы делать — дано.

Ангел коснулся — отвел. Побудь с самим собой.

4.01.1974, 26.07.1979

42. Лидия Евлампиевна Случевская (1897—1979) — филолог, близкая знакомая М.В. Юдиной. См. о ней в письме Юдиной Б.Л. Пастернаку от 4 февраля 1947 г.: Новый мир, 1990, № 2. С. 171.

ШЕСТАЯ БЕСЕДА

КАССЕТЫ № 302, 303

Продолжительность беседы — 133 минуты

1. Бахтин приехал в Невель в начале лета 1918 г. В автобиографической записке Л.В. Пумпянского «Нечто о девяти веснах» в конце записи о весне 1918 г. сказано: «Когда приехал Михаил Михайлович, было уже лето» (архив Л.В. Пумпянского).

2. Л.В. Пумпянский поступил на военную службу, видимо, в 1915-м или начале 1916 г. и с весны этого года находился при своей части в Невеле. В том же году Николай Михайлович Бахтин, старший брат Михаила Михайловича, записался в армию добровольцем, возможно последовав примеру Пумпянского (см.: N. Bachtin. Lectures and Essays. Birmingham, 1963. P. 3; Пятые тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 235).

3. Вениамин Гаврилович Юдин (1864—1943) — земский и железнодорожный врач, в разные годы много сделал для благоустройства Невеля. В советское время Герой Труда. Умер в эвакуации в Молотове (Пермь).

4. Сыновья В.Г. Юдина: Борис Вениаминович (1904—1986), кинодраматург, и Лев Вениаминович (1892—1964), врач.

5. Бахтин имеет в виду Анну Вениаминовну (1896 — 1970), переводчицу научной литературы. Другие дочери В.Г. Юдина: Флора Вениаминовна (1891—1961), врач, и Вера Вениаминовна Юдина-Готфрид (р. 1926), геолог, дочь от второго брака.

6. Яков Гаврилович Юдин (1866—1930).

7. Раиса Яковлевна Юдина (урожд. Златина) (1868 — 1918), умерла 24 марта 1918 г., т.е. не за год, а за полтора-два месяца до приезда Бахтина в Невель и его знакомства с М.В. Юдиной.

8. М.В. Юдиной (р. 1899) тогда было неполных 18 лет.

9. Крестилась М.В. Юдина через год после приезда Бахтина в Невель — 2 мая 1919 г. — в Петрограде, в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

10. E. Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 1—3. B., 1923—1929. См. разбор труда Кассирера в статье А.Ф. Лосева «Теория мифического мышления у

Э. Кассирера» (1926—1927) // Символ. Париж, № 30, декабрь, 1993. С. 311—333.

11. Однозначно нельзя решить, кто оказал решающее влияние на крещение М.В. Юдиной. Но это не было волей одного, даже очень близкого человека, каким был тогда Л.В. Пумпянский. Не менее властной была воля и Евгении Оттен (будущей крестной) и еще трех-четырех друзей, называемых в дневнике Юдиной («Помогают мне на пути к свету!»). И самым важным здесь был, пожалуй, не только факт обращения в христианство, но и выбор конфессии. Подобно св. Владимиру, М.В. Юдиной пришлось, исключая магометанство и иудаизм, «оценить» силу католицизма через близких знакомых, сравнивая его с православием. Кроме того, был и соблазн лютеранства, к которому у нее всегда была тяга, правда чисто внешняя, через искусство (например, творчество И.С. Баха) и этические нормы. В конце концов взяло верх православие, и причиной этому стало, думается, не влияние друзей или чтение религиозно-философской литературы, но рано сложившееся понимание духовной принадлежности к стране и сострадание ее судьбе. Запись в дневнике после Февральской революции: «Россия! Неужели она погибнет?.. Господи, Боже! Просвети меня! Что дороже — Родина или интернационал? Я еще недавно говорила, думала о «вырывании личности из государства», а теперь нет для меня ничего дороже России! Родина! Какое чудесное слово».

Пумпянский крестился в 1911 г., приняв себе отчество, очевидно, по имени своего восприемника — своего гимназического преподавателя древних языков Василия Алексеевича Новочадова.

12. Мать Пумпянского также была из еврейской семьи, но воспитывалась во Франции, и французский был ей родным языком, что объясняет блестящее владение им Л.В. Пумпянского.

13. К пребыванию Л.В. Пумпянского, М.М. Бахтина и М.В. Юдиной в Невеле в те годы такие штрихи вносит Раиса Иосифовна Шапиро: «В невельскую гимназию с нами Маруся (М.В. Юдина) не ходила, мать возила ее в Витебск, где она брала частные уроки. А в 1915 — 1916 годы я уже училась латинскому языку у Льва Васильевича Пумпянского, чтобы иметь право сдать экзамены на аттестат зрелости, а потом поступить на медицинский факультет. Лев Васильевич был вольноопределяющимся, знал многих в Невеле и посещал наш дом. Он очень много занимался со мной и моей сестрой, был таким требовательным, что однажды своими занятиями довел сестру до обморока. Мои успехи Льву Васильевичу не казались особенно блестящими, хотя я уже знала немецкий и особенно хорошо французский, который пригодился мне на всю жизнь. Од-

нажды он сказал: «Вам бы способности Маруси». Лев Васильевич мне тогда нравился. Высокий, сутуловатый, очень умный. Мама моя очень любила молодежь и приглашала ее к нам. В доме было шумно, Михаил Михайлович и Лев Васильевич среди моих сестер нашли здесь подходящее общество. У нас был любительский снимок: Бахтин, Пумпянский, мы — сестры и, кажется, еще Лев Вениаминович Юдин. Фотография пропала вместе с альбомом в сафьяновом переплете... В Ленинграде сохранилось бывшее реальное училище, там есть доска отличников, на которой имя Пумпянского... С ними приходил третий, такой экспансивный... Не помню фамилии, женатый... Когда началась гражданская война, я уехала на фронт и больше никого из них, кроме Марии Вениаминовны, не встречала» (фрагмент записи беседы А.М. Кузнецова с Р.И. Шапиро от 25 марта 1982 г.).

14. В 1926 г. Пумпянский писал М.И. Кагану: «В этом году совершенно ясно и точно установилось мое теологическое мировоззрение: православная Восточная Церковь» (Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1992, № 1, с. 74).

15. О неожиданном повороте Пумпянского к марксизму в конце 20-х годов рассказывает Н.К. Чуковский (см.: Н. Чуковский. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 190—191). Но «сталинистом», конечно, он не был; возможно, столь резкая формулировка Бахтина имела целью подчеркнуть необычность для его друзей новых позиций Пумпянского. Более подробно об этом см.: Н.И. Николаев. «Оригинальный мыслитель» // Философские науки, 1995, № 1. С. 66—67.

16. Лидия Евлампиевна Случевская (см. прим. 42 к пятой беседе).

17. З.К. Яшина (урожд. Ростковская) — жена поэта А.Я. Яшина, друга М.В. Юдиной.

18. М.В. Юдину отпевали в этой церкви 24 ноября 1970 г. (она была ее прихожанкой последние годы жизни), похороны были в этот же день на кладбище «Введенские горы» (оно же Введенское, или Немецкое). В.Д. Дувакин точен в описании ее похорон; сходное дает и А.И. Цветаева в своих воспоминаниях (см.: А.И. Цветаева. Три встречи с Марией Вениаминовной Юдиной, в ее кн.: Неисчерпаемое. М., 1992).

19. Поминки проходили в доме-мастерской друзей М.В. Юдиной, художника Владимира Андреевича Фаворского (1886 — 1964) и скульптора и графика Ивана Семеновича Ефимова (1878—1959) в Новогиреееве.

20. Адриан Иванович Ефимов (р. 1907) — гидрогеолог, хранитель наследия отца.

21. Видимо, это могло относиться ко времени эвакуации немецких войск из России (в том числе из Пскова,

захваченного в феврале 1918 г.) после заключения 11 ноября 1918 г. перемирия на Западном фронте и ноябрьской революции в Германии. Будучи свидетелем и даже участником этих событий, Пумпянский впоследствии осмыслял их историко-философски: в письме от 23 марта 1923 г. он приглашал М.И. Кагана на обсуждение своей работы, «посвященной анализу мировой войны»; «мне потом предстоит самое трудное, — писал он, — объяснить конец войны и Zusammenbruch (крах. — *Ред.*) Германии» (Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1992, № 1, с. 73).

22. О невельском периоде жизни М.М. Бахтина см.: Л.М. Максимовская. К устным рассказам М.М. Бахтина о Невеле (комментарий краеведа) // Философские науки, 1995, № 1. С. 93—105.

23. В отделе рукописей РГБ, в фонде М.В. Юдиной, находится неопубликованный «Фрагмент воспоминаний» Юдиной (он так и озаглавлен ею), близкий к рассказу М.М. Бахтина о Невеле. «Необходимо мне, разумеется, написать нечто вроде монографии и о Михаиле Михайловиче Бахтине, «Мих Михе», как зовется он у нас, его пожизненных друзей 50-летней давности... Каково? Из нас только и осталось двое! Биолог Иван Иванович Канаев и я, грешная, все другие умерли. Иван Иванович живет в Ленинграде, как известно... Жил Михаил Михайлович и в нашем городе Невеле, а женился в Витебске на своей драгоценной Лёночке, в Витебске он пробыл не так долго. Вокруг Невеля — дивные пейзажи, отроги Валдайской возвышенности и неисчислимые озера, с лесистыми островами и огромные, как моря, аж берегов не видать, все они сообщались речками и ручьями. «Все отдай, да мало!»... и одно из небольших озер прозывалось потом меж нами «Озеро нравственной реальности», там Михал Михалыч излагал двум людям, мне и одному ныне покойному человеку, некие основы своей философии...» (ОР РГБ, Ф. 527, карт. 4, ед. хр. 11, лл. 65, 66. Написано в 1969 г., поступило в архив в 1973 г.). «Покойный человек» — разумеется, Л.В. Пумпянский.

24. «Молот», «газета Невельского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», в № 101 от 13 июня 1919 г. сообщал о вечере, посвященном Леонардо да Винчи, назначенном на 18 июня. Объявлялись доклады о мировоззрении Леонардо — М. Бахтина и об эпохе Леонардо — Л. Пумпянского, а также: «В музыкальном отделении примет участие М. Юдина».

25. «Погребальное шествие» из фортепианного цикла Листа «Поэтические и религиозные гармонии» (десять пьес по А. Ламартину, 1845 — 1852).

26. В Витебск Бахтин переехал осенью 1920 г.

27. М.В. Юдина концертировать начала рано, задолго до окончания Петроградской консерватории в 1921 г.

28. Диалог и диалектика — одна из главных оппозиций в философском мышлении Бахтина (см.: М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 371—372; Новое литературное обозрение, 1993, № 2. С. 88).

29. О концерте М.В. Юдиной в Витебске вспоминает Р.М. Миркина (см.: Новое литературное обозрение, 1993, № 2. С. 66).

30. Леонид Владимирович Николаев (1878—1942) — пианист и композитор, один из ярких представителей петербургской-ленинградской педагогической школы. Кроме М.В. Юдиной, у него в разные годы учились В.В. Софроницкий, Д.Д. Шостакович и др. Д.Д. Шостакович посвятил его памяти Вторую сонату для фортепиано.

31. На Дворцовой набережной, д. 30, кв. 7, М.В. Юдина имела не квартиру, а большую комнату с видом на Неву в перегороженной на комнаты квартире прежнего богатого владельца.

32. Пумпянский женился на Евгении Марковне Иссерлин (1906—1994) в 1930 г., за десять лет до своей смерти.

33. В гимназические годы Пумпянский был близким другом старшего из братьев — Николая Бахтина.

34. Речь идет о Кирилле Георгиевиче Салтыкове (1914—1939), женихе М.В. Юдиной. Он тогда еще не закончил Московскую консерваторию, учился у Юдиной. Из оставшихся после его смерти музыкальных транскрипций Юдиной часто исполнялась одна, она оказалась записанной на пленку, — Lacrimosa из «Реквиема» Моцарта.

35. Елена Николаевна Салтыкова (урожд. Куракина, 1885—1956) — мать К.Г. Салтыкова, о которой Юдина после смерти ее сына заботилась до конца ее дней. Она жила в квартире Е.Н. Салтыковой в Сытинском тупике после войны.

36. Георгий Александрович Салтыков — художник.

37. Тела погибших студентов консерватории, включая К.Г. Салтыкова, были найдены. Могила Кирилла Салтыкова — на Введенском кладбище. Здесь же, в семейном захоронении Салтыковых, нашла свой последний приют и М.В. Юдина.

38. См. воспоминания кн. С.Н. Трубецкого, бывшего рядом с Владимиром Соловьевым в последние минуты его жизни (Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 294).

39. О немецких поэтах Райнере Марии Рильке (1875—1926) и Стефане Георге (1868—1933) в связи с поэзией Вячеслава Иванова Бахтин говорит в лекции об Иванове (см.: Эстетика словесного творчества. С. 398).

40. «Blätter für die Kunst» — журнал, издававшийся Стефаном Георге в 1892—1919 гг.

41. Фридрих Гундольф (настоящая фамилия — Гундельфингер; 1880—1931) — немецкий историк литературы, поэт.

42. Имеется в виду ставший классическим труд Э. Бертрама «Nietzsche. Versuch einer Mythologie» («Ницше. Опыт мифологии»). Первое издание вышло в 1918 г. в Берлине, на сегодняшний день — не менее десяти переизданий.

43. 19 июня 1969 г. М.В. Юдина была сбита машиной, пальцы правой руки оказались поврежденными. Ее концертная жизнь прекратилась, хотя в отдельных случаях, на вечерах, она выступала.

44. Болеслав Леопольдович Яворский (1877—1942) — музыковед. М.В. Юдина была знакома с ним, выступала как иллюстратор на его докладах в Московской консерватории, посвященных истории музыкальных стилей, в 30-е годы. Написала о нем яркие воспоминания, опубликованные в сборнике «Мария Вениаминовна Юдина. Статьи. Воспоминания. Материалы» (М., 1978) и в книге «Б. Яворский. Статьи. Воспоминания. Переписка» (2-е изд. М., 1972).

45. Помощь Бахтина М.В. Юдиной, довольно существенная, пришлась на 50—60-е годы. Красноречиво видно это в переписке М.В. Юдиной и М.М. Бахтина (см.: Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1993, № 4; публикация А.М. Кузнецова).

46. М.В. Юдина в конце 20-х — 30-е годы (да и в другие времена, включая брежневские) хлопотала за многих. После ареста М.М. Бахтина вместе с С.И. Каган добивалась перед разными инстанциями смягчения приговора (5 лет заключения в Соловки), добилась этого через Е.П. Пешкову, возглавлявшую тогда Политический Красный Крест. Постановлением Коллегии ОГПУ от 23 февраля 1930 г. заключение было заменено ссылкой в Казахстан (см. об этом: С. Каган. Есть ли право простить систему // Литературная газета, 1991, 26 июня).

47. Иван Иванович Соллертинский (1902—1944) — музыковед и театровед, уроженец Витебска, дружил с М.М. Бахтиным. Пропагандист современной музыки. Исследования о Малере (см.: И. Соллертинский. Густав Малер. Л., 1932) входят в золотой фонд малероведения. М.В. Юдина ценила его талант ученого, но духовно была от него далека (см. о нем: Л. Михеева. И.И. Соллертинский. Л., 1988).

48. В квартире М.В. Юдиной на Беговой улице, д. 1а, корп. 5, кв. 4, Б.Л. Пастернак читал перевод первой части «Фауста» Гёте весной 1949 г. Редкое свидетельство этого вечера — письмо М.В. Юдиной к Б.Л. Пастернаку от 23 июня 1949 г. (см.: «Высокий стойкий дух». Переписка Бориса Пастернака и Марии Юдиной. Публикация А.М. Кузнецова // Новый мир, 1990, № 2. С. 178—179).

49. Подразумевается Дмитрий Исидорович Митрохин (1883—1973). Его имя М.М. Бахтин назвал автору настоящего комментария 11 октября 1973 г. в беседе с ним о М.В. Юдиной в его квартире на Красноармейской улице. Разговор о Юдиной произошел после того, как присутствовавший во время встречи Юлиан Сергеевич Селю вслух прочитал, по просьбе Михаила Михайловича, только что написанные им воспоминания о М.В. Юдиной.

50. Павел Николаевич Шульц, крупнейший советский археолог, занимался раскопками скифского Неаполя, дружил с М.В. Юдиной.

51. Зинаида Николаевна Пастернак (урожд. Еремеева, в первом замужестве Нейгауз; 1897—1966) — пианистка, ученица Г.Г. Нейгауза.

52. Оговорка Дувакина: «Шильонский узник» Жуковского — перевод из Байрона.

53. При чтении стихов А.А. Фета, равно как и других поэтов, М.М. Бахтин допускает оговорки, сохраненные в печатном тексте. В комментариях к заключительной части шестой беседы, содержащей в основном стихотворные тексты, эти оговорки специально не отмечаются, а делаются отсылки к соответствующим стихотворениям.

54. Первая строка стихотворения Гумилева «Память» (1921) (см.: Н. Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 309).

55. Цикл стихотворений Вячеслава Иванова (1905) (см.: Вяч. Иванов. Собрание сочинений. Т. 2. Брюссель, 1974. С. 271—276). Подробнее об этом цикле Бахтин говорит в лекции о Вяч. Иванове: Эстетика словесного творчества. С. 401—402.

56. Об этом размере см.: М.Л. Гаспаров. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. С. 164—166.

57. Стихотворение Р.М. Рильке (1897) из его книги «Mir zur Feier» (1900). У Рильке во второй строке: «haben in der Zeit».

Благодарим за помощь в опознании со слуха этого стихотворения А.В. Михайлова и Г.И. Ратгауза, а также Н.Н. Кан, любезно согласившуюся сделать подстрочник стихотворения и его первый поэтический перевод на русский язык:

Какая тоска: жить в огромных волнах Океана
И не иметь Родины во времени.
И вот желание:
Ежедневные, ежечасные тихие диалоги с Вечностью —
Это и есть Жизнь. Пока из Вчера
Не взойдет самый одинокий из всех Часов,
Который, улыбаясь иначе, чем другие сестры,
Будет молчать навстречу Вечности.

* * *

Живу, тоскуя: в волнах Океана
На Родину не отыскать пути.
И каждый день, и каждый час желанно
Беседу тихо с Вечностью вести.
Так я живу. Но из Вчера, из тьмы глубокой
С улыбкой странной Час иной взойдет,
Среди собратьев самый одинокий,
И лишь молчанье в Вечность вознесет.

58. La mort des amants (Смерть любовников) // Ch. Baudelaire. Les fleurs du mal. Paris, 1968, p. 145.

59. Стихотворение А.С. Пушкина «Воспоминание» (1828).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

В.Б. Кузнецова

ОГЛАВЛЕНИЕ

БЕСЕДЫ
В.Д. ДУВАКИНА с М.М. БАХТИНЫМ

Редактор *Н.И.Колышкина*
Художественный редактор *В.К.Кузнецов*
Технический редактор *В.А.Юрченко*
Корректор *Н.И.Петраченкова*

ИБ № 20171
ЛР № 060775 от 25.02.92. Подписано в печать 25.03.96.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Балтика.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 19,74. Усл.кр.-отт. 20,56.
Уч.изд.л. 20,52. Тираж 1500 экз. Заказ № 36. С006.
Изд. № 49696

А/О Издательская группа «Прогресс».
Отпечатано в цехе оперативной полиграфии.
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17

Познание вещи и познание личности. Их необходимо охарактеризовать как пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только внешность, существующая только для другого и могущая быть раскрытой вся сплошь и до конца односторонним актом этого другого (познающего). Такая вещь, лишенная собственного неотчуждаемого и непотребляемого нутра, может быть только предметом практической заинтересованности. Второй предел — мысль о Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва. Необходимость свободного самооткровения личности. Здесь есть внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить, где сохраняется всегда дистанция, в отношении которого возможно только чистое бескорыстие; открываясь для другого, оно всегда остается и для себя. Вопрос задается здесь познающим не себе самому и не третьему в присутствии мертвой вещи, а самому познаваемому. Значение симпатии и любви. Критерий здесь не точность познания, а глубина проникновения. Здесь познание направлено на индивидуальное. Это область открытий, откровений, узнаний, сообщений. Здесь важна и тайна, и ложь (а не ошибка). Здесь важна нескромность и оскорбление и т. п. Мертвая вещь в пределе не существует, это — абстрактный элемент (условный); всякое целое (природа и все ее явления, отнесенные к целому) в какой-то мере личностны...

М.М. Бахтин.
«К философским основам гуманитарных наук».
Фрагмент текста начала 1940-х годов.